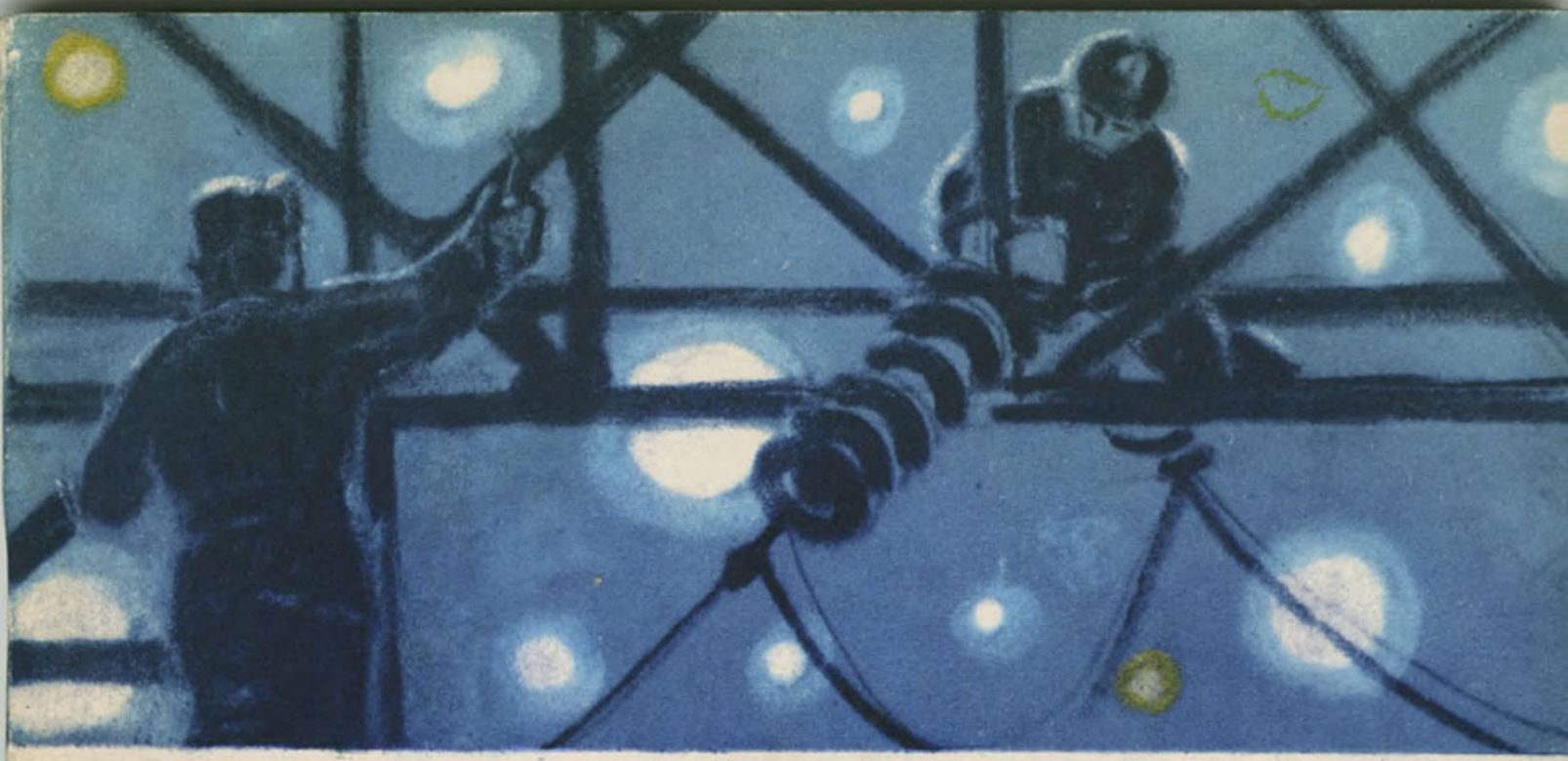


ЮНОСТЬ

4
1963

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!

Бывают события, которые становятся вехами, обозначающими целые этапы развития социалистической культуры. Такой вехой явились состоявшиеся недавно встречи руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией. На этих встречах, и особенно в выступлениях Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, с предельной ясностью были определены задачи литературы и искусства в период развернутого строительства коммунизма. Снова прозвучали произнесенные от имени Центрального Комитета партии слова о великом назначении литературы и искусства, о высокой ответственности художников перед народом, о партийности и народности — этих основных принципах нашего творчества. Эти слова нашли горячий отклик в сердцах писателей, композиторов, деятелей кино и театра, в сердцах мастеров изобразительного искусства.

Вновь подчеркнув боевой, революционный характер нашего искусства, Центральный Комитет КПСС призвал художественную интеллигенцию еще активнее участвовать своим творчеством в утверждении коммунистических идей, еще более вдохновенно бороться за их победу, против буржуазной идеологии во всех ее ипостасях. Партия снова напомнила художественной интеллигенции, что у нас нет и не может быть мирного сосуществования с чуждой идеологией и с такими ее проявлениями, как безыдейность, формализм, уродливый абстракционизм. Были осуждены всякого рода доморощенные, поющие с чужого голоса лженоваторы, беспринципно гоняющиеся за дешевой западной модой. Коммунистическая партия вновь напомнила всем деятелям литературы и искусства, что лишь боевой, революционный метод — социалистический реализм — открывает советским художникам истинный простор для развития мысли и творческой фантазии, что он и только он, этот испытанный метод, позволяет им максимально расширять творческий поиск.

Жизнь народа, строящего коммунизм,— вот что является неиссякаемым и животворным родником в нашем творчестве. Только искусство, обращенное к народу, живущее его думами и чаяниями, славящее прекрасные, дерзновенные трудовые подвиги строителей коммунизма, может мобилизовывать, вдохновлять, увлекать. Об этом много и убедительно говорили, опираясь на опыт нашей многонациональной литературы, на свой собственный немалый опыт, участники недавно состоявшихся пленумов правлений Союзов писателей СССР и РСФСР.

Весь мир — свидетель тому, как прекрасно и бурно расцвела наша литература, идущая путями социалистического реализма. Обращаясь одновременно и к уму и к сердцу читателя, неся народам мира животворные коммунистические идеи, она совершенствуется из года в год и сейчас достигла небывалого авторитета даже у читателей капиталистических стран.

Все это бесспорно. Но было бы ошибкой преувеличивать успехи и не видеть серьезных недостатков в работе иных писателей, художников, деятелей театра и кино. Эти недостатки были подвергнуты суровой и заслуженной критике.

В числе других был справедливо раскритикован за некоторые свои политически незрелые произведения, за недопустимые, безответственные выступления в зарубежной печати и член нашей редколлегии Евгений Евтушенко. Мы понимаем и разделяем возмущение литературной общественности его развязными, оскорбительными для советского народа разглагольствованиями о нашей жизни и литературе в реакционнейших буржуазных изданиях.

Много горьких, но справедливых слов было высказано и в адрес нашей литературной критики, которая, по образному выражению первого секретаря Союза писателей СССР К. А. Федина, сменяла периоды порицаний и осуждений, а иногда и полного неприятия молодых авторов не менее бурными периодами безудержных восхвалений и самовосхвалений. Писатели в своих высказываниях единодушно осудили отсутствие меры как в хуле, так и в похвалах. Столь же решительно и так же справедливо было осуждено гипертрофированное зазнайство некоторых молодых, да и не очень уж молодых, но политически невоспитанных авторов, у которых, как говорится в басне Крылова, «с похвал вскружилась голова». У них безмерно разрослись самовлюбленность, самомнение, эгоцентризм, и это, в свою очередь, привело их к

серьезным идейным срывам в творчестве и в поведении за рубежами страны.

Исторические беседы в Кремле, дружеские дискуссии на пленумах писательских организаций содержат большой материал для раздумий. И можно не сомневаться, что наши литераторы, деятели кино, художники сделают для себя правильные выводы.

Пути развития советской литературы для юношества лежат на коренных магистралях нашей жизни. Редакция «Юности» знает, что среди массы произведений с боевым революционным накалом на страницы журнала, случалось, проникали вещи, уводившие читателя из мира настоящих, больших страстей, какими отмечена наша жизнь, со столбовой дороги коммунистического строительства на окольные тропки, в описаниях которых авторы представали не борцами среди борцов и не строителями среди строителей, а расслабленными бытописателями эгоистических переживаний.

Наша литература для юношества, рождающаяся в гуще жизни, боевита, «мобилизована и призвана». Наши молодые писатели в подавляющем большинстве, в лице своих лучших, талантливых представителей — это солдаты коммунизма, это люди, прекрасно продолжающие и по-своему совершенствующие традиции своих литературных отцов и дедов. И пусть не тешат себя иллюзиями буржуазные писаки всех мастей, рассчитывающие на какую-то «особую линию» в творчестве советских молодых писателей! У наших молодых литераторов нет и никогда не будет иных целей, кроме стремления честно, с полной отдачей всех сил и способностей служить народу, партии, великому делу строительства коммунизма!

Встречи с руководителями партии и правительства, большой разговор об ответственности писателя перед народом вызвали среди молодых литераторов новый творческий подъем, вдохновили их на создание новых, ярких произведений о нашем героическом времени.

«Художник,— как справедливо говорил в своей речи Н. С. Хрущев,— должен уметь увидеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддержать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни».

В этой двуединой формуле — основное направление развития нашей литературы.

Нам, как воздух, нужны произведения, воспевающие сегодняшние героические трудовые дела советской молодежи, увлекательно раскрывающие сложный процесс формирования человека коммунистического будущего. Нам нужны произведения о революционном прошлом, о боевых традициях поколений борцов за коммунизм. Сегодня, в дни развернутого строительства коммунизма, нам нужны Корчагины необозримых целинных краев, молодогвардейцы, строящие гигантские электростанции и прекрасные города в глухих таежных краях, устремляющиеся в неведомое, атакующие тайны природы.

Не словами, а делом должны ответить авторы «Юности» на добрые беседы руководителей партии. Делом — стихами, романами, повестями, рассказами, критическими статьями, осмысливающими все то новое, что рождается в нашей замечательной жизни.

За работу, товарищи!

ВРЕМЯ МУЖЕСТВЕННЫХ

Виталий КОРЖИКОВ

Речь Н. С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства заставляет взволнованно думать о судьбе советской литературы и ее подлинном назначении. Только понимание целей и борьбы Коммунистической партии может родить настоящее слово литературы.

Мне много приходилось плавать матросом на судах дальнего плавания. Во время стоянки в одном североафриканском порту, где сейчас распоясавшаяся реакция истязает лучших сынов народа, к нашему борту подплыл коричневый оборванный лодочник в надежде кого-нибудь перевезти на берег. Там, на берегу, словно маленькие рабы, двенадцатилетние мальчуганы тащили на плечах тяжелые мешки с углем, а их младшие братья и сестры дергали прохожих за полы, выпрашивая милостыню. На берег идти было незачем. Все это мы уже знали. И целый

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!

день, распростертый под раскаленным солнцем, лежал в своей шлюпке лодочник, изможденный, опухший от голода. Мы вынесли ему обед, и старик, оглядываясь на надзирателя с зеленой повязкой на руке, стал прятать его под сиденье.

Наш радист, парень молодой и не признававший прежде «высоких слов», вдруг сказал:

— Да, все-таки это здорово, что у нас была социалистическая революция, что был Ленин!

В самых дальних портах на нас смотрели с уважением, в каждого из нас вглядывались, нас изучали — наверное, так по атому исследуют целое вещество.

Какой высокой нравственности, высокой интеллектуальной культуры должен быть наш человек!

Нам нужна литература, которая воспитывает талант борца за идеи партии, кует его мужество. Наша литература должна помогать партии убирать с дороги все камни, которые мешают нашему полноводному течению, нашему человеческому, гражданскому росту, должна воспитывать в человеке принципиальность и чистоплотность.

Нашему искусству дано быть высоким и мужественным, оно должно воспитывать людей высоких идеалов, как герои фадеевского «Разгрома» и «Звезды» Казакевича, оно должно отстаивать правду так, как отстаивал ее Николай Островский.

После XX и XXII съездов партии с новой силой ощущается кровность нашей связи с поколением отцов. Я прозжаю Украину и знаю, что здесь отец боролся с Петлюрой и кайзеровцами; прохожу «Магнитку» и думаю, что он отдавал ей все силы; проплываю у берегов Испании и вспоминаю, чувствую, как рвался он сюда в бой за свободу испанского народа...

Кому же, как не нам, нести знамя отцов, жить и работать для народа, отдавать ему самые лучшие чувства?!

Но для того, чтобы говорить от имени народа, мало декларировать принадлежность к нему. Надо разделять его труд, его помыслы. Мало быть с ним только в радости, надо понимать и его трудности.

Жизнь наша умна, богата красками. И нельзя заслонять ее сухими, казенными словами, образчиками интеллектуальной замшелости, штампованного бездумья. Нашу литературу мы должны держать в чистоте. Ни одной серой пылинки на нашем знамени!

Человек с большой буквы, за которого мы боремся,— это Человек будущего, это весь светлый мир.

Но в этом мире я знаю прежде всего свою землю, которая меня вырастила,— землю честных первооткрывателей и землепроходцев. Землю, изрытую окопами недавних сражений, отцами завоеванную и вспаханную. Она нам дает и хлеб и песню.

По наследству приемлю
Все, что взято в бою,
Знаю, чувствую землю,
На которой стою!

Юлиан СЕМЕНОВ

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА

Литератор сродни музыканту: и тому и другому необходим постоянный, беспощадный тренинг. Долгие перерывы, неоправданные промедления в нашем ремесле смерти подобны. Как, впрочем, и чрезмерная спешка.

Читатель наш сейчас так гигантски вырос, так стал требователен к нам, что «выдавать на-гора́» можно лишь те произведения, которые доведены до филигранной точности и четкости. Поэтому работается чем дальше, тем трудней. Но я категорически против термина «муки творчества», я всецело за термин «счастье творчества», а нетрудное, легкое счастье — какое же это счастье? Главное, чтобы состояние трудного счастья творчества было постоянным и каждодневным — на всю жизнь.

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!

Уже много месяцев я прикасаюсь к святыне: работаю в архивах революции, собираю материалы о последнем годе гражданской войны на Дальнем Востоке, о выдающейся роли Блюхера, Постышева, Уборевича в разгроме японо-белогвардейских банд. Накопленный материал постепенно ложится в большую повесть. Стержневым героем ее будет человек моего нынешнего возраста, подпольщик-чекист, посланный на Восток Дзержинским.

Заканчиваю для «Юности» маленькую повесть о доброй и честной мужской дружбе. Пишу на любимом мною абакан-тайшетском материале.

Настроение рабочее. И нет для меня большего счастья, как отдавать созданное на суд самому строгому и самому доброму судье — народу-творцу, народу-поэту, народу — первооткрывателю завтрашнего дня.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ

Василий АКСЕНОВ

Март этого года был серьезным этапом в моей литературной жизни. Никогда еще я столько не думал над своей работой, над моими уже написанными книгами и теми, которые я собираюсь написать, как в эти дни после большого разговора в Кремле.

Нам, кого называют молодыми литераторами, и, может быть, в особенности мне, было над чем подумать после речей Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева. Мысли мои все время возвращались к той ответственности перед народом, о которой должен помнить каждый советский писатель. О великой ответственности, которая одна может быть истинной оценкой литературного труда.

Признаюсь, что это нелегко мне далось, но я искренне понял, что в наше острое время борьбы идеологий невозможно никакое легкомыслие, понял, что критика, которая раздавалась и в мой адрес с высокой кремлевской трибуны, и со страниц некоторых газет, и в читательских письмах, несмотря на всю ее суровость, была справедливой, о чем я уже писал недавно в «Правде».

Я не умею и не люблю произносить громких слов. Не в словах дело и не в публичных покаяниях. Сейчас я думаю только о своей будущей работе и обещаю своим читателям, что сделаю выводы из партийной критики, и пусть тому будут арбитрами 600 тысяч подписчиков «Юности»!



Владимир ПАВЛИНОВ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД, ТОЛЬКО НА ЛИНИЮ ОГНЯ!

В течение тех пяти лет, которые мне пришлось провести в поездках по стране и работе в качестве горного инженера, в самом тесном общении с представителями многих профессий и почти всех национальностей, я понял, как справедлива обида наших читателей на тех из нас, кто обходит вниманием основные вопросы жизни.

Беда, по-моему, в том, что за последние годы некоторая часть наших молодых поэтов отклонилась от главной темы современности — романтики будней, романтики труда, пафоса коммунистического строительства. Стоит вспомнить последние книги и подборки стихов поэтов нашего поколения. Они полны впечатлений о заграничных поездках, интимных переживаний, касаются, и надо прямо сказать, не всегда удачно касаются, вопросов эстетики, философии, истории. И неоправданно малое место в них занимают вопросы труда и быта советских людей, вскрытие и преодоление тех трудностей, которые еще тормозят строительство коммунизма, мешают нам работать с полной нагрузкой, с полной отдачей стране своих духовных и физических сил.

Причина этому, как мне кажется, состоит в том, что за последние годы в литературу пришло много молодежи — яркой, талантливой, но не прошедшей суровой жизненной школы. Поэтому стихи поэтов нашего поколения часто менее проблемны, менее злободневны, чем стихи наших старших товарищей, прошедших закалку огнем и железом в годы войны и коммунистического строительства, хотя и не уступают им подчас по мастерству.

Именно незнание жизни породило некоторые формалистические тенденции в поэзии молодых, уклон в интимность и мелкотемье. Лирический герой некоторых моих однокашников разболтался, измельчал, пытается бежать от основных, наболевших вопросов жизни в эстетику, в сугубо личную жизнь.

Конечно, и эти темы интересны. Но никогда они не были и не будут главными темами советской литературы. Честные и скромные люди — те, кто работает на переднем крае коммунистического строительства, поднимает целину, возводит электростанции и домны невиданной мощности, запускает спутники, ищет нефть и строит небывалые по протяженности газопроводы, работает в тяжелых условиях, проявляет массовый героизм и не кричит об этом,— такие люди имеют первоочередное право на внимание со стороны любого художника. Такие люди работают на нас, и для них должны работать мы. Совесть будет всю жизнь мучить меня, если я ничем не сумею помочь своим друзьям и товарищам по работе — шахтерам Коми, геологам Алтая, буровикам Устюрта и Каракумов. И сами они никогда не простят мне этого.

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА,
ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!

Поиски в поэзии, как и в любом искусстве,— вещь полезная и необходимая. Но нельзя забывать и о том, что основная цель искусства — воссоздание реальной, правильной картины современного общества. Поэт обязан писать так, чтобы читатель, ознакомясь с его стихами, получил наиболее полное представление о том, что происходит в стране.

Больно и стыдно читать стихи некоторых талантливых молодых поэтов потому, что их лирический герой — «нигилист», бездельник, чуть ли не тунеядец, которому плевать на все, кроме собственного «я», и бездельник не простой, а воинствующий. Такого «героя» нужно гнать вон из стихов, а авторов — посылать из редакций на стройки, в жизнь, чтобы железный ветер эпохи выдул из них неуважение к труду, к производителю всех материальных благ, к строителю коммунизма, к человеку.

Хочется сказать моим собратьям по перу: бросьте диспуты в кулуарах и у буфетных стоек, копание в собственном «я», давайте работать не только пером, но и рулем грузовика, рычагом трактора и бурового станка, отбойным молотком и кузнечным молотом. Ранний профессионализм, к сожалению, нередко порождает отрыв от жизни. Трудно понять запросы и нужды строителя, не побывав в «рабочей шкуре», не утонув по горло в будничной тяжелой работе, поглядывая на борьбу и трудности сверху и со стороны. На стройку! Работы хватит всем!

Сейчас я заканчиваю небольшую поэму о буднях буровиков в Каракумах и работаю над повестью. Пишу стихи.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Сначала несколько вопросов. Где, когда и в какой стране литература пользовалась такой поддержкой народа, имела такую популярность, какую она имеет у нас? В какой еще стране писатель ощущает себя борцом за самые светлые идеалы человечества? В какой еще стране литературе уделяется такое постоянное внимание?

Ответы на эти вопросы напрашиваются сами собой. И я горжусь, что живу в прекрасное время, на прекрасной земле. Горжусь, что советские литераторы имеют самого лучшего в мире читателя. Вырос он необыкновенно. Он уже давно понимает, где настоящая литература, где подделка под нее. И он не терпит снисходительного похлопывания по плечу. Он верит писателям. Он ждет от них новых книг — звонких, как время. Мужественных, как сердце народа. Величавых, как мечты. Он ждет этих книг, и мы должны отдать все свои силы для того, чтобы такие книги появились.

Пусть каждая наша строка приближает коммунизм. Пусть в каждой нашей строке бьется партийное сердце поэта. Пусть каждая наша строка будет до конца честной, до конца открытой. Пусть каждая строка будет наполнена любовью к людям и великими идеалами революции. Тогда мы оправдаем доверие народа!

Владимир АМЛИНСКИЙ

БАГРОВЫМ И СВЕТЛЫМ ПУТЕМ РЕВОЛЮЦИИ

«Багровый путь революции, единственный, по которому существует движение вперед, принят им еще и еще раз...»

Это Луначарский написал о Горьком.

Наши деды и отцы шли багровым и светлым путем революции, и это подготовило нашу сегодняшнюю судьбу. И детство наше и юность были озарены жаркими и трепетными, как лесные костры, песнями революции, их песнями; сквозь детство наше и юность прошли правдивые и удивительные легенды ревслюции, легенды их молодости; сквозь наше детство и нашу юность, сквозь всю нашу жизнь пролегли их дороги; это единственный путь, по которому существует движение вперед.

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!

И когда мы пытаемся осмыслить этот путь, когда мы хотим написать о людях своей страны и эпохи, о себе, когда говорим о том, что было вчера, о том, что есть сегодня, мы должны не терять ощущения завтрашнего дня, который стоит на пороге. В завтрашнем дне для меня всегда таится ощущение весны, утреннего, весеннего непокоя, дерзания, творчества, молодости.

Только молодость эта не должна быть крикливой, самоупоенной, самодовольной. Она никогда не должна забывать о тех, кто вспоил ее, кто жизнью своей и борьбой охранил ее весну. И мне кажутся полными веры в нашу молодежь строгие и очень серьезные слова Н. С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства:

«И мы хотели бы посоветовать нашим молодым людям: учитесь на истории революции, на истории борьбы, участниками которой были ваши отцы и матери, и свято храните память о тех, которых уже нет, и с уважением относитесь к тем, которые живут, и берите от них на вооружение в свои руки все, чтобы вы были достойными людьми, достойными продолжателями дела своих отцов».

Феликс КУЗНЕЦОВ

СЕРЕДИНЫ НЕТ!

«Поэт — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет».

Слова эти принадлежат Д. И. Писареву, могучему «бойцу мысли», бесстрашному и безукоризненному «рыцарю духа». Поэту в критике. Они написаны сто лет назад. Но кто оспорит истинность их сегодня? Кто докажет, что Писарев был не прав, когда требовал от поэта глубокого знания всего, что интересует «самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа», понимания глубокого смысла «каждой пульсации общественной жизни», четкой целеустремленности, гражданской любви и ненависти? «Эта любовь, неразрывно связанная с этой ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священнейший смысл всего его существования и всей его деятельности».

Недавние встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, беседа в ЦК КПСС с молодыми творческими работниками утверждают в мысли: мы, молодежь, еще недостаточно думаем о том, что составляет для искусства душу его души, единственный и священнейший смысл его существования.

Мы должны быть достойными традиций классической русской и советской литературы, из которых ведущая — обостренная, воинствующая гражданственность. Вчитайтесь в Белчнского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, поразмыслите над Гоголем, Герценом, Достоевским, Толстым,— какими «бойцами мысли», «рыцарями духа» были эти титаны! Какая напряженная ответственность за судьбу родины и человечества, какая изнурительная забота о жизни народа питала их произведения!

Общеизвестна мысль, что русская литература всегда была литературой вопросов: вопросов гражданского, общественного, общенародного бытия.

«Герой нашего времени», «Преступление и наказание», «Война и мир» — вот уровень и масштаб проблем, которые ставила и решала она. Вот критерий, от которого молодым никуда не уйти, если они не хотят до самой глубокой старости ходить в начинающих.

Середины нет. Только писатель, который выработает глубокое и цельное миросозерцание, отчетливые гражданские идеалы и последовательные идейные убеждения,— только такому писателю суждено в наш век избежать жалкой роли небокоптителя.

Белинский и Гоголь, Чернышевский и Толстой, Писарев и Достоевский, Луначарский и Горький, Воровский и Маяковский в беспощадной борьбе отстаивали реализм, идейность и народность литературы. При всех спорах, различиях и противоречиях каждый из них, я убежден, подписался бы под словами Писарева: «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

Над разрешением этого вопроса мучительно билась в течение десятилетий русская литература. Ради разрешения этого вопроса шли в народ, а потом — в террор и на виселицу герои-народовольцы. Пути и принципы разрешения этого вопроса предложили миру Маркс и Ленин...

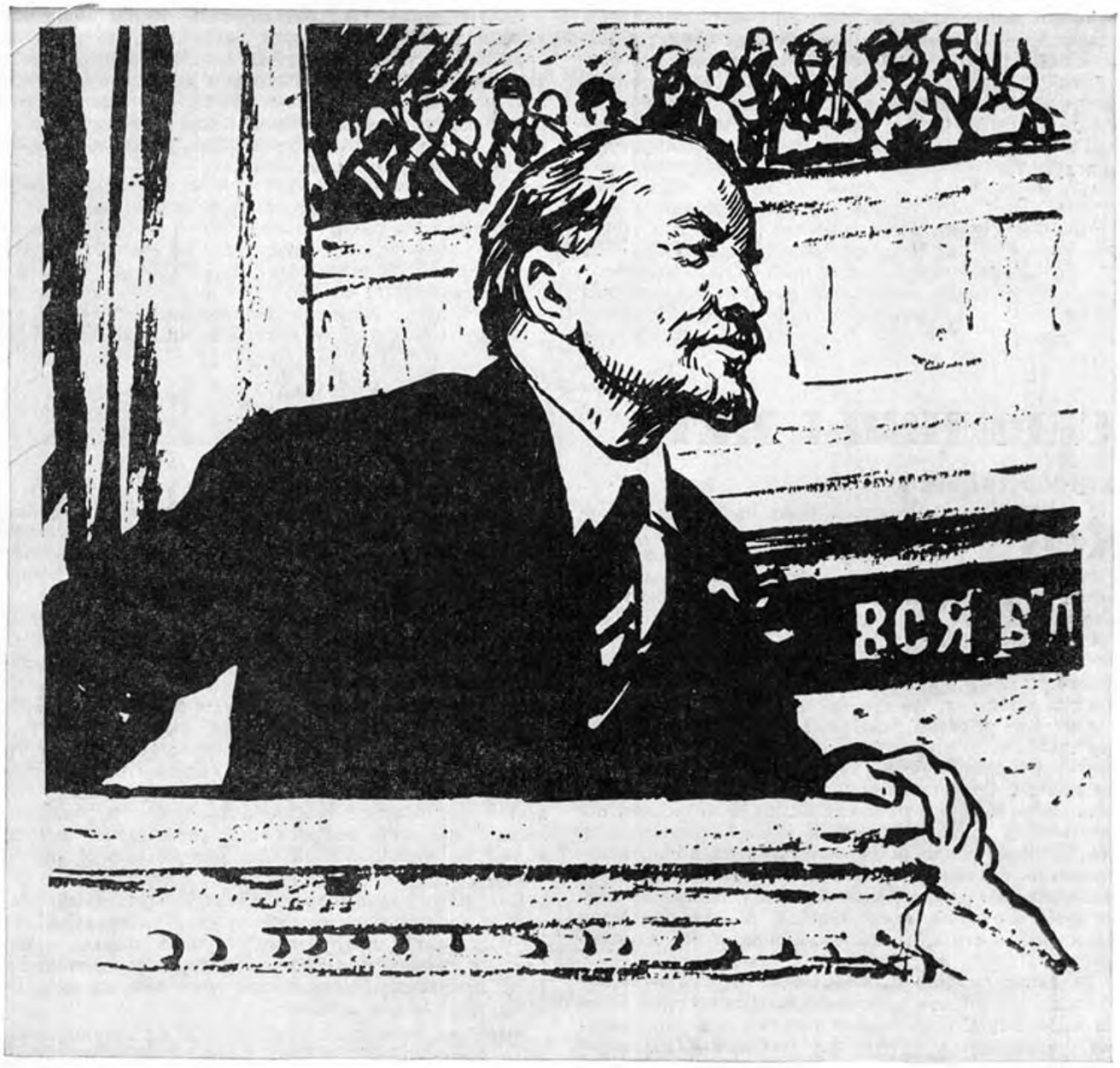
Было бы постыдной пошлостью и отступничеством хоть на мгновение забыть о том самопожертвовании и героизме, о той рыцарской высоте духа и честности убеждений, которые составляли смысл существования наших предшественников.

Молодые унаследуют и передадут следующим поколениям то, без чего нет Человека и Гражданина:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья,
Переходит, молодость, к тебе.

(Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.)

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА,
ВО ИМЯ КОММУНИЗМА!



В

Рассказ

Софья ВИНОГРАДСКАЯ

Есть в Москве, в Политехническом музее, лесенка. В коридорчике, под трибуной. На ней встречают известных ораторов. Поджидают любимых поэтов. Приветствуют знаменитых актеров. Получают автографы. Заветная лесенка...

Там весной восемнадцатого года стоял юноша, стремительный и бурный, как весенняя река в половодье. Он стоял на самой нижней ступеньке и поджидал. Кого?

А неподалеку, прислонясь к стенке, стоял Филипс Прайс, английский корреспондент. Стоял и наблюдал...

Русская революция была еще совсем молодой. Царя свергли год назад. Столицу пролетарской республики перенесли в Москву. Правительство Советов только-только приехало из Петрограда. Московские гостиницы спешно отводили под резиденцию. Ленин жил еще не в Кремле, а в номерах «Националя», который позднее именовали: 1-й Дом Советов.

12 марта, в первую годовщину февральской революции, Ленин появился в Политехническом, на заседании Московского Совета. Москва впервые увидела вождя революции. Москва смотрела на Ленина и слушала...

Он шел к трибуне — невысокий, коренастый, лысоватый, с рыжеватой бородкой и сияющим куполом громадного светлого лба, под которым светились небольшие, острые, все примечающие глаза. Рядом с Лениным, очень легко, словно в беге, двигался низкорослый, худощавый, складный человек с антрацитово-мерцающими, лихорадящими глазами на худом, синевато-смуглом лице. Интеллигент в пенсне и черной кожанке, подбитой алой фланелью. Ленин и Свердлов. Председатель Совнаркома и председатель ВЦИКа. Руководители первого правительства Советского государства.

Они были лично знакомы лишь одиннадцать месяцев — Ленин впервые встретился со Свердловым в Петрограде уже после возвращения из эмиграции. Годы и годы Ленин жил в изгнании, а Свердлов — в неволе. О таких, как Свердлов, говорили, что они на воле квартируют, а в тюрьме и ссылке проживают, что их прописка на воле временная, а в тюрьме и ссылке — постоянная. Свердлов знал подпольную партию лично, в лицо. Теперь они были рядом — создатель самой революционной на земле партии Ленин и профессиональный революционер Свердлов.

Была годовщина февральской революции. Одинокая, безоружная, стояла молодая пролетарская республика перед миром империализма. Германская военщина диктовала в Бресте унизительные условия. Ленин впервые стоял на московской трибуне и горячо, пророчески убеждал, что революция преодолеет все трудности и «не останется места ни для отчаяния, ни для уныния».

После заседания Ленин и рядом с ним Свердлов спускались с трибуны. Внизу, на самой последней ступеньке заветной лесенки, и подстерег Ленина юноша — высокий, тонкий, остролицый, восторженно-нервный, в гимназической шинели и барашковой папахе солдата русско-германской войны.

— Товарищ Ленин, я записал вашу речь и сейчас прочитаю вам,— смело обратился он к Председателю Совнаркома и, не дожидаясь разрешения, звонко стал читать свою запись.

— Вы кто? — остановил его Ленин.

— Репортер из Вечерней...

— Вы знаете стенографию? — прервал его Ленин.

— Нет, не знаю. А зачем?

— Как же вы записывали? Ведь это трудно без стенографии речь записывать.

— Вашу не трудно,— решительно объявил репортер.— У вас, товарищ Ленин, все очень понятно. Только...— досада искривила юношеский, полудетский рот,— ...только у меня нет начала.

— Почему же речь без начала?

— Не успел записать.

— Опоздали?

— Нет, что вы, товарищ Ленин! Я пришел, еще никого не было, еще не впускали. Но я вас увидел сегодня в первый раз, я представлял себе вас совсем другим, и так удивился, когда вы вышли, и все смотрел. Вы уже начали доклад, а я все еще смотрел и забыл, что надо записать, а когда спохватился, уже не успел начало... А мне сегодня надо в газету сдавать отчет.

Ленин весело улыбнулся, Свердлов захохотал, закашлялся и сочувственно положил руку на плечо юноши.

— Товарищ Ленин,— ничуть не смущаясь, настойчиво повторял репортер,— можно, я сейчас прочитаю это, а вы мне скажете, что записать в начало.

И он снова стал звонко читать свою запись.

— Покажите, как вы записываете.—Ленин взял у парня его репортерский блокнот, взглянул на первую страницу.

— По чистописанию у вас была единица? — быстро спросил он.— Какие каракули! — И так же быстро,

ДЕТСКИХ БОТИНКАХ



как спросил, Ленин оглядел парня, его солдатскую из шинельного сукна с барашком папаху, гимназическую шинель с блестящими до меди стертыми пуговицами.— Вы учитесь?

— В пятом классе Ломоносовской гимназии. Но ушел. Сейчас не учусь.

— А почему? Почему не учитесь?

— Решил делать революцию.

— Ну, и как же вы ее делаете?

Ленин переглянулся со Свердловым, который не скрывал своего восхищения восторженным, энергичным парнем.

— Я секретарь подрайона пролетарской молодежной организации.

— Сколько членов в организации? — сразу заинтересовался Ленин.

— Было две тысячи! — торжественно объявил, словно отрапортовал репортер.— Но теперь многих нет. У меня в тетради много галочек.

— Галочек? — не понял Ленин.

— Я ставлю галочки у себя в тетради. Там у меня записаны все члены нашей организации. А против фамилий тех, кого нет, я ставлю галочки. Теперь уже много галочек. Многих в подрайоне уже нет.

— Где же они?

— Триста ребят вступили в Кремлевский артиллерийский полк! — рапортовал репортер.

— Так. Триста. А остальные? — спрашивал Ленин.

— У нас в подрайоне есть студенты. Они ушли в школы. Преподавать математику. Вместо саботажников.

— Вот это замечательно! — восхитился Ленин.— Каково, Яков Михайлович, а? Студенты из молодежной организации заменили саботажников! Математику пошли преподавать! Сколько их?

— Двадцать!

— А вам, молодой товарищ, сколько лет? — неожиданно заинтересовался Ленин.

— Уже шестнадцать!

— И вы руководите организацией молодежи?

— Нет, я секретарь подрайона. А председатель у нас — ученик седьмого класса.

— Выходит, молодежью рабочей руководят ученики? Гимназисты? — Ленин насторожился, прищурился.

— У нас, товарищ Ленин, руководили рабочие ребята. Егор Пищаев с фабрики Цинделя. Это очень большая фабрика у нас. Текстильная.

— Слыхал, слыхал про «Циндель»,— улыбнулся Ленин.

— У нас еще руководил Попов и Лапин руководил. Когда наши брали Александровское училище, он участвовал в бою. Это на Арбатской площади, там юнкера в училище засели. Там шли большие бои. И Лапин дрался с юнкерами. У нас в организации много рабочих-подростков. Они уже по два года на производстве, и мы должны защищать их пролетарские интересы. Но у нас нет освобожденных секретарей. И председатель тоже не освобожденный, так что мы еще и работаем.

— Значит, средства к существованию вам дает репортерская работа? — Ленин все более подробно вникал в положение дел.



Рисунки Н. Жукова.

— Да. А все свободное время я на молодежной работе. В газете мы тоже должны защищать пролетарские интересы подростков на производстве.

— Совершенно верно!—сказал Председатель Совнаркома.— Но чтобы быть журналистом, надо много знать. А у вас тут вот вижу ошибки.— Он ткнул пальцем в репортерский блокнот, который все еще держал в руке.— С орфографией нелады! Вам еще надо учиться.

— Когда мы закончим революцию, я пойду учиться.

— А революция закончится когда? Вы полагаете, через неделю? — хитро прищурился Ленин.

Юноша ничего не ответил.

— Полюбуйтесь, Яков Михайлович, какие у нас журналисты! — сокрушенно покачал головой Ленин.— В каких детских ботинках мы еще ходим!

Репортер невольно посмотрел на свои ботинки с обмотками.

— Нет, не об этих ботинках речь,— успокоительно и печально заметил Ленин. И снова обратился к Свердлову: — Придется, Яков Михайлович, уделить молодежи немного средств. Прошу вас лично заняться этим.

— Уже! — выговорил своим низким басом председатель ВЦИКа, который обладал удивительной способностью предугадывать мысли Ленина и часто предварял его распоряжения, встречая их кратким, успокаивающим «УЖЕ!».

Свердлов достал свою знаменитую записную книжечку, которая заменяла порой целый секретариат, учетный отдел и отдел партийных кадров, и, с нежностью глядя сквозь овал пенсне на юношу своими лихорадящими, с антрацитовым мерцанием глазами, спросил его фамилию, имя... Потом что-то быстро записал в книжечку и туго застегнул двубортную кожаную куртку на все пуговицы.

— Вашу запись, молодой товарищ, я возьму с собой, — сказал Ленин. — Зайдите за нею часа через два в «Националь». Внизу, в комендатуре, получите ее вместе с началом. До свидания!

Юноша тотчас ушел. Филипс Прайс, наблюдавший все происходившее, тоже куда-то отодвинулся. Ленин пошел к выходу вместе со Свердловым и на ходу все покачивал головой:

— В каких детских ботинках мы еще шагаем... А шагать-то ведь далеко. Ох, как далеко!

И, взглянув вслед уходившему вперед репортеру, у которого размоталась обмотка — конец ее волочился по полу, Ленин вдруг повеселел:

— Но такие, как этот, хоть и в детских, невозможно детских ботинках, а, видать, шагнут далеко, очень далеко. Эти не остановятся!

Революция была молода, шагала порой в детских ботинках и переобувалась на ходу.



Борис ЧИЧИБАБИН

Я ХОЧУ БЫТЬ ТАКИМ, КАК ИЛЬИЧ!

Отчего в твоем сердце
немолкнущий клич,
И стремится душа за строительным
планом,
И в бессонных ночах лоб задумчив
и пламен?

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Почему, если кто-то обижен и нищ,
То и ты не сумеешь быть сыт
и спокоен?
Что за разум такой? Что за сердце
такое?

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Что тебе за печаль до чужих
пепелищ?
Не кубинские ж звезды тебе
ворожили!
И ведь кровь не твоя проливалась
в Алжире!

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Почему ты себе помолчать не
велишь
И коришь за корысть, негодующ
и спорящ,
Карьеристов, и хамов, и прочую
сволочь?

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Но ведь ты и начальство порою
хулишь.
Ой, смотри, чтобы путь твой успешно
начался,
Упаси тебя боже касаться начальства!

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Хочешь гроз? Так беды на себя
не накличь.
Не устал еще разве от споров
и странствий?
Мало горя хлебнул? Не наездился
разве?

— Я хочу быть таким, как Ильич.

Молодой до седин, я такой не один.
Мы добьемся, дойдем, победим,
одолеем.
Мы иного житья для себя не хотим —
Мы хотим быть такими, как Ленин.

Повесть

Мария
КРАСАВИЦКАЯ



Рисунки
Г. Калиновского.

ЕСЛИ ТЫ НАЗВАЛСЯ СМЕЛЫМ...

Мое призвание

Я стою у открытого окна и смотрю на улицу. Как много пожелтевших листьев в кронах старых рижских каштанов, выстроившихся в ряд по краю тротуара! Иногда между каштанами, там, внизу, появляется букет цветов: еще один школьник идет на уроки.

Сегодня первое сентября — начало учебного года. Одиннадцать лет из восемнадцати, прожитых на свете, и я в этот день и час шла в общем потоке туда, за угол. И несла в руках гладиолусы. Я очень люблю гладиолусы.

Накануне я ездила на базар, обязательно на Центральный: там большой выбор цветов. Наверно, если посмотреть сверху, с самолета, огромная площадь Центрального базара в канун первого сентября покажется пестрым ковром. В десять, а то и больше рядов стоят в этот день продавцы цветов. Я люблю долго бродить вдоль цветочных рядов и искать какие-то необыкновенные, для меня одной выращенные гладиолусы. Может быть, темно-красные, почти черные. Или, наоборот, лучше взять снежно-белые. Или сиреневые, лиловые, голубые... Каких только оттенков не увидишь осенью на Центральном рижском базаре!

Вчера мне не надо было искать самые необыкновенные гладиолусы. А сегодня мне вообще никуда не надо идти.

Смотрю вниз и считаю букеты. Пятый, восьмой, двенадцатый... Чем ближе к восьми часам подвигается стрелка будильника, тем больше школьников с букетами появляется на улице. И тем быстрее они идут.

Еще пять минут бойко отстукал будильник. Нет больше школьников. Теперь все они на залитом солнцем школьном дворе. Первого сентября почему-то всегда тепло и солнечно. И до тех пор, пока не прозвенит первый звонок, двор будет петь, смеяться, двор будет шевелиться и переливаться красками ярких осенних цветов.

Вот сейчас там уже звенит звонок. Особенно веселый и долгий.

Вспоминаю школу, и горький комок подкатывается к горлу. Никогда еще в этот день я не была одна.

Сегодня одна. Подруги—кто в школе, кто в институте, кто на работе. Ты одна. До тебя никому нет дела. Тикает за спиной на тумбочке будильник. Эх, будильник, будильник! Ты теперь тоже остался без дела.

Как долго можно предаваться таким мыслям и не заплакать от жалости к себе самой? Но, как говорит папа, запас слез небезграничен. К тому же хорошо плакать, когда тебя жалеют. Плакать в одиночестве — бессмыслица. Гораздо полезнее взять большую хозяйственную сумку и сходить в магазин. В какой-нибудь самый дальний магазин.

И вот я уже иду по улице. Иду, и думаю, и горько смеюсь сама над собой.

Последние месяцы учебы в школе я самонадеянно изрекала, когда меня спрашивали, что же я собираюсь делать дальше:

— Мое призвание — стать строителем.

Вот как это получилось.

Два года назад у нас умерла мама. Умерла внезапно: схватилась за сердце, неловко, боком опустилась на мой диван и больше не поднялась.

После похорон «власть в свои руки» взяла мамина подруга Дагмара.

Она приходила к нам каждый вечер. И начинала командовать: Рута, сделай то, Рута, принеси это. Она считала своим долгом обязательно проверять, как я приготовила уроки, хотя ни мама, ни папа давно уже этого не делали: доверяли моей сознательности. Мы с моей подругой и одноклассницей Скайдрите прозвали ее «рыжей», хотя Дагмара была крашеная блондинка.

Я сразу же возненавидела «рыжую». Тетя Анна, мать Скайдрите, то и дело внушала мне, что папа молод и ему надо жениться, что Дагмара очень подходит ему в жены. Все во мне возмущалось при одной мысли, что «рыжая» должна заменить маму. Но тетя Анна была права: папа еще молод, и ему, наверно, в самом деле лучше жениться. Словом, стиснув зубы, я терпела Дагмару и ее нудные наставления. И только когда она дотрагивалась до маминых вещей, я готова была наброситься на «рыжую» с кулаками.

Однажды — папа еще не пришел с работы — Дагмара явилась в новой капроновой блузке и начала вертеться перед зеркалом. На туалетном столике стояла синенькая, граненого стекла мамина пудреница. Пудру мама в ней не держала, а хранила свои украшения: брошки, клипсы, колечки.

«Рыжая» взяла мамину любимую брошку, золотую, с маленькими бледно-зелеными камешками-подвесками, приколола себе на блузку. Охорашиваясь, приняла томный вид, несколько раз переделала прическу. И все прислушивалась к шагам за дверью: ждала папу, чтоб «произвести впечатление». Брошка жалко поблескивала, казалось, спрашивала: «Что жо это такое, Рута?»

— Положите! Сейчас же положите! — закричала я.

«Рыжая» изумленно оглянулась.

— Снимите мамину брошку! — Я с трудом удержалась, чтоб не сорвать брошку с блузки.— Не смейте трогать мамины вещи!

— Как грубо, как некрасиво! — «Рыжая» криво усмехнулась, но брошку отколола и небрежно кинула в пудреницу.

Я схватила брошку, зажала ее в кулаке и кинулась к дверям. И столкнулась с папой.

— В чем дело? — устало спросил он.

— Пусть она не трогает... Пусть не прикасается к маминым вещам! — Голос у меня пропал; едва выговорив эти слова и показав папе брошку, я выбежала из комнаты, заперлась в ванной и долго плакала. До тех пор, пока папа не постучал в дверь и не окликнул меня.

«Рыжей» в комнате не было.

— Больше она не придет,— сказал папа, и мне почудилось, что он облегченно вздохнул.

Позже Скайдрите, хихикая, рассказала мне, о чем говорил папа с «рыжей». Скайдрите вечно подслушивает под дверями.

— «Рыжая» возмущалась, требовала, чтоб ты извинилась. Иначе, говорит, ноги моей здесь больше не будет. А он ей: «Кажется, так действительно будет лучше». Тогда «рыжая» начала всхлипывать и сморкаться. Потом как закричит: «Я всю жизнь люблю тебя, Ольгерт!» А он так спокойно, спокойно: «Ну, это не совсем так, конечно. Но не в этом дело. Дело в том, что у меня нет и не может быть выбора между вами и Рутой». Так и сказал, слово в слово. «Рыжая» еще что-то покричала о неблагодарности. Потом убежала. Дверью хлопнула.

С этого дня все заботы по хозяйству легли на меня. Наверно, хозяйничала я плохо, потому что денег нам теперь с папой никогда не хватало. Дня за три до получки я начинала лихорадочно экономить. Тетя Анна научила меня готовить самый дешевый обед — из вымени. Противный на вид, этот «субпродукт» надо было часа три варить, а потом резать ломтиками и обжаривать.

Как только я ставила перед папой тарелку с этими поджаренными ломтиками, он усмехался, спрашивал:

— Опять «села»?

Я виновато кивала головой. Папа после обеда отправлялся к дяде Алберту — отцу Скайдрите — «восполнять дефицит в бюджете».

Так мы и жили. Папа стал молчаливым, замкнутым. Я уж думала: «Все, состарился». Он никуда не ходил, на вечера часто приносил работу, располагался на столе с чертежной доской, и тогда мне приходилось делать уроки у Скайдрите.

И вдруг, буквально в один день, все изменилось. Папа пришел домой поздно. Вид у него был смущенный и рассеянный. После этого он стал часто исчезать вечерами из дому, виновато говоря мне:

— Я скоро вернусь, Рута.

Но я никогда не слышала, как он возвращался: уже спала.

А когда однажды папа тихонько запел во время работы, я поняла: он влюбился.

Я заранее возненавидела эту женщину. Она представлялась мне такой же, как рыжая Дагмара.

Все время, прошедшее со смерти мамы, мы были с папой вместе. Теперь эта новая «рыжая» отнимала его у меня. Напрасно убеждала меня тетя Анна:

— Папа еще молодой. Очень хорошо, если он женится.

Мне было противно, что она говорит об этой, новой, теми же словами, что и о Дагмаре. Значит, и в самом деле обе они стоят одна другой. По вечерам, когда я оставалась одна, мне виделось, как папа ведет эту женщину под руку, может быть, целует ее. Я задыхалась от ненависти и отвращения. Папа, наверно, понимал это. И все-таки то и дело исчезал по вечерам.

Зима стояла сырая, слякотная. Папа со своих прогулок приходил с мокрыми ногами. Кончилось тем, что он схватил ангину, целую неделю лежал с высокой температурой и ничего не ел.

Тоня

В этот день я вернулась из школы рано. Папа дремал. Чтоб не разбудить его, я решила посидеть тихонько и заштопать расползшийся на локте рукав школьного платья.

Чем больше я штопала, тем больше ползла в стороны дырка. Но все равно рукав надо было привести в порядок, иначе мне завтра не в чем будет идти в школу.

Я штопала и думала, что мама на те же самые деньги умела и вкусно накормить нас и купить одежду, обувь. Я, наверно, никогда не научусь так хозяйничать. Вот мне платье нужно. Папе — новые ботинки... Да мало ли что еще нам надо!

В прихожей дважды звякнул звонок: к нам. Я открыла. За дверями стояла молодая женщина. На улице шел снег, и у нее на меховой шапочке, на воротнике, на темных пушистых волосах блестели снежинки. Я подумала, что это врач.

— Скажите, здесь живет Ольгерт Эзеринь? — В глазах у нее была тревога.

Я сразу поняла: это ОНА.

— Ольгерт Эзеринь живет здесь, но он болен,— сухо ответила я и хотела захлопнуть дверь перед носом у этой наглой женщины, не постеснявшейся прийти в наш дом.

— Я знаю, Рута,— так, словно мы с ней давно знакомы, ответила женщина.— Я потому и пришла, что он болен.— И она вошла в переднюю.

Пока раздевалась, засыпала меня вопросами:

— Как температура? Что говорит врач? Какие лекарства принимает?

Я отвечала сквозь зубы. Все во мне кипело. А она, как ни в чем не бывало, разделась, спросила:

— Сюда? — и без стука вошла в комнату.

Я двинулась следом, намереваясь ни на минуту не оставлять их вдвоем.

Папа по-прежнему дремал. Она заглянула ему в лицо — он лежал на боку, отвернувшись к стенке,— чуточку улыбнулась. Не губами, одними глазами. И папа мгновенно проснулся.

— Тоня! — обрадовался он и сел.

Она положила ему ладонь на лоб, и папа послушно лег, только позу переменил — повернулся к ней лицом. Смотрел на нее, и улыбался, и смущенно запахивал на груди куртку пижамы.

— Жар,— не отнимая ладони от его лба, озабоченно сказала та, которую он назвал Тоней.

Придвинула стул, поставила возле него на пол большую, наполненную чем-то сумку, села.

— Похудел. Очень. Наверно, ничего не ешь?

Ничуть не стесняясь меня, она назвала его на «ты»!

— Не могу,— ответил папа.— Глотать совсем не могу.

— Ну-ка, покажи горло.

Папа раскрыл рот. Тоня заглянула в горло, покачала головой.

— Основательно! Но есть надо,— нагнулась, достала из сумки бутылку молока и обратилась ко мне: — Вскипяти, Рута. Начнем лечить.

Я взяла бутылку и вышла на кухню. Конечно, сейчас они начнут целоваться. Как бы не так! Поставила кастрюльку с молоком на газ, на цыпочках подошла к двери и рывком отворила ее.

Тоня стояла у стола, разглядывала мою штопку.

— Пустое дело, Рута,— сочувственно сказала она.— Видишь, все выносилось, протерлось.— Тоня чуточку потянула рукав, и на нем снова появилась дырка.— Что бы тут приспособить? — Тоня задумалась и потерла указательным пальцем переносицу.

— Новое надо «приспособить», вот и все,— со вздохом сказал папа.— Оно и узко уже ей и коротковато...

— Рута, молоко! — закричала из кухни Скайдрите.

Мы выскочили с Тоней вместе.

— Ничего, не беда. Бывает,— успокаивала меня Тоня, быстро вытирая плитку.— Давай чашку. Побольше которая.

Я подала ей большую красную с белыми горошинами папину чашку. Тоня налила ее до краев.

— Ему не выпить столько,— мрачно предсказала я.

— Вы-ыпьет! — пропела Тоня.— Теперь соды надо.

Я слазила в шкафчик и вытащила начатую пачку стиральной соды.

— Да нет же,— рассмеялась Тоня.— Питьевую надо.

Скайдрите, без дела болтавшаяся на кухне, подала ей коробочку.

— Превосходно,— размешивая в чашке соду, сказала Тоня.— Пить немедленно, пока горячее.

Папа морщился, делал вид, что сердится. Тоня покрикивала на него:

— Пей! Нечего, нечего морщиться. Пей, пока горячее.

— Знаешь, становится легче,— между двумя глотками обрадованно и удивленно сказал папа.

— Еще бы! Знаем, чем лечить!

Папа допил молоко и с удовлетворенным видом откинулся на подушку.

— Теперь надо завязать горло чем-нибудь теплым.

— В шкафу, на полке, поищите...

Мне без стула до этой полки не добраться. Тоня подошла, поднялась на цыпочки и стала перебирать наваленные в беспорядке вещи. Нашла и перебросила через плечо старенькую белую пуховую косынку. Потом она мельком оглядела то, что висит в шкафу. Провела рукой по синему шерстяному маминому платью.

«Вот оно, начинается!» — подумала я и вся сжалась.

— Мамино, да? — тихо спросила Тоня.

Я не могла отвечать. Я видела только ее руку — белую, полную, чуть пониже локтя плотно схваченную манжетом. Руку, все еще трогающую мамино платье.

Рука сняла платье вместе с плечиками. Не успела я опомниться, как Тоня приложила платье ко мне. Как-то особенно, оценивающе взглянула и на меня и на платье.

— Широковато. Длинно. Но переделать можно,— деловито сказала она.— Хочешь, переделаю?

— Соглашайся, Рута! — с деланным оживлением прохрипел папа.— Немедленно соглашайся. Тоня — художник-модельер.

Я молчала, видела только ее руку, касающуюся платья.

— Конечно, я понимаю,— очень мягко начала Тоня,— мамина память. Но оно висит в шкафу, и ты о нем не помнишь. А так ты будешь каждый день носить его и вспоминать свою маму. Каждый день будешь вспоминать.— И она встряхнула платье.— Будь твоя мама жива, она сама отдала бы его тебе теперь, когда ты уже большая...

Давно не вспоминала я маму так живо, так больно. Складки платья, казалось, еще хранили тепло ее тела.

Тоня протянула руку к шкафу, чтоб повесить платье. Я схватила ее за плечо. Говорить я не могла. Тоня вопросительно глянула мне в глаза, спросила негромко:

— Переделать?

Я кивнула и убежала на кухню, плакать. Не заговори она со мной так просто, так душевно о маме — я ни за что не дала бы снять с вешалки платье. Вспомнилось, как та, «рыжая», на второй день после похорон стала обрывать каждого, кто заговаривал о маме: «Мертвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий. Чем скорее они ее забудут, тем лучше».

А Тоня сказала: «Ты будешь вспоминать свою маму...»

Я сидела на табуретке, думала. Никакой злости я не чувствовала к Тоне. С готовностью вскочила, когда Тоня, приоткрыв дверь, позвала меня:

— Рута!

Наверно, без меня они говорили о маме. Вид у обоих был опечаленный. Мамина фотография на этажерке стояла не по-моему: я ставлю ее так, чтобы, ложась спать, видеть мамино лицо. Мне не было неприятно и то, что Тоня трогала, рассматривала портрет.

— Вот что, Рута,— Тоня протянула мне маленькие, с острыми кончиками ножницы — свои, у нас таких не было,— аккуратненько распори вот эти швы. А я пока приготовлю поесть. Папа, наверно, голоден.

— Как зверь! — простонал папа.— Полный дом женщин, а больной умирает с голоду!

Тоня состроила ему забавную рожицу и, подхватив сумку, отправилась на кухню.

То ли у папы в самом деле от горячего молока стало меньше болеть горло, то ли Тоня умела готовить лучше, чем я, но только поел он с аппетитом.

После обеда Тоня заставила его отвернуться к стенке и спать.

— Спать — без разговоров! — приказала она строго и заботливо подоткнула одеяло ему под спину.

Папа затих. А мы, изредка переговариваясь шепотом, кончили распарывать платье. Я включила утюг: надо было отпарить швы.

— Стань на минутку сюда.— Тоня указала на середину комнаты.

Несколько раз, прищурившись, она посмотрела на меня, на разложенные на столе куски материи. Вынула из сумки большой блокнот, карандаш и несколькими быстрыми, короткими штрихами набросала что-то в блокноте.

— Смотри, что получится,— показала мне Тоня свой рисунок.

Редкие, свободные складки на юбке, стоячий воротничок под горло, крупные пуговицы на груди — так должно было выглядеть мое новое платье.

— Ты тоненькая, и верх сделаем гладкий, по фигуре. Нравится?

— Да.

Я отпаривала швы, а Тоня, быстро-быстро работая иголкой, сметывала готовые куски. Щелкала длинными блестящими ножницами — их Тоня тоже из-



М. ФОФАНОВА

Драгоценные

Из воспоминаний о В. И. Ленине

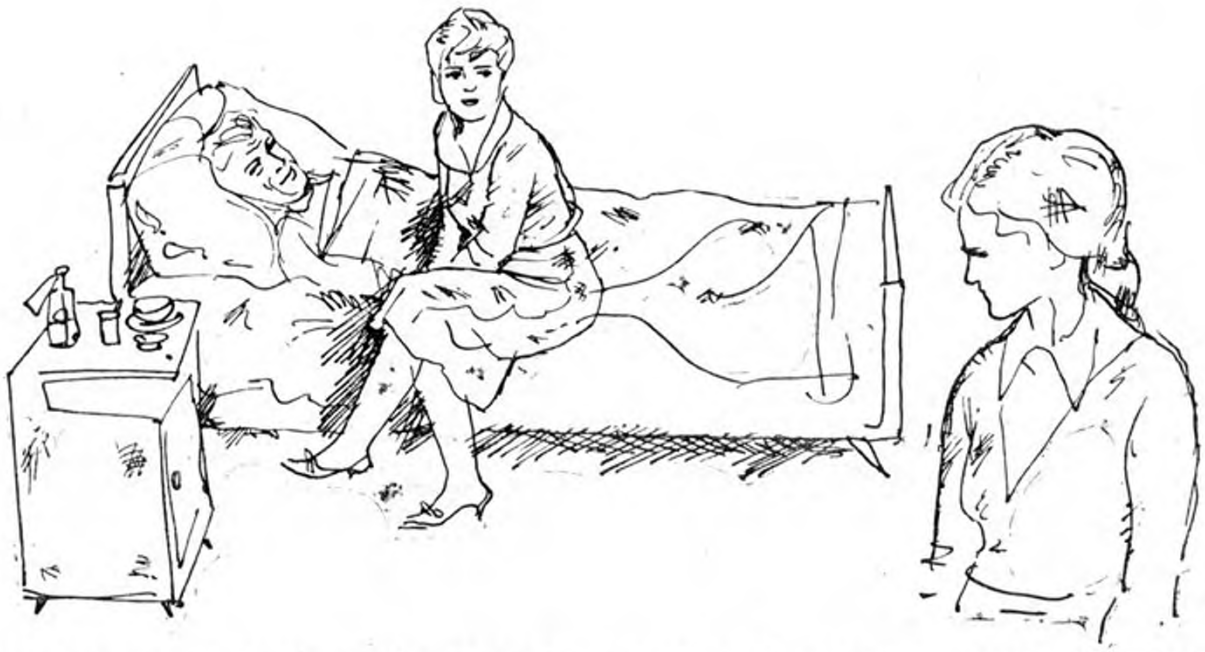
Маргарита Васильевна Фофанова родилась в 1883 году. Работая народной учительницей, она с 1902 года начала принимать участие в подпольной революционной деятельности.

В 1917 году, будучи курсисткой Высших сельскохозяйственных курсов имени И. А. Стебута, она, как член партии большевиков, вела партийную работу в Выборгском районе г. Петрограда, где встретилась с Н. К. Крупской. По инициативе секретаря райкома Жени Егоровой квартира М. В. Фофановой с лета 1917 года считалась конспиративной. 6 июля здесь происходило узкое совещание членов Центрального Комитета, где решался и вопрос — являться ли Владимиру Ильичу Ленину на суд, организованный правительством Керенского, или уйти в подполье.

Позже в этой квартире жил Владимир Ильич (по возвращении из Выборга — 24 октября 1917 года старого стиля, когда он ушел поздно вечером в Смольный).

Сейчас в этой квартире (угол Сердобольской ул. и Б. Сампсониевского — ныне проспекта Карла Маркса, дом 1/106, кв. 20) находится Музей-квартира В. И. Ленина.

По просьбе «Юности», М. В. Фофанова поделилась с нашими читателями некоторыми своими воспоминаниями о Владимире Ильиче Ленине.



влекла из сумки,— отреза́ла лишнее. Одни куски она тут же приметывала, другие — складывала на край стола.

— Эх, жаль, нет машины,— посетовала Тоня.— Уж раз взялись, надо доводить дело до конца.

— Я попрошу у соседей! — Мне тоже хотелось, чтобы платье было готово как можно скорее.

Пока тетя Анна читала нам «лекцию» о том, как надо обращаться со швейной машиной, Тоня косилась на меня, и в глазах ее был смех.

— Не беспокойтесь,— сказала она потом очень серьезно.— Я немножко умею обращаться с машиной

Весь вечер стучала у нас в комнате машина. Стук ее ничуть не мешал мне готовить уроки. Не помешал и уснуть. Он только стал доноситься глуше, словно отдалился.

«Но ведь Тоня устала,—мелькнуло в моем мозгу.— Ясно, устала»,— надо было открыть глаза, сесть и сказать Тоне, что я могу еще день-два походить и в старом. Но голову невозможно было оторвать от подушки. Я подобрала коленки к подбородку.

«Та-ата-та»,— мягко стучала машина.

черты

I

Как-то на днях я слушала по радио песни Марка Лисянского, и мне особенно понравилась одна песня:

Когда поют солдаты,
Спокойно дети спят.

Она напомнила мне рассказ Владимира Ильича о старушке финнке. Это было еще в подполье, в 1917 году, когда он жил у меня на квартире.

Обычно к утреннему завтраку Владимир Ильич выходил с газетами и продолжал читать их после завтрака в столовой, пока я прибирала у него в комнате. Иногда он еще за завтраком сообщал мне что-нибудь интересное, уже вычитанное им в газетах. Особенно он следил за тем, что делается в деревне. Тогда было много сообщений о самочинном захвате помещичьих земель; после Февральской революции урядники попрятались, сбежали из деревень, власти на местах не было, и солдаты, дезертировавшие из армии, стали зачинщиками этих захватов. Временное правительство не могло с ними справиться.

— Ведь солдаты не пойдут против народа,— говорил Владимир Ильич и в подтверждение этого рассказал мне следующий случай.

— Когда я переезжал из Гельсингфорса в Выборг, меня провожали два финна; с нами в вагоне ехала старушка, тоже финка, и что-то с увлечением рассказывала. Мои финны принимали участие в разговоре с ней. Потом один финн воскликнул: «Слушайте, какое мудрое заключение она сделала!..»

Я попросил его рассказать. И вот что услышал. Эта старушка на днях в барском лесу набрала хвороста. И вдруг заметила, что навстречу ей идет человек с ружьем. Она испугалась, заторопилась и кое-как связала хворост. Человек с ружьем, поравнявшись с ней, не только не сделал ей никакой неприятности, но еще помог — добавил хвороста, заново перевязал вязанку и помог нести ее. Старушка и говорит: «Теперь простым людям нечего бояться человека с ружьем, он ничего злого не сделает народу, он теперь наш заступник, а не враг».

Вот видите, как простой народ понимает и решает,— добавил Владимир Ильич.

Утро

Я проснулась оттого, что стук прекратился. В комнате темно. Смутно виднеется на фоне окна силуэт машины. Мама всегда ставила на ночь машину на это же место. Чем-то они похожи — мама и Тоня...

Мама была худенькая, маленькая, Тоня — толстушка. Мама коротко стриглась, а у Тони на затылке пышный узел волос. Мама старше Тони. Внешне они совсем разные. И все-таки похожи.

Что же это такое? Куда девалась моя привычная ненависть к новой «рыжей»? Я, кажется, уже не осуждаю папу за «измену»? Вчера Тоня при мне мимоходом погладила его по волосам. И мне не было это неприятно. Почему? Может быть, потому, что она взялась шить мне платье? А если б «рыжая» взялась? Да нет, я просто не позволила бы ей дотронуться до маминого платья! А Тоне позволила. Почему?

Я лежала, задавала сама себе вопросы и не могла на них ответить.

Папа зажег настольную лампочку, окликнул меня:

— Рута! Не проспи!

Я села и первое, что увидела, было совсем готовое, отутюженное платье, переброшенное через спинку стула возле моего дивана. Вот так клала и мама подарки-сюрпризы.

— Когда же она успела? — изумилась я.

— Только что ушла,— ответил папа.— Всю ночь шила.

Бедная Тоня! Я бы ни за что не смогла не спать целую ночь!

На платье белел листок бумаги. «Рута! — прочла я на нем.— Если что-нибудь не так, позвони. Я исправлю. Тоня».

Я сложила листок и спрятала его в карман.

Скайдрите и тетя Анна охали и ахали, когда я появилась на кухне в новом платье.

— Прелесть какая! И как быстро!

— Тоня — художник-модельер! — довела я до их сведения. Я уже гордилась Тоней, как гордятся кем-то очень близким.

На перемене из учительской позвонила Тоне. Трубку сняла она сама: я сразу узнала ее по голосу.

— Это я, Рута,— сказала я и замолчала.

Молчала и Тоня. Я слышала, как она тихонько вздохнула.

— Тоня, спасибо! — излишне громко закричала я.— Все очень хорошо.

— Ну, я рада,— ответила Тоня, но радости в ее голосе не чувствовалось. Скорее, наоборот.

— Тоня... Ты придешь сегодня? — спросила я и тут же поправилась: — Вы придете?..

— Ничего,— Тоня тихонько рассмеялась.— Мне будет приятней, если ты будешь говорить мне «ты»,— она чуточку помедлила и закончила просто: — Я приду, если ты хочешь.

— Конечно, конечно, хочу!

Третий — лишний

Когда папа поправился, Тоня перестала у нас бывать. И без нее стало скучно, неуютно.

— Почему Тоня не приходит? — спросила я в один из длинных, тоскливых вечеров: за окном тоненько завывал в проводах ветер.

Я сидела на диване с книжкой, но мне не читалось. Папа, склонившись над чертежной доской, то наносил на лист ватмана едва заметные линии, то

На III съезде Советов Владимир Ильич выступал (это было 11 января 1918 года ст. стиля) с докладом о работе Советского правительства с момента его образования, то есть за 2 месяца и 15 дней; это дольше на 5 дней, чем просуществовало правительство французских рабочих — Парижская коммуна 1871 года,— об этом сказал Владимир Ильич. Помню, с какой удивительной уверенностью Владимир Ильич утверждал, что Советская власть непобедима, потому что она опирается на свои Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на народные массы, на их народное творчество. Нечего бить тревогу, что совсем распалась старая армия; это правильно, так и должно быть. Ленин говорил о создании социалистической Красной Армии; эти слова он произносил четко, с ударением на каждом слоге.

Он говорил: «Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай» — и привел случай со старушкой финнкой в вагоне Финляндской железной дороги. Затем он сделал такие выводы, что съезд буквально грохотал от рукоплесканий: «...пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам: «диктаторы», «насильники» и т. п. слова. Мы знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос; они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Вот что народ почувствовал, и вот почему та агитация, которую ведут простые, необразованные люди, когда они рассказывают о том, что красногвардейцы направляют всю мощь против эксплуататоров,— эта агитация непобедима».

Эту историю со старушкой финнкой Владимир Ильич рассказал еще раз, когда выступал с приветственной речью в День красного офицера 24 ноября 1918 года с балкона здания Московского Совета перед курсантами военных курсов.

Передавая слова старушки финнки: «Теперь не надо бояться больше человека с ружьем»,— Владимир Ильич сказал: «Я думаю, что лучше награды для Красной Армии трудно представить».

Всем известно, что эта история, рассказанная Владимиром Ильичем, послужила основой для пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем».

II

За первым утренним завтраком по приезде ко мне Владимира Ильича мы уточнили мои обязанности, связанные с его ежедневными поручениями. В отношении питания установили такой режим: завтрак — не позднее половины 9-го — 9 часов; обед, когда я возвращусь с работы — в половине 5-го — 5 часов вечера. Чай, как сказал Владимир Ильич,— «это

осторожным, коротким движением резинки снимал их.

Мой вопрос застал его врасплох. Папа положил карандаш, резинку и, скрестив руки на груди, долго молча ходил по комнате. Остановился возле меня, собрал, приподнял, будто взвесил, мои косы — он любит так делать, и я знаю, что это от нежности.

— Надо решать... Как-то надо решать...— медленно, задумчиво заговорил он.— Тоня живет в общежитии. У нее одна комната. Как быть?

Он сказал так, будто не он, а я хозяйка комнаты. Той самой комнаты, в которой теперь без Тони стало скучно и неуютно.

— Разве нам будет тесно? — спросила я.

— Не тесно.— Папа подсел ко мне на диван.— Не будет ли тебе от этого плохо?

— А тебе?

— Мне? — Папа рассмеялся.— Мне будет хорошо, если... если будет хорошо вам обеим.

И вот Тоня с нами. Нам всем хорошо. Только... Только я все чаще думаю, не мешаю ли я им.

Первый раз эта мысль пришла мне в голову вечером, когда я вернулась с катка. Подходила к дому, взглянула на наше окно. В нем было темно. Я подумала, что папы и Тони нет дома.

Но они были дома. Сидели на диване, без света, тихонько о чем-то разговаривали.

— А мы сумерничаем,— будто оправдываясь, сказал папа, когда я вошла.— Иди к нам. Так очень уютно.

Я подсела к ним. Папа положил мне руку на плечо. Вторая лежала на плече у Тони. Мы молчали.

Вот тогда я и подумала: «Без меня они не молчали. Я помешала им, перебила. При мне им не о чем говорить».

— А я билеты взяла на концерт,— вспомнила вдруг Тоня.— Ты любишь симфоническую музыку, Рута?

— Конечно, любит. Раньше мы часто ходили...

И папа и Тоня изо всех сил старались, чтоб и мне захотелось посумерничать. Но я думала об одном: вдвоем им было лучше. Потом Тоня спохватилась, что мне надо делать уроки, что я, наверно, проголодалась. Она вскочила, зажгла свет и убежала на кухню. И папа ушел за нею следом, хотя раньше он терпеть не мог бывать на кухне.

Я взялась за уроки. Но, прислушиваясь к их оживленным голосам, думала, что даже там, на кухне, вдвоем им лучше, чем здесь, когда нас трое.

Лишней я себя почувствовала и на концерте. Наверно, я не очень понимаю музыку. Вместо того, чтобы слушать ее, я люблю наблюдать за соседями.

Вот мой сосед справа. Совсем седой старик. Закрыв глаза, чуть-чуть качает он головой в такт музыке. О чем он думает? Почему один? И почему вдруг вот теперь, когда так нежно, едва слышно поют скрипки, он облокотился на ручку кресла, прикрыл глаза рукой? С какими воспоминаниями связано у него это место?

А папа и Тоня? О чем им говорит музыка?

Они сидели, немножко повернувшись друг к другу. То и дело встречались глазами. Иногда папа пожимал Тонин локоть, и она движением ресниц отвечала ему: «Да, да, я помню! Я чувствую то же, что и ты».

В антракте они вспоминали лето и концерт на открытой эстраде.

— Помнишь, как осыпались лепестки с жасмина? — спросил папа.— Мы сидели у самой живой изгороди...

— Да. И ты сорвал мне маленькую, вот такую веточку — всего в два цветка. Как от них пахло!

— А от листьев пахло свежим огурцом...

— И нам страшно захотелось есть...

Они вспоминали свое, навеянное музыкой. Мне она ни о чем не говорила.

совсем не обязательно, а ужин — стакан молока, кусок черного хлеба; мне больше ничего не надо».

Обычно я все же каждый день устраивала вечерний чай и приглашала Владимира Ильича; он редко когда отказывался.

На второй день после обеда Владимир Ильич попросил показать ему остальную часть квартиры, которую он еще не видел. Две комнаты он уже знал: свою комнату и столовую. Пошли в мою комнату.

— У вас в этой комнате балкон? — спросил он и направился к нему, выглянул в балконную дверь и посмотрел в сторону окон столовой.— Водосточная труба у вас проходит возле столовой, ближе ко второму окну. Балконную дверь на зиму закрываете?

— Нет,— отвечаю,— не закрываю.

— Вот не надо закрывать на зиму и второе окно в столовой.

Владимир Ильич вышел на балкон, оглядел забор, который отделял проход от нашего дома до рассадника Российского общества птицеводства, и сказал:

— Сегодня вечером, попозднее, возьмете молоток, пойдете и отобьете две доски от забора, как раз против водосточной трубы — от верхней или нижней доски, как вам будет сподручней.

Я удивилась такому поручению и спрашиваю:

— А зачем вам это?

— В вашей квартире есть единственный недостаток — нет второго хода.

— Но я не понимаю, вы-то не знали всю квартиру, но ведь Надежда Константиновна хорошо знает ее, почему же тогда не ставился вопрос о втором ходе? В нашем доме живут исключительно рабочие, дом специально строился на окраине, как дом дешевых квартир...

— Ну вот и нужен второй ход на всякий случай.

Тут только я сообразила.

— Неужели,— говорю,— вы будете спускаться по водосточной трубе?

— Ну, если надо будет, то и по водосточной трубе спустишься.

Вот как предусмотрел и устранил Владимир Ильич очень важный недостаток в конспиративной квартире.

Как-то после чая я собралась написать детям и решила послать им какую-нибудь интересную открытку. На моем письменном столе лежала пачка художественных открыток; я выбрала из них Ярошенко «Всюду жизнь». Владимир Ильич увидал открытку и говорит:

— Вот замечательный художник, а какой тонкий психолог. Вы ведь знаете, он кадровый офицер (отец его тоже военный), дослужился до генеральского чина.

Я достала из стола еще открытки с репродукциями Ярошенко: «Заключенный», «Кочегар», «У литовского замка» и другие,— у меня была целая серия этих открыток в хорошем издании Т-ва Гра-

Тоня первая заметила мое молчание.

— Пойдемте на той неделе в оперу,— оборвав воспоминания, предложила она.— Рута, ты любишь «Демона»?

— Люблю.

— Какая ария тебе больше всех нравится?

— «Не плачь, дитя, не плачь напрасно...»

Они многозначительно переглянулись и оба опустили глаза. Они не так меня поняли. Они подумали, что я вспомнила маму. А я ни о чем не вспоминала в ту минуту, когда отвечала. Просто я в самом деле очень люблю эту арию. Я любила ее всегда.

Все второе отделение папа сидел очень прямой. Глядел перед собой, на оркестр. И иногда, как тот седой мой сосед справа, прикрывал глаза и покачивал головой. Он думал о маме. Наверно, упрекал себя, что так скоро забыл ее.

Грустная тень лежала на лице Тони.

Не будь меня, они помнили бы только о том вечере, когда начиналась их любовь, когда беззвучно слетали с кустов жасмина белые лепестки.

Разве они виноваты, что мама умерла? Разве это плохо, что папа снова начал напевать во время работы?

«Как же мне быть?»— думала я. И оркестр тоже спрашивал: «Да, как же быть?» — и шумно, горестно вздыхал: «Не знаю, Рута, не знаю...»

Конечно, можно больше не ходить вместе ни на концерты, ни в театр. Но тогда папа, вспоминая, что я одна сижу дома, все равно будет упрекать себя. И Тоня тоже.

С тех пор, как Тоня поселилась у нас, я после уроков опрометью летела домой. Дома, с ними, мне хорошо. Но хорошо ли им со мною? Конечно же, вдвоем им лучше.

А выпускной класс не шутка. Мне надо много заниматься. Почти все вечера я сижу дома за уроками. И они никогда не бывают вдвоем.

Так как же быть?

Еще о призвании

Мы, выпускники, часто обсуждали, куда идти учиться дальше. Мальчишки, те давно решили, кто куда пойдет. А я все никак не могла понять, что мне нравится, кем я хочу стать. Допустим, врачом. Очень благородная профессия. Но от вида крови у меня сжимается сердце. Агрономом? Но я даже на подоконнике ни одного цветочка не вырастила. Химиком? Модная профессия. Но я терпеть не могу, не понимаю я химию.

Не я одна была такой «неопределившейся». И почему-то все мы решили поступать на литературный факультет.

А пока что я пристрастилась шить. Тоня привезла свою машину со странным названием «Тикка». Машина была кремовая, с никелированными деталями. Шила удивительно легко, совсем беззвучно.

С помощью Тони я сшила себе блузку. Она-то и заставила меня задуматься: а правильно ли я делаю, что собираюсь поступать на литературный?

Вот как это получилось.

Пришла из школы. Папа и Тоня на работе. Решила закончить блузку — прометать петли. Понадобился сантиметр.

Швейные принадлежности хранятся у Тони в чемоданчике. Я раскрыла его. Сверху лежала голубая пушистая фланель. Развернула ее и ахнула: Тоня шила малюсенькие вещи — чепчики, рубашечки...

Я бережно сложила шитье, убрала чемоданчик. Села на диван и как-то совсем по-другому, чем раньше, оглядела нашу комнату.

Кровать, мой диван, шкаф, стол, этажерка, Тонина машина... А куда поставить кроватку? Папа как-то сказал, что подал заявление на квартиру.

нат. Они были выпущены перед войной и, как видно, печатались в Берлине. Владимир Ильич долго рассматривал эти открытки и все восклицал:

— Прекрасно! Прекрасно! Когда будем хозяйничать, надо не забывать. Такому человеку надо отдать дань.

В тот же вечер был еще один интересный разговор. В столовой над стеллажом с книгами висела большая фотография Веры Федоровны Комиссаржевской. Владимир Ильич спрашивает:

— Почему у вас висит портрет Комиссаржевской?

— Во-первых, она была любимой моей актрисой, во-вторых, мне пришлось с ней познакомиться в годы реакции (конец 1907 и 1908 гг.), у меня к ней были поручения по сбору денег для товарищей, она никогда не отказывалась. Это был безусловно протестующий, интересный человек.

— Да, я знаю, что Вера Федоровна помогала в сборах для партии. Таких людей нельзя забывать, вы правильно ее оценили. Возьмем власть, отдадим им должное.

Я показала Владимиру Ильичу журнал «Солнце России», номер которого весь был посвящен Комиссаржевской. Владимир Ильич сказал, что он его уже просматривал.

Помню, что в Москве еще раз был разговор о Комиссаржевской — это было в 1918 году. И Владимир Ильич показывал мне проект постановления, где говорилось о постановке памятников замечательным людям, в том числе и Вере Федоровне Комиссаржевской. К сожалению, до сих пор это постановление так и не выполнено.

III

Через несколько дней после приезда ко мне Владимир Ильич спросил, топила ли я уже печи. У меня было печное отопление.

— Да, уже раз прооовала. А вас почему это интересует?

— В своей комнате буду сам топить печь.

— Хорошо, пожалуйста, только дрова к вам в комнату буду носить я сама.

— Почему это?

— Дрова лежат в тамбуре входной двери, дверь на лестницу откроется, и вас могут заметить с лестницы. Это не годится.

— Согласен. Покажите, как вы топите печь.

Я подробно рассказала и показала, где находится вьюшка у печки — она высоко в трубе, чтоб открыть ее, надо встать на лесенку, а лесенка всегда стоит в коридоре, около шкафа.

Владимир Ильич спросил:

— А в вашей комнате такая же печь, как у меня, и вьюшка так же высоко?

— Да, так же высоко.

— Так вот условились: вьюшку и в вашей комнате буду открывать я.

— Дадут, но не так скоро. Скоро не обещали,— вздохнул он тогда.

— Ну, ничего...— Тоня тоже вздохнула.

Вот почему они вздыхали! Теперь я припоминала подробности разговора о новой квартире.

— Не успевают строить,— говорил папа, словно оправдывался.— Кадров, наверно, строительных не хватает.

Много строек у нас в Риге. И на каждом ограждающем стройку заборе, припомнила я, висит выцветшая доска с размытыми огромными, взывающими словами: «Требуются!»

Так для чего же мне становиться литератором? Ведь даже тетя Анна как-то сказала нам со Скайдрите:

— Дался вам этот литературный! Окончите и насидитесь, чего доброго, без работы.

Вот ведь оно как оказывается: литераторов хватает, а строители требуются. Так и стояла у меня перед глазами доска с этим словом.

А что самое важное для такой, как я, «неопределившейся»? Чтоб профессия была нужна. Строить будут всегда. Это точно. Так почему бы мне не стать строителем?

Когда пришли с работы папа и Тоня, я так и сказала:

— Пойду в строительный.

За два часа я все обдумала и решила твердо: так и только так.

— Глупости,— отмахнулся папа.— Не женское дело.

А Тоня как-то странно на меня посмотрела, когда я горячо подкрепила свои доводы:

— Что может быть благороднее — построить людям квартиру? Живет семья в одной комнате. Малышу кроватку даже негде поставить. Мы построим дом, и людям дадут целую квартиру. Чем плохо?

Наверно, она догадалась, почему я так говорю.

Со следующего дня до выпускного бала в школе меня называли не иначе, как «наш строитель». Я гордилась этим.

Тройка по математике на вступительных экзаменах решила все: на строительный факультет я не попала по конкурсу. Скайдрите же поступила на литературный. Могла бы поступить и я. Сидела бы сейчас на лекции, а не брела неведомо куда. Задумалась до того, что прошла мимо магазинов, даже не заглянула ни в один.

А, не все ли равно! Я шла и шла вперед. Вот памятник Ленину. Колонна за колонной подходят к нему школы. Ребята кладут цветы — так у нас принято первого сентября. Давно покрыт цветами гранитный постамент. А колоннам конца не видно. Идут с развернутыми знаменами, под барабанный бой. Белые ленты в косах у девочек, белые, нарядные передники. У мальчишек только один раз в году бывают такие ослепительные воротнички. В торжественной тишине кладут цветы и проходят дальше, освобождая место следующим. Море цветов, море ребячьих лиц. Сосредоточенных у самого памятника, веселых и беззаботных, когда смешались ряды.

Нет, не могу, не могу я смотреть на это! Трудно и горько мне быть здесь праздной зевакой.

Сажусь в троллейбус, еду обратно, к дому. В конце концов там такие же магазины. Очень нужно таскаться по городу с набитой сумкой!

Еду и думаю, что же делать дальше. Задумавшись, проезжаю свою остановку. Выхожу возле самых ворот какой-то стройки.

Грузовик с кирпичами въезжает в ворота. Иду за ним. В конце концов, если я все-таки строитель по призванию, должна я как следует разглядеть хоть одну стройку?

Началась регулярная топка печей, и, конечно, я не стала беспокоить Владимира Ильича с вьюшкой, а открывала ее сама. Как-то собралась топить печь, все подготовила, надо только открыть вьюшку, а лестницы на месте не оказалось. Ищу, нигде нет. Очевидно, она осталась в комнате Владимира Ильича. Стучу в дверь. Отворяет, а сам громко хохочет:

— Что? Пришлось все-таки постучать? А почему не выполняете соглашения? Теперь я вам не верю, отныне лестница будет стоять у меня в комнате.

Пришлось подчиниться, ничего не поделаешь.

Помню, когда мы с Надеждой Константиновной выбирали комнату для Владимира Ильича, Надежда Константиновна предупредила:

— Владимир Ильич не любит мягкой мебели, не любит ковров и безделушек в комнате. Любит чистоту и тишину в квартире.

В своей комнате Владимир Ильич сам поддерживал чистоту — оправлял постель, держал в порядке умывальник,— все делал сам. На мою долю в уборке комнаты оставалось: заправить керосиновую лампу, сменить кипяченую воду в кувшине, стряхнуть салфетку на комоде, вытрясти маленький коврик у кровати, стереть пыль с подоконников и протереть сырой тряпкой крашеный пол. На всю уборку комнаты Владимира Ильича у меня уходило максимально десять минут. На письменном столе у Владимира Ильича был свой порядок — в книгах и газетах.

Многим мужчинам надо бы поучиться самодисциплине и аккуратности Ильича в быту!

IV

Осенью в 1915 году стала ходить к нам во двор старая, но довольно статная женщина, очень смуглая, с большими грустными глазами, с проседью в черных волосах. Одета она была бедновато, но опрятно — на голове повязанный, как чалма, белый платок, широкая черная длинная юбка, передник с большим карманом на левой стороне, на плечах шаль, завязанная сзади на талии. Приходила она всегда к вечеру под балконы нашего дома и пела итальянские песни. Этим способом она зарабатывала себе на пропитание. Мелодии ее песен были очень грустные, хватающие за душу, как говорили наши женщины во дворе; они очень любили ее слушать. Об этой итальянке было известно, что господа, у которых она работала, уехали на родину, а ее здесь оставили, что живет она в семье вдовы, фабричной работницы, смотрит за ее ребятами, когда та уходит на работу, и за это имеет угол в ее квартире. Она ходила к нам все лето и осень 1916 года, продолжала ходить и в 1917 году.

Когда в моей квартире уже жил Владимир Ильич, как-то, прибирая столовую, я оставила настежь открытым окно. Пение на итальян-

Да будет так!

Стройки часто показывают в кино перед началом фильма. Движутся ажурные стрелы кранов. Жадно грызут землю козши экскаваторов. Оседают под грузом кузова самосвалов. Мужественные лица строителей красиво улыбаются во весь экран.

А тут, за забором, полнейший хаос. Валяются обломки досок, куски кирпичей. Перекрученная, перепутанная ржавая проволока хватает за ноги. Крупный колючий песок набивается в босоножки.

По фасаду дома — выгоревший транспарант со словами: «Здесь строит комплексная комсомольско-молодежная бригада, соревнующаяся за звание коллектива коммунистического труда».

Девчата в неуклюжих брезентовых комбинезонах тащат из недостроенного дома носилки с мусором. Вывалили, подняли столб ядовитой меловой пыли. Идут обратно.

Я иду за ними. Вместо лестницы круто положены доски с набитыми поперек планками. Доски качаются, перил нет, и я жмусь к шершавой, неоштукатуренной стенке. Вот и последний этаж. По обе стороны лестничной площадки — длинные коридоры.

Настежь открыты окна и двери комнат. Веселый, насквозь просвеченный солнцем сквозняк развевает мою юбку. Этот же сквозняк доносит гулкие удары и свист. Кто-то работает в дальней комнате и насвистывает в такт ударам. Потом низкий, глуховатый мужской голос поет негромко:

Если ты назвался смелым,
Чтоб войти в семью мою,
Должен ты отважным делом
Смелость доказать свою...

Иду на голос, заглядываю в комнаты. В последней, опустившись на колено, стоит парень. Легко, будто играючи, заколачивает молотком гвозди в чистенькие, желтые, недавно простуганные половицы. Комбинезон с лямками по плечам, выцветшая, не застегнутая на груди ковбойка. Рукава засучены выше локтей. Вместо кепки носовой платок с четырьмя узелками по углам.

Он то свистит, то мурлычет себе под нос, лихо колотит молотком и ничуть не боится попасть по пальцам. Потянулся за доской и увидел меня. Выпрямился, мгновение смотрел мне в глаза и вдруг улыбнулся. В самой глубине глаз будто зажглись крохотные лампочки и осветили все лицо — широкое, лобастое, блестящее от пота, загорелое. Чуточку дрогнули губы, блеснул косо поставленный остренький зуб, а глаза прижмурились.

— Интересно, да? — спросил он с насмешкой.

Молчу, тихонько пячусь к выходу.

— Работу ищешь, что ли? — спрашивает без насмешки, серьезно.

— Да-а,— тяну я.— Вроде того...

— В институт, что ли, не попала? — угадал парень.

— По конкурсу не прошла,— бормочу я, удивляясь, как он угадал.

— Да, нынче без стажа худо. Куда держала-то?

— В строительный.

Он присвистнул:

— Вот оно что! Девушки больше уважают литературный. Или медицинский. Наше дело грязное, видишь? — И он отряхнул комбинезон, к которому пристали опилки.— А, в общем, знаешь, неплохое дело.

Чем-то парень очень располагает к себе. Я охотно соглашаюсь:

— Да, неплохое дело.

Парень стянул с головы платок, вытер им потное лицо. Волосы под платком наполовину седые,

---

ском языке привлекло внимание Ленина. Он пришел ко мне в комнату и спросил, кто это поет. Я рассказала ему все, что слыхала об этой несчастной женщине, а сама взяла монету, завернула ее в бумажку и вышла на балкон, чтоб спустить ей деньги (на балконе была привязана длинная веревочка с камушком в тряпичном мешочке, куда всегда я опускала монету); она вынула деньги, и я подтянула веревочку на балкон.

Владимир Ильич наблюдал все это и, обратившись ко мне, спросил:

— Зачем вы это делаете, ведь ее не спасут ваши гроши?

— Не спасут, но в какой-то мере облегчат ее голодное существование. Я верю этой женщине, она действительно попала в беду — ведь угол-то себе она зарабатывает.

Владимир Ильич в раздумье ходил по комнате, потом остановился и сказал:

— Да, в сущности, ничего большего для таких людей отдельный человек и сделать не может: по-настоящему государство должно заботиться о них. Вот когда будет рабочее социалистическое государство, то оно и обеспечит помощь нуждающимся. А всех лодырей в принудительном порядке заставит работать.

Не проходило дня, чтобы Владимир Ильич не вспоминал итальянку. Он сказал мне, что она действительно поет народные итальянские песенки, что Италия—такая страна, где много чудесных голосов.

Погода стала меняться, шел холодный дождь, сидим в столовой, обедаем и вдруг слышим голос итальянки. Неужели поет? Я выскочила на балкон. Действительно, поет, а сама в той же одежде, в которой ходила и в хорошую погоду. Тут я вспомнила, что у меня есть теплая драповая накидка с капюшоном и я могу без нее обойтись. Я быстро достала ее из сундука и выбежала. Набросила на нее накидку, стала надевать ей на голову капюшон, она наклонилась, поцеловала меня. Тут я увидела ее глубокие, большущие, красивые глаза, полные слез. Мне показалось, что она была больна.

Закончили мы обед молча: обоим было не по себе.

Уже после революции Владимир Ильич как-то меня спросил, не знаю ли я, что с итальянкой. Пришлось ему сообщить, что она умерла вскоре после революции, что женщины из нашего дома, собирая средства на похороны, приходили ко мне на квартиру, но меня не было. Похоронили ее без попа: «Она ведь не русская».

V

Всю мою библиотечку Владимир Ильич пересмотрел, и часть книг, особенно по экономике сельского хозяйства, даже перекочевала на его письменный стол.

особенно на висках. Лицо куда моложе, чем у папы, а столько седых волос!

Пока я смотрела на него и размышляла, сколько же ему лет, парень успел задать мне кучу вопросов, выяснить все, вплоть до Тони.

— Понятное дело,— сочувственно сказал он.— Мачеха — зло в доме. Лучше без них!

Я опомнилась и стала доказывать, что Тоня хорошая, что дело вовсе не в ней, а в том, что негде поставить детскую кроватку.

— Постой, при чем тут кроватка? — перебил он. И тотчас все понял сам: — Ага, понятно...

Я еще раз, уже более подробно рассказала ему все о себе, о папе, о Тоне. Все-таки мне было очень одиноко и очень нужно, чтоб кто-то выслушал и понял меня.

— Папа говорит: отдыхай после экзаменов. А я не могу...

Седой понимающе кивнул, и лицо его осветилось мимолетной улыбкой.

— Вывод такой,— после минутного молчания промолвил он,— надо тебе работу. Так?

— Так.

— И общежитие надо.

Господи, да как же мне самой не пришел в голову такой простой выход?! Мне — в общежитие, а на место дивана — детскую кроватку. Я даже представила себе, как она встанет — беленькая, с никелированными спинками, с шелковой, туго натянутой сеткой.

«Кто же и за какие-такие заслуги даст мне место в общежитии?» — тут же подумала я, и умилительное видение исчезло.

— Пошли,— вдруг сказал седой.— Сейчас все устроим.

— Что устроим? — не поняла я.

— Все. Работу. Общежитие. У нас, здесь.

Мне представились девчата в комбинезонах, таскающие на носилках мусор. Для того я учила математику, физику, химию?

— Сдрейфила? — язвительно усмехнулся седой.— В контору бы куда-нибудь, где почище, а? Строитель, эх! — И столько было презрения в этом «эх», что мне не оставалось ничего другого, как гордо тряхнуть косами и ответить в тон ему:

— А вот и не сдрейфила! Пошли!

— Ну, смотри! — хитро глянули на меня глаза-щелочки.

— Подумаешь! — храбрилась я.

И вот мы спускаемся вниз.

— Где Петя? — крикнул мой спутник на лестничной площадке. Голос его гулко разнесся по недостроенному зданию.— Пе-е-тька!

— В конторку пошел! — тоненько откликнулся девичий голос.

Идем дальше. Очень трудно спускаться на каблуках по этим проклятым шатким мосткам. Колени сами собой подгибаются, руки тщетно ищут опоры. На последнем марше я зацепилась за рейку, и влететь бы мне носом в ящик с жидкой глиной, если бы мой провожатый не подхватил меня сзади. Крепко, надежно подхватил. Я еще и сейчас чувствую на руке, повыше локтя, теплую, гладкую, будто отполированную его ладонь.

Пропуская нас, возле входа остановились давешние девчата с носилками. Передняя — глаза у нее серые, холодные — недобро глянула на меня, словно я успела уже чем-то не угодить ей.

— Привет, Расма! — на ходу бросил седой.

Мы вышли во двор.

— Видишь конторку? — показал он мне наспех сколоченный из досок-горбылей сарайчик с косо висящей на одной петле дверью.— Иди туда. Спросишь Грачева. Скажешь — насчет работы.

Как, одной идти к какому-то Грачеву? Опять все рассказывать?

Как видно, вопросы сельского хозяйства его очень занимали. Както раз, вынимая книгу, он нечаянно обронил с полки мою общую тетрадь, из которой посыпались на пол разноцветные флажки, мелкие брошюры, рукопись, напечатанная на пишущей машинке... Он все собрал и начал расспрашивать:

— Зачем эти флажки? Почему моя брошюра «Политические партии в России и задачи пролетариата» у вас переписана на пишущей машинке? Ведь она же издана и тоже имеется у вас.

Объясняю, что брошюра вышла только в июле, а экземпляр на машинке я получила от одной сотрудницы из редакции «Правды» еще в мае. И мы в Выборгском районе пользовались книгой в нашей пропагандистской работе еще до ее выхода.

— Флажки нужны для работы с этой же брошюрой. Последний, 25-й вопрос у вас: «Какого цвета знамя соответствовало бы природе и характеру различных политических партий?» Когда в клубе для подростков я проводила беседы с нашими молодыми рабочими, то рисовала флажки цветными мелками. Мел рассыпался, рисунки стирались с доски... И вот мои слушатели сделали «постоянные» флажки из материи; по нескольку штук каждого цвета, чтоб и в клубе были и у меня — для внеклубной работы.

Владимиру Ильичу это, видимо, понравилось; он сказал, что в лекциях, беседах всегда имеет большое значение применение диаграмм и других практических пособий.

Я ему рассказала и о том, что, кроме флажков, ребята очень остроумно сделали в рисунках ответы и на первый вопрос в его книжке: «Каковы главные группы политических партий в России?»

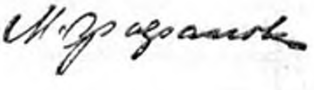
У Ленина в брошюре написано: «А, (правее к.-д.). Партии и группы правее кадетов». На рисунке ребята изобразили известного реакционера Пуришкевича.

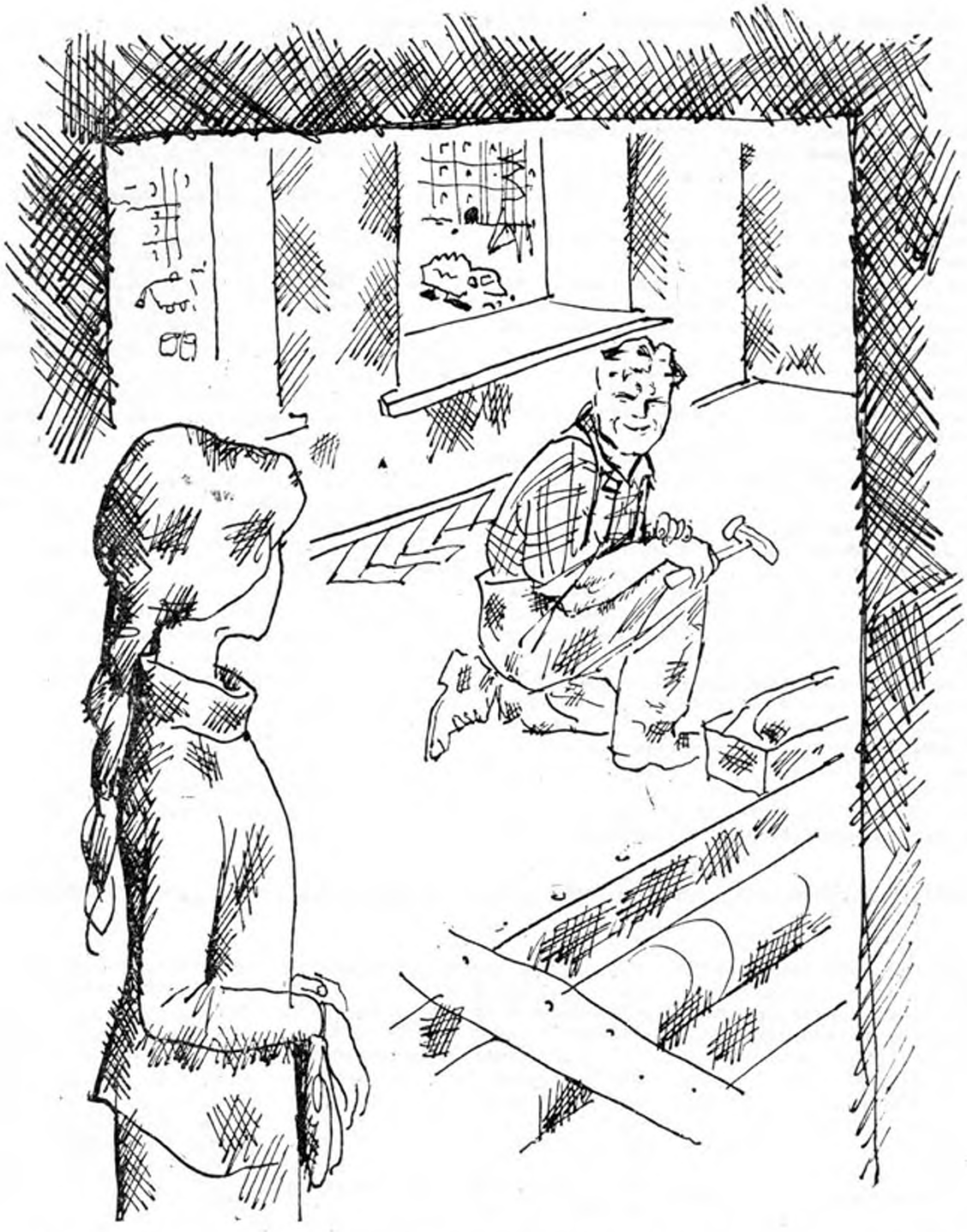
Затем в брошюре назывались кадеты. Ребята нарисовали Милюкова. Далее шли эсдеки и эсеры. На рисунке был изображен «интеллигент» под руку с мужичком. И, наконец, большевиков олицетворял рабочий с винтовкой.

Рисунки делали цветными карандашами и красками. Причем мои слушатели соревновались между собой: каждый день появлялись новые рисунки новых авторов, но существо темы не менялось — менялась форма изображения и краски.

Владимир Ильич от души хохотал над изобретательностью ребят и все повторял:

— Вот что значит пролетарское чутье!





— Иди, иди, не маленькая.— Седой подтолкнул меня.

«Нарочно оставил одну,— думаю я,— чтобы дать возможность удрать без лишнего позора. Конторка стоит у самых ворот. Несколько шагов — и я на улице. Смешаюсь с прохожими. Никто не узнает, что я струсила. А седой... Да кто он такой, чтобы из-за него?..»

Спотыкаюсь на обломках досок, отшвыриваю ногой ржавую проволоку, оступаюсь на кусках щебня. Мелкие камешки лезут в босоножки, под самые пальцы. Я иду. К конторке или к воротам?

Наверно, я все-таки убежала бы, если бы из раскрытых окон дома не донесся полный язвительного смысла свист. По мотиву я сразу вспомнила слова: «Если ты назвался смелым...»

Вот назло тебе пойду в конторку! Докажу, что не боюсь!

От рывка пронзительно завыла дверь конторки. Спиной ко мне стоял парень, тоже в комбинезоне. Топорщились над ушами узелки носового платка. Разговаривал по телефону. Впрочем, вряд ли ЭТО можно назвать разговором. Он орал:

— Последний раз спрашиваю: будет экскаватор или нет? — Он завершил фразу длинным, замысловатым выражением, от которого у меня загорелись кончики ушей.— На кой...— еще одно словечко такого же типа.— Я говорю, на кой... мне нужен твой

бульдозер?! — Послушал, помолчал, подул в трубку, выкрикнул:— Иди ты... Жаловаться буду, так и знай!— и швырнул трубку.

Ринулся к дверям, едва не сшиб меня с ног. Небесно-голубые глаза под выгоревшими добела бровями и ресницами смотрели так, будто это я не даю ему экскаватор.

— Ну? Чего тебе? — зло спросил он.

Я молчала. Не могла выговорить ни слова под полным ярости взглядом. Тогда он повторил вопрос по-латышски.

— Вы Грачев?.. Меня... Меня к вам послал...

— Ну, кто послал? Зачем? Ох, и мямля же!

— Не знаю... Оттуда...— Я показала на недостроенный дом, угол которого виднелся в окошко.— Такой... пожилой...

— Пожилой? — Грачев недоумевающе пожал плечами.— Нету у меня пожилых.

— Ну... седой такой...

— Ах, седой! Седой имеется. Ну, так зачем он тебя послал?

Собираюсь с духом, чтоб как можно короче изложить суть дела. Но тут дверь опять завыла, и вошел тот, седой. И все объяснил Грачеву.

— Ты с ума сошел, Славка! — изумился бригадир, и все во мне возликовало: не возьмет! — Эту... эту пигалицу — к нам? — И он посмотрел на меня оценивающим взглядом.

Пигалица! Только этого еще недоставало! Меня называют и хрупкой, и изящной, и даже субтильной — есть такое дурацкое слово. Но «пигалица»?! Это уж слишком!

— Ишь ты,— продолжал бригадир.— На каблучках. С маникюрчиком.

Спрятала руки в карманы: на ногтях в самом деле лак.

— Бантики...— Грачев разбирал меня так, словно я глухая или меня вообще тут нет.

Этого я просто не могла вынести.

— Ну и что? Все это еще ничего не доказывает. Зато... зато...—я мучительно старалась припомнить доказательства моей физической полноценности,— зато я бросила гранату на тридцать метров!

Такой случай был. По совести говоря, и сама не знаю, как это меня угораздило. Но было это? Было!

И бригадир и Славка при упоминании гранаты дружно расхохотались.

А я запальчиво твердила:

— Да, бросила, бросила! И ничего нет смешного!

— Смотри ты! — одобрительно сказал бригадир, с любопытством разглядывая меня как-то совсем заново.— Вот и возьми такую в бригаду — она враз тут кирпичами всех поубивает. Шутка ли, на тридцать-то метров!

Вот его бы я действительно с удовольствием стукнула кирпичом!

— Тут такое дело...— Славка потянул с головы платок.— Дело, понимаешь, такое...

Ох, как мне не хотелось, чтобы он рассказывал мою историю! Разве Грачев в состоянии понять, что привело меня на стройку? Теперь я убеждена, что пришла сюда с твердым намерением устроиться на работу.

Но Славка не стал рассказывать. Он твердо произнес:

— Надо, понимаешь? — и так посмотрел на Грачева, что тот сразу убедился: действительно надо.

Через полчаса с запиской Грачев, в которой коряво было выведено: «Оформите ко мне. С общежитием»,— я уже стояла в коридоре возле двери с табличкой: «Отдел кадров».

Напротив двери — доска почета. На одной из фотографий — бригадир. Надул губы, сверлит меня взглядом, будто говорит: «Пигалица!»

Рядом — портрет седого. Под ним подпись: «Лучший мастер участка Чеслав Баранаускас». Наверное, литовец.

Я толкнула дверь отдела кадров.

Фундамент

Первый мой рабочий день! Всегда я тебя буду помнить!

В общежитие после бурной и грустной сцены дома я перебралась в тот же вечер. Моя кровать, четвертая по счету, стоит в самом неудобном месте — у двери.

Моей соседкой оказалась та девушка, которую Славка давеча назвал Расмой. Она и теперь, когда я переступила порог комнаты, встретила меня недобрым взглядом и сразу же отвернулась.

Вторая девушка, рыженькая, кудрявая, маленькая и плотная, как молоденький грибок, при виде меня быстро глянула на Расму и с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Потом я узнала, что ее зовут Юзей.

Старостой комнаты оказалась третья — Ганнуля Мацкевич, судя по выговору белоруска. Ее нельзя назвать высокой. Она большая. Именно большая. Широкая в кости, с большим носом, большими руками.

Ганнуля долго, медленно шевеля губами, читала мое направление в общежитие. Потом суховато, странным тонким голосом произнесла:

— Твоя койка. Твоя тумбочка. Платья — сюда, открыла стенной шкаф.— Чемодан сюда,— открыла второй стенной шкаф.

И больше ни слова. Отошла, села к столу, взялась за вышивку.

Словом, нельзя сказать, чтоб меня сразу приняли в свою семью. И тут надо доказать, что я этого стою.

Папа и Тоня, доставившие меня на такси, только переглянулись. А у меня комок стоял в горле, и больше всего на свете я боялась разреветься.

— Ладно, идите,— сказала я задушенным голосом и первая пошла в коридор, спустилась с папой и Тоней до вестибюля.

«Только не плакать! Только не плакать!» — твердила я на обратном пути.

Настороженным молчанием встретили меня соседки по комнате. А мне так нужно хотя бы одно простое, теплое слово!

Начала разбирать вещи. В дверь постучали какие-то девчата, таинственно подмигнули «моим». Ганнуля степенно вышла первая. За ней — Расма и Юзя. Начали шептаться в коридоре, у двери. Обо мне, конечно. Кто-то заливисто захохотал, наверно, Юзя.

— Маменькина дочка! — слышу я нарочно громко сказанные слова. Наверно, Расма.

Кто-то шикнул на нее. И все они куда-то ушли. Я одна в беленькой, чистенькой, украшенной наивными вышивками комнате. В чужой комнате! Ничего не поделаешь, надо привыкать.

Долго стою у окна, смотрю, как догорает сначала огненный, потом ярко-желтый, бледно-желтый закат. Четкие силуэты домов, деревьев, фабричных труб

рисуются на его фоне. Все чужое, незнакомое. Где-то недалеко, невидимый, прошел поезд. Эхо дважды чисто и звонко повторило гудок паровоза.

Спать не хотелось. Но я легла. Кто-то, наверно, на каблуках, проехал по коридору. Донесся обрывок песни. Смех. Снова простучали каблуки. Чужая жизнь. Никому нет дела, что я лежу одна и полными слез глазами смотрю, как постепенно темнеет прямоугольник окна. Одна. Совсем одна. И теперь уже ничего изменить нельзя. Куда же Тоня поставит кроватку?

Я и сама не заметила, как уснула.

Разбудили меня шумные сборы соседок. Они громко переговаривались, хлопали дверью, смеялись. Мне не хотелось вставать. Собиралась медленно, вяло.

— Опоздаешь,— мимоходом бросила Ганнуля.— Бригадир этого не любит.

Девчата вскипятили чай.

— Садись, пей,— пригласила Ганнуля.

— Спасибо. Не хочется.

— Вот беда-то: какао не догадались сварить,— съязвила Расма.

Ну и пусть. Чем хуже, тем лучше.

Вышли вместе. Девчата шли молча. Ни о чем меня не спрашивали. Если б спросили, с какой охотой я бы все-все им рассказала! Но они молчали. Я им чужая. Я даже внешне резко отличалась от них, одетых в одинаковые комбинезоны. А мне пришлось надеть малиновый лыжный костюм, украшенный шерстяной вышивкой: ничего другого у меня не нашлось. Наверно, это смешно: лыжный костюм — и босоножки.

...Вверх по шатким мосткам с пустыми носилками. Вниз—с тяжело нагруженными мусором. Сваливаются огромные брезентовые рукавицы, соскальзывают пятки с колодочек босоножек. Если я иду вниз первой, то тяжелые носилки подталкивают в спину. (Иди быстрей, неповоротливая!) Если впереди Ганнуля, то носилки так и волокут меня вниз. Едва успеваю переставлять ноги.

В доме сегодня только мы, девчата. Парни заняты на соседней площадке. Там роет траншею экскаватор.

Нескончаемо тянется время. Вверх — вниз по проклятым мосткам. Растет гора мусора. А солнце выше, выше. Жарко. Давно сбросила куртку. Толстые, насквозь пропотевшие штанины закручиваются на ногах. Блузка липнет к спине. Хочется пить. Вода, в прикрытом фанеркой ведре, противная, теплая. Все равно я пью ее, и зубы от усталости стучат о края эмалированной кружки.

Чувствую чей-то взгляд. Оборачиваюсь. У траншеи, с лопатой в руках, стоит Славка. Смотрит на меня испытующе и сочувственно.

Очень мне нужно твое сочувствие! С усилием расправляю плечи. К носилкам иду с независимым видом. Снова с пустыми носилками — вверх, с полными — вниз.

Наконец-то обеденный перерыв. Бригада сидит в тени, на досках. Шуршат бумагой с завтраками, смеются.

У меня завтрака нет. Тоня приготовила мне его, уложила в прозрачный мешочек. Но я забыла его в тумбочке. И деньги тоже. В животе бурчит от голода. Надо терпеть, ничего не поделаешь.

Пошла к воротам. Села на скамеечку. Там, на досках, шумели, хохотали, взвизгивали девчата. Им хорошо. Они не устали. Они все вместе. У них есть хлеб, помидоры, огурцы. При воспоминании о еде рот мой наполнился слюной, глаза — слезами, а душа — горечью.

«Только не плакать! Только не плакать!» — твержу я, растирая натруженные, грязные руки.

— Ну, что убежала? — спросил полный дружелюбия голос.

Славка. Стоит и улыбается.

Как сделать, чтоб не дрожали губы?

— Если ты назвался смелым...— с беззлобной иронией пропел Славка. Сел рядом. Взял и стал рассматривать мою красную ладонь.— Натерла маленько. Ничего, потрудится хорошенько и будет, как моя! — Он хлопнул своей твердой ладонью по моей, ноющей, потянул меня за руку:— Пошли!

Я отрицательно затрясла головой.

— Поесть не взяла? — понимающе улыбнулся Славка.— Не беда. Пошли!

Есть хотелось нестерпимо, но все-таки я гордо замотала головой.

— Дурочка,— сказал Славка очень ласково.— При нашей работе разве можно не евши?—Взял меня за обе руки, потянул вверх.— Ах, ты сопротивляться? Ишь какая бойкая! Ну, пойдешь ногами или донести?

Глаза-щелочки смеялись возле самых моих глаз. Этот донесет. Запросто. Вон какие у него железные руки!

Шмыгая носом, я пошла.

А у них на досках расстелены газеты. Горкой лежат помидоры, огурцы, яблоки. Бутерброды свалены в кучу. По кругу ходят две кружки с молоком. Настоящая коммуна!

Славка дал мне бутерброд, налитый соком огромный помидор. Расма протянула ему кружку.

— На, попои. Как в детском садике,— смотрела на меня, смеялась. А глаза холодные. В глазах не было улыбки.

Ганнуля толкнула ее локтем в бок.

— А что? — невинно спросила Расма.— Надо же проявить заботу о людях! Славка у нас один за всех.

Славка будто и не слышал ее слов.

— Ешь,— сказал он мне. Передал кружку.— Пей.

Откусила кусочек хлеба, запила молоком. На душе стало легче.

Но вот все съедено. Обеденный перерыв еще не кончился. Все улеглись здесь же, на досках. Легла и я. Смолистый аромат от досок кружил голову. Смотрела в небо. Редкие белоснежные облачка неподвижно висели где-то высоко-высоко.

— После обеда,— сказал Петя Грачев,— половина девчат на фундамéнт! — Он неправильно сделал ударение, но я не осмелилась его поправить. Да и лень. Пусть будет фундамéнт, какая разница?

— Кого послать? — спросила Ганнуля.

Петя медленно перечислил имена.

— И новенькую,— завершил он.— Пусть с камнями понянькается.

Можно представить, что это такое, раз все смеются! А Петя толкнул меня, спросил:

— Тебя как звать-то, новенькая?

— Рута.

— Хочешь, Рута, с камнями понянькаться? — засмеялся бригадир.

Мне все равно — камни так камни, мусор так мусор. Только бы не сейчас, а немножко погодя.

Все-таки они чуточку движутся, облачка. Прижмуришь ресницы, и они плывут, плывут... Исчезают куда-то. Наверно, это я дремлю...

— Подъ-ем! — нараспев, громко скомандовал Петя.

Вздрогнула, приподнялась.

...Глубокая, свежевырытая траншея, по краям обшитая досками — опалубкой. На дне траншеи скап-

ливается вода. Чавкают, выхлебывая ее, насосы. Парни в резиновых сапогах — на дне траншеи. С вибраторами в руках. Самосвал за самосвалом подъезжают, поднимают кузова и валят в траншею похожий на серую грязь бетон. А мы, девчата,— только успевай, поворачивайся — бросаем камни в бадью. Сотни, тысячи камней. Не очень больших. Круглых, обкатанных. Острых, наколотых, наверно, из огромных валунов. Не успеешь наполнить бадью — кран подхватит ее, вывалит камни в траншею, на слой бетона. Только выпрямишься — кран уже волочет пустую бадью: кидайте снова, девчата. И так без конца. Таскать мусор — детская забава по сравнению с этим.

...Ползет бетонная каша... Мусор, мусор, мусор мельтешит перед глазами. Его сменяют камни — серые, красноватые, острые, круглые. Ломит спину — не повернуться. Ноют руки и ноги. Горят ладони.

— Не галдите! — шепотом унимает девчат Ганнуля.— Девка чуть живая пришла. Пускай спит.

— Подумаешь, заработалась! — с вызовом, громко отвечает Расма.

— А ты забыла, какая ты в первый день пришла? — спрашивает Ганнуля.— Ничего. Привыкнет.

Милая Ганнуля! И Петя тоже милый! Когда кончился этот адский труд под палящим солнцем — сентябрь, а как жарко! — Петя дружески подмигнул мне небесно-голубым глазом, сказал весело:

— Ну вот, Рута, это и есть буто-бетонный фундамéнт.

Неважно, что неправильное ударение. Важно, что это и мой фундамéнт!..

Молодой специалист

Целый месяц изо дня в день я делаю одно и то же: беру из кучи камень и бросаю его в бадью. Вот и все, чему я научилась. Не болит больше по утрам, как побитое, все тело. Даже Расма перестала называть меня маменькиной дочкой. За месяц мы сделали два фундамéнта (я тоже произношу это слово с неправильным ударением). На очереди — еще три. Ну, сделаем. Что дальше? Для меня лично что?

Таскать на носилках мусор, подносить раствор, доски, гвозди — все, что надо тем, кто имеет специальность? Я разнорабочая. Это для пущей важности так говорят. А правильней — чернорабочая. Самая низшая ступень на пути к моему призванию.

Раньше я направо и налево бросалась этим словом. Теперь Скайдрите нет-нет да и спросит с невинным видом:

— Ну, что же твое призвание?

Ей хорошо, она студентка. Ее учат. Меня никто ничему не учит. Только покрикивают:

— Быстрей, Рута!

— Шевелись, Рута!

А стоит мне запнуться или бросить камень мимо бадьи, тотчас Расма с издевкой комментирует этот факт. Да и другие то и дело говорят обо мне то ли с сочувствием, то ли с жалостью:

— Да непривычная же она!

Я из кожи вон готова вылезть, чтоб доказать: нет, я привычная. Всем доказать, особенно Славке Баранаускасу.

Сто раз я приходила в отчаяние, думала: «Уйду, поищу что-нибудь полегче». И всегда бывало так: я еще и мысль эту не додумала, а Славка уже смотрит, прищурив глаза, и насвистывает. Словно гипнотизирует меня этот свист. Сам же привел меня в бригаду, сам же больше всех сомневается!

...Да, трудный был месяц. А сегодня я выполняю ответственное задание: помогаю Пете составлять наряды. Строймастер наш болел-болел да и ушел на пенсию. У Петьки же образование, как он сам говорит, четыре класса и пятый — коридор. Зашился с нарядами.

Пошептался со Славкой, подошел ко мне, посмотрел, как я бросаю камни, глубокомысленно посмотрел: не иначе, опыт мой обобщает. Потом очень важно изрек:

— Кончим класть фундамéнты, поставлю учиться. Хошь — на каменщика. Хошь — на штукатура. Хошь — на маляра,— просто передо мной ворота в рай открыл. Прибавил веско:— Заслужила. Зря я сомневался.

Если бы год назад мне сказали, что от таких слов я возгоржусь, я бы посмеялась: тоже мне — предел мечтаний. Теперь — я и сама этому удивляюсь — очень приятно, что я не сплоховала, не хуже других.

— У меня к тебе просьбица, Рута,— заискивающе сказал Петька.— Ты у нас грамотная. С аттестатом. Помоги с нарядами разобраться.

— Что же я в нарядах понимаю, Петя? Я их и в глаза не видывала.

— Вместе, вместе.— Петька хлопнул меня по плечу.— Надо же... Ребят же без зарплаты оставим...

И вот мы с Петей сидим над нарядами. Сначала я просто ничего в них не могла понять. Теперь разобралась, теперь бы и одна справилась. Но Петька считает своим долгом присутствовать. Курит папиросу за папиросой. В окошко смотрит. По мере того, как я откладываю готовые наряды в сторону, приобретает вид все более гордый: вот как у нас хорошо дело идет!

Сижу в тепле. Не надо «нянькаться» с камнями. Казалось бы, все хорошо. Но мне нехорошо. Стоит отложить в сторону наряд, глаза сами тянутся к окошку. Гляну — и становится нехорошо. Наши кладут фундамент. Девчата бросают камни. Ребят вижу только по пояс: опалубка подкялась над землей.

Ночью были заморозки — побелели крыши, остатки травы на стройплощадке стали курчавыми от инея и хрусткими. Листья на деревьях потемнели, свернулись. Чуть потянет ветром — летят на землю.

Славка сегодня первый раз надел стеганку. Другие ребята давно в них обрядились, а он все ходил в пиджаке. В стеганке он стал какой-то квадратный. Кажется, что голова у него растет прямо из плеч, без шеи. Настоящий медведь!

И топчется с вибратором на одном месте, совсем как медведь. Наверно, попался большой камень и Славка обминает вокруг него бетон. Смотрю на его коротко остриженный затылок, будто гипнотизирую: оглянись!

Нет, не чувствует, не оглядывается. Мне стало стыдно: все работают, а я... Я ведь тоже работаю. Камни в бадью легче бросать, чем высчитывать бесконечные кубометры кладки и умножать их на рубли с копейками. Но все равно гляжу в окошко, и как-то стыдно мне перед нашими. Скорей бы уж кончить!

Со вздохом берусь за наряд. Бросаю последний взгляд в окно.

Славка теперь стоял лицом ко мне, обеими руками опирался на вибратор. Внизу, возле него, незнакомый, очень высокий худой парень. Почему-то

мне подумалось: «Вот еще один выпускник школы, как и я когда-то, ищет работу».

Славка показал незнакомцу в сторону конторки. И парень пошел сюда, к нам.

Порыв ветра сорвал с большого дерева пожухлые листья. Они полетели прямо в лицо парню. Он отвернулся, пригнулся. Так, пригнувшись, и вошел в конторку. Распрямился с опаской — потолки наши на его рост не рассчитаны. Поздоровался, красиво склонив голову.

— Привет! — важно ответил Петя. Только что не прибавил: «Чем могу служить?» Он любит поважничать.

— Вы бригадир? — Парень шагнул поближе.

Глаза у него карие, а коротенькие, остриженные под «ежика» волосы светлые, курчавятся на висках.

— Мы будем бригадир,— с достоинством ответил Петя.

— Меня к вам послали,— в точности как я когда-то, сказал парень и полез во внутренний карман кожаной коротенькой курточки.

— Кто послал? — Петя был по-прежнему полон достоинства.

Вот сейчас незнакомец ответит: «Не знаю... Такой... седой...» — и тогда я обязательно расхохочусь.

— Начальник участка,— ответил парень.— Вот,— подал Пете бумажку.

«Тов. Грачев! Направляю в качестве строймастера молодого специалиста Лаймона Лиепу. Ознакомьте с объектом, окажите соответствующую помощь».

Вот оно что! Инженер. Счастливец! А я-то решила — школьник-выпускник. Впрочем, он и теперь не кажется мне старше. Стесняется, как мальчишка. Я бы на его месте не стеснялась. Ишь, стоит, как по стойке «смирно». Руки по швам. Очень прямой — только что не уперся головой в потолок. «Ест» Петьку глазами.

А Петька разважничался окончательно. Осмотрел «молодого специалиста» со всех сторон, спросил, будто сомневаясь:

— Значит, инженер?

— Инженер.— Лиепа так ответил, словно и сам этому не верит.

— Что ж,— Петька скривил губы и стал в точности похож на нашего начальника участка Ивана Алексеевича,— соответствующую помощь, конечно, окажем. С объектом ознакомим,— покосился в бумажку, наверно, подумал: «Что бы еще такое завернуть — позаковыристее?» Ничего не придумал и сразу стал обычным, нашим Петькой.— Да садись же, чудак. Чего стоишь? — потянул строймастера за рукав, усадил рядом с собой. А сам отодвинулся, полюбовался мастером, как своей собственностью.

— Значит, молодой специалист? — еще раз задал вопрос.

— Да уж так...— Лиепа развел руками.— Теорию, конечно, знаю. А вот насчет практики, честно скажу, слабовато. В проектировщики готовился. А пришлось на производство.

— Ничего, ничего.— Петька похлопал его по плечу.— Поможем соответствующим образом. Народ у нас опытный.

Ну, сейчас начнет хвастаться бригадой! Но со двора доносится крик: обычная история в конце дня — шоферы отказываются сделать еще одну ездку. Петя срывается с места.

Мне как-то неловко наедине с новым мастером. Сделала вид, что углубилась в наряды. Чувствую его взгляд, и от этого еще хуже.

О любви

К Ганнуле часто приходит парень из нашей бригады — Тадеуш Лукьянчик. Поистине неисповедимы пути, которыми приходит к людям любовь! Рядом с крепкой, крупной Ганнулей Тадеуш просто мальчишка. Худенький, маленький, юркий. Лицо скуластое. Бойкие, веселые, широко поставленные глазки так и стригут по сторонам. А язык! Второго такого нет в бригаде.

С Ганнулей Тадеуш тих и послушен. Придет, сядет, следит за нею преданными глазами. И поддакивает. Что бы она ни сказала,— он согласен.

Расму и Юзю присутствие Тадеуша ничуть не стесняет. Они и переодеться при нем могут. А я гляжу на Ганнулю и Тадеуша и вспоминаю папу и Тоню. Вот же судьба: и здесь я кому-то мешаю!

Однажды мы были с Ганнулей вдвоем, когда пришел Тадеуш. Идти мне было некуда, но я собралась и вышла: пусть побудут вдвоем.

Спустилась в вестибюль, села возле нашей вахтерши тети Мицы в кубовой. За окном шумел дождь. А здесь тепло, уютно, тихо. В топке кипятильника малиновым огнем рдели угли. Тетя Мица, еле слышно позвякивая спицами, вязала. Я раскрыла книгу.

Только начала читать, хлопнула дверь. С хохотом вскочили с улицы насквозь промокшие Расма и Юзя. Кинулись наверх по лестнице.

— Девчата! — окликнула я их.— Не ходите. Там Тадеуш.

— Ну и что? — Расма продолжала подниматься.

— Не надо! — взмолилась я.— Пусть побудут вдвоем!

— Подумаешь, условия им создавать!— рассердилась Расма.— Получат комнату — пусть хоть целый день милуются.

— Правда, не надо,— вмешалась Юзя.— Чем они виноваты? Куда пойдут — такой дождь?

Расма поворчала, но наверх не пошла. Сидели все в кубовой. Тетя Мица шевелила спицами и ласково так на нас посматривала.

С тех пор повелось: Тадеуш на порог — мы куда-нибудь уходим. Расма и сердится иной раз, но уговора не нарушает. Впрочем, и Расма и Юзя вечерами редко бывают дома. А я всегда ухожу, как только появится Тадеуш.

Ганнуля стала ко мне очень доброй. Оказалась она простой, бесхитростной, откровенной. Никогда ни с одной подругой не было мне так легко и просто, как с нею.

Вечерами часто остаемся вдвоем. Я все-таки устаю и охотно валяюсь с книжкой. Ганнуля учится в пятом классе и корпит над учебниками.

Вот и сейчас она, сдвинув широкие брови, писала, зачеркивала, снова писала. Шевелила губами в такт тому, что читала или писала.

За окном лил дождь — которые сутки, как подрядился. За день мне стоганку на плечах пробило насквозь. Намокли косы. И вот я лежу с распущенными волосами. Собиралась пойти к папе — он один, Тоня с братиком еще в родильном доме. Но вымылась под горячим душем, переоделась в сухое, прилегла на полчасика — только косы просушить. А вставать, идти под дождь не хочется. Уютно нам вдвоем с Ганнулей. Мир и тишина.

Тишину нарушил тяжкий вздох. Знаю, что за этим последует, но молчу. Ганнуля вздохнула еще раз,

покосилась на меня. Я сделала вид, что увлечена книгой. Снова вздох, еще более горестный.

— Ну, что там у тебя? — Каменное сердце не выдержало бы таких вздохов.

— Арихметика.— Ганнуля развела руками.

Ясно, арифметика. Вечно у нее дважды два получается пять. Ладно, так и быть, помогу.

— Пустяковая задачка,— через минуту сказала я и попыталась коротко объяснить, почему один бассейн наполняется быстрее другого.

Ганнуля смотрела на меня стеклянными глазами: не поняла. Начинаю снова. Даже рисую ей бассейны. С кранами. Из кранов течет вода. Бассейны наполняются. Один раньше, другой позже.

— Поняла?

— Не,— огорченно и чистосердечно призналась Ганнуля.

Вот тупица! В третий раз объясняю. В четвертый. Злюсь.

В конце концов Ганнуля делает вид, что ей все ясно. Положим, ничего ей не ясно. Но у меня нет больше ни сил, ни слов. Радуюсь:

— Наконец-то! — и ложусь на прежнее место.

Ганнуля собирает книжки. Гасит верхний свет. Ложится рядом со мной. Большая, уютная, теплая.

Лежим и болтаем. О любви, конечно. Что может быть интереснее?

Любовь у Ганнули и Тадеуша спокойная, без волнений и переживаний. Впрочем, однажды волнения были: когда распределяли комнаты в «Доме молодоженов». Бригада волновалась за Ганнулю и Тадеуша.

Тадеуш без конца бегал в конторку, звонил по телефону. Возвращался злой и взъерошенный: нет, еще не решили. И только Ганнуля была спокойна.

— Дадут, чего там, своими руками строили, да не дадут.

— Сходите вы, зарегистрируйтесь,— за неделю до сдачи дома советовал Петя.

Но Ганнуля была, как кремень:

— Своего угла нету — и огород городить нечего.

Вечером после работы Ганнуля поехала в стройучасток сама: за ключами и ордером.

Вернулась очень быстро. Будто слиняло ее румяное лицо. Вошла прямая-прямая, как палка. Рухнула ничком на кровать — пружины звенели, так она плакала.

Я побежала за Тадеушем. Он как сидел в нижней рубашке, так и кинулся к нам.

Тадеуш говорит на любом из бытующих в бригаде языков: латышском, русском, литовском. Ганнулю утешал по-белорусски:

— Ты ж моя ягодиночка солоденькая! Земляничинка ты ж моя,— бормотал он и гладил ее растрепанную голову, прижимал к своей груди.— Птушечка ты моя...

Это Ганнуля — птушечка!

«Птушечка» залила слезами его чистенькую рубашку. На том все и кончилось. Непорядка Ганнуля терпеть не может. Достала чистую рубашку: все вещи Тадеуша хранятся у нее. Вытирая рукавами неправдоподобно огромные слезы, шмыгая распухшим носом, заставила Тадеуша переодеться. Застегнула пуговицы на груди. Отступила, осмотрела его озабоченно, сказала стоически:

— Будем ждать еще!

О своем Тадеуше Ганнуля может рассказывать без конца. Послушать ее — так лучше его и нету. Но Ганнуля хорошо умеет слушать. Задает «наводящие» вопросы: «А он что сказал?», «А он как поглядел?».

Я подробно довожу до ее сведения, как на меня поглядел и что мне сказал строймастер Лаймон Лиепа. С первого дня я пользуюсь его вниманием.

Пройдет мастер утром по стройплощадке. Со всеми очень вежливо, но вот с каким-то холодком поздоровается. А мне поклонится по-особенному. Пожалуй, одному Петьке он кланяется так почтительно.

Петька же старательно «создает авторитет» мастеру:

— Докладываю: состояние дел такое-то. Думаем за день сделать то-то и то-то. Какие будут указания?

Ребята переглядываются и прячут в глазах улыбки: какие же указания? Мастер наш еще птенец, не оперился. Вот годик-другой поработает, тогда другой разговор. А пока его никто не принимает всерьез.

Лаймон часто приглашает меня в конторку — якобы помочь разобраться с нарядами. Первый раз он попросил меня об этом при Славке. Славка сощурился, брови на переносице сошлись. Я шла за Лаймоном, и все мне казалось: Славка смотрит вслед.

В конторке Лаймон заговорил не о нарядах, а о новом кинофильме.

— Я его еще не видела.

— Как? Такой фильм! Слушай, пойдем сегодня. С удовольствием посмотрю еще раз.

Меня никто никогда не приглашал в кино, и я растерялась.

— Договорились? — спросил Лаймон и пожал мою руку.

Вот с этого вечера и пошло. То Лаймон меня позовет в конторку, то вечером пригласит куда-нибудь. Как ты ему откажешь: красивый парень, приятно.

— А что? — комментирует Ганнуля.— Мастер, инженер. Самостоятельный.

Вот по вечерам я и рассказываю Ганнуле о Лаймоне. Но об одном я ей не могу сказать: о том, что Славка, наверно, осуждает меня за это. Сама не пойму — почему-то перед Славкой мне неловко.

Шумит за окном дождь. Тяжелые наступают времена — холодно, ветрено, мокро. Наверно, мы одновременно подумали об этом.

— Давай буду учить на штукатура? — предложила Ганнуля.— Все-таки под крышей.

— Нет. Я на каменщика хочу.

Вчера Славка сказал:

— Давай начну учить,— и показал, как держать лопатку-кельму.

И мне очень захотелось, чтобы именно он учил меня.

— На каменщика? — удивилась Ганнуля. Помолчала, подумала и глухо, прямо в подушку, обронила: — Вон что...— подняла голову, посмотрела мне в глаза.— Смотри, девка, не влюбись...

— Ну, чепуха какая! — смеюсь я беззаботно.— Зачем он мне сдался — старый такой? Просто нравится эта профессия.

Оставив без внимания вторую часть моего ответа, Ганнуля села, обхватила колени руками, сказала задумчиво:

— Славка не старый. Ему двадцать семь всего. Он враз, в одну ночь поседел...

Я тоже села. И сердце отчего-то забилось быстро-быстро.

Ганнуля обняла меня. Сама покачивалась и меня качала, как маленькую.

— Славка действительную служил матросом. На катере. Ну, шли куда-то в учебный поход. Ночью. Подорвались на мине. Мало ли их с войны еще осталось? Славку выкинуло в море. Так до утра и плавал. Без сознания. На куртке. У них куртки такие —

вата воду не принимает. Утром подобрали, а он седой...— Ганнуля умолкла.

Затененная маленьким колпачком лампа бросала свет только на тумбочку, на часть подушки. Не дождь шумел за окном, не порывы ветра швыряли капли по стеклам — шумело море. Дыбились черные, гривастые валы. Один за другим, один за другим. Кидали бессильно распростертое, с разметанными руками Славкино тело. Такое большое, сильное тело. А теперь слабое, вялое. Откинулась голова. Вода полощет волосы...

— Не надо, Рута, на каменщика,— после долгого молчания сказала Ганнуля.— Трудно и... не надо. Славка у нас такой... Девчат не уважает... Был, знаешь, женат. Ушла от него жена. С тех пор никто не подступись к нему. Не надо, Рута...— В голосе Ганнули тревога. За меня тревога.

Она долго рассказывала мне о Славке: он дружит с Тадеушем.

Но я почти не слушала Ганнулю. Так и стояло перед глазами бурное ночное море. Вода полощет Славкины поседевшие волосы...

Случайная встреча

Долго не могла уснуть в эту ночь. И снился мне потом один и тот же сон: мчится в бурной, темной ночи крохотное суденышко. Гремит взрыв, высоко вздымается столб воды и огня. И нет больше суденышка. Только разъяренные волны швыряют Славкино тело...

...Сладко спится по утрам. Со злостью зажимаешь назойливый звонок будильника. Подберешь коленки к самому подбородку — минуточку, одну-единственную поспать...

Сегодня еще целый час можно спать — светящаяся в темноте зеленоватым огоньком стрелка будильника едва переползла через цифру «шесть». Но мне не спалось. Ворочалась с боку на бок. Сбилась простыня. Жарко под одеялом. А думается все об одном: о Славке.

Нет, не могу больше. Тихонько, чтоб не потревожить девчат, оделась в темноте. Хочу как можно скорее увидеть Славку. Зачем? Что я ему скажу? Не знаю. Просто надо мне его увидеть — вот и все.

Еще в первые дни работы я как-то заночевала у папы. Утром вышла и столкнулась со Славкой. Оказывается, он живет рядом, за углом, на шестом этаже большого красного дома. Спуститься под горку, и будет его дом. Почему я никогда не встречала его раньше?

Сегодня встречу. Он будет подниматься в гору, и я его увижу.

Заспанная тетя Мица изумленно посмотрела на меня сквозь очки, когда я на цыпочках пробиралась по общежитию в сушилку.

— Ты что? — спросила она.— Куда так рано? Не заболела ли?

— К папе надо,— вдохновенно соврала я.— Тоня с братиком сегодня, может, выпишутся. Может, помочь что надо...

— А, это хорошо, это правильно,— одобрила тетя Мица.

Какое все теплое из сушилки: брюки, ботинки, стеганка! Одеться — пять минут. И вот я уже бегу по тихим, пустынным, чисто вымытым дождем и просохшим улицам.

Хуже нет стоять утром в подъезде дома, где тебя знает каждый. То и дело хлопают на гулкой лестнице двери, спускаются соседи. Изволь-ка, делай каждый раз вид, что только вошла!

— Здравствуй, Рута!

— С добрым утром, Рута!

Только бы папа не вышел раньше времени!

Сквозь зеркальное стекло подъезда вся улица на виду. Как много народу на ней по утрам! И как много похожих на Славку мужчин. Но я безошибочно узнаю: не он. Опять не он.

Вот теперь — он. Только он один умеет так, чуточку набекрень надеть фуражку. Широко, уверенно шагают его ноги в кирзовых сапогах. Чуть покачивается на ходу. Ну, как же — моряк!

Наискосок переходит улицу. Остановился, пропустил машину. Рано, рано. Еще минуточку надо обождать!

Кто-то опять спускался по лестнице. Не хочу никого видеть!

Выскочила из подъезда. Пошла по тротуару. Догонит ли? Нарочно замедляю шаги, и все-таки кажется — лечу по воздуху. Нет, не узнает, не догонит — слишком быстро я иду.

И вдруг у самого моего плеча:

— Здравствуй, Рута!

Вздрогнула, будто и не ждала этого голоса.

— Тихо больно идешь,— пошутил Славка.—Как раз и опоздаем!

Разве тихо? Да ведь я лечу, лечу, не касаясь ногами тротуара. Славка что-то спросил. Ответила невпопад. Он рассмеялся:

— Не проснулась еще? — и заглянул мне в лицо.

Я и в самом деле шла, как во сне.

— Эх, соня, соня! — Славка покачал головой.— На ногах еле стоишь. Признавайся, где протанцевала полночи? — и вдруг взял меня под руку.

Крепко. По-хозяйски. Подладил свой шаг к моему.

Трудная ученица

Как говорится: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» К 7 ноября по принципу: кровь из носу, а сделаем! — закончили пятый фундамент. Радовались: план перевыполнили. Никаких нарушений дисциплины. Можно сказать, звание бригады коммунистического труда вот оно, в кармане.

И вдруг постройком, как гром с ясного неба, вынес решение: звание не присуждать. Бригадир сквернословит. И другие кое-кто тоже.

От этого Петька совсем пал духом. Даже заявил мрачно:

— Слагаю с себя бригадирство!

Заявление его во внимание не приняли, а дружно решили: ограничить выбор «терминов» до «черта» включительно. С этого дня многие наши парни превратились в заик. Трудно пришлось и Славке.

Стою я целый день с ним рядом. Ученица. Тупица, а не ученица!

Чего проще — подцепить кельмой раствор, бросить его на уложенный ряд кирпичей, разровнять — Славка говорит: расстелить — положить на эту «постель» новые кирпичи. Проще простого.

Я так и делаю. Моя стенка — внутренняя. Славка

рядом кладет наружную, из белого силикатного кирпича, под расшивку.

Один, другой, третий кирпичи уложены. Отступаю, любуюсь делом рук своих и радуюсь: на глазах растет перегородка.

— Что ты натворила?! — возвращает меня с небес на землю Славкин голос.

Гляжу и не понимаю: чем плоха моя работа? Славка с тяжким вздохом тычет ручкой кельмы в мои кирпичи. Вот теперь вижу: уложены криво и косо. Славка сбрасывает кирпичи, счищает раствор, спрашивает:

— Забыла, как я тебя учил? Раствору немножко. Чуть-чуть. Ну, бери.

Подцепляю кельмой раствор. Славка стонет:

— На кой... на кой черт столько?.. Это не шов будет, а... Вот так. Клади. Разравнивай. Куда, куда... за... зачертыхала? Смотри, какая зараза получилась!

По-моему, все идет нормально. Наверно, вид у меня недоумевающий, и Славка начинает объяснять теми же словами, что напечатаны в маленькой брошюрке «Памятка каменщику», которую я вызубрила наизусть.

Своими словами Славка объясняет куда проще и понятнее. Но ему, наверно, кажется, что так, «поученому», я лучше пойму. И Славка мучительно старается вспомнить слова памятки. Так ему это трудно, что, несмотря на пронзительный ветер, на мороз, капельки пота выступают у него на лбу. Славка вытирает их рукавом, сдвигает ушанку, и я вдруг вижу седой висок. Вспоминаю бурную ночь, суденышко, взрыв и волны, швыряющие Славкино тело.

Мне так жалко его — и за ту ночь и за сегодняшние мучения со мной. Говорю тихонько:

— Ты уж лучше своими словами...

Славка оторопело посмотрел на меня. Одно мгновение посмотрел. Потом что-то блеснуло в глазах. Взял меня за руку. Стряхнул с кельмы раствор. Умоляюще сказал:

— Ну, еще разок, Рута. Вместе. Смотри хорошенько.

А как я могла смотреть? Я теперь вовсе ничего не соображала. Рука у Славки теплая-теплая. А моя — как ледышка.

На полпути к ящику с раствором Славка остановил мою руку — наверно, почувствовал, какая она холодная.

Сжал, грея, мои пальцы, спросил шепотом:

— Зазябла? — и стал растирать мои пальцы. Но они не становились теплее.— Что же мне делать-то с тобой?

Когда он ругается, еще ничего. Но когда жалеет,— не могу. В носу сразу становится мокро, того и гляди повиснет капля на кончике.

— Опять куртка расстегнута! — деланно рассердился Славка. Схватился за борта моей стеганки, встряхнул так, что, кажется, ноги мои отделились от подмостей. Застегнул верхнюю пуговицу. Шершавая кожа его руки скользнула по моему подбородку.

— Ну вот, так будет теплее. Давай,— снова взял меня за руку.

Три кирпича с его помощью легли, как по ниточке.

— Поняла?

Я бодро кивнула: как не понять?

— Теперь сама,— и Славка взялся за свою кельму: наружную стенку за него никто класть не будет.

Увлекся. Насвистывает. Так и ходят лопатки под старой, выгоревшей добела стеганкой. Как будто и не торопится, а вот уже ушел от меня на несколько метров.

А моя злополучная перегородка — ни с места. То мало раствора возьму, то слишком много, и он, придавленный кирпичом, ползет и залится во все стороны. Не шов, а...— ох, как мне сейчас хочется выругаться!

— Опять у тебя!..— Славка не смог подобрать подходящего слова.— Елки-палки, я же только что показывал...

Капля все-таки повисла на кончике носа. Смахнула ее, а заодно и слезы. Не могу больше. Руки закоченели. Стеганка опять расстегнулась. Не могу. Уйду.

Швырнула кельму в ящик с раствором. Побежала по подмостям. Славка вслед насмешливо насвистывал. Ненавижу, ненавижу! Ну, пусть, пусть я ничего не доказала! Пусть. Лучше уж мусор таскать!

Грачев поднимался по мосткам. Мне не удержаться было на скользкой лестнице. Налетела на него.

— Взбесилась? — рассердился Петька и тут же заметил мои слезы.— Э, атмосферные осадки в виде дождя. Давненько не было, соскучились.

Кое-как разминулись. Опрометью кинулась в конторку — там сейчас, наверно, никого нет. Хоть пореветь в свое удовольствие!

Распахнула дверь и сразу попала в изумительное тепло. За столом сидел Лаймон, разбирал чертежи. Нет уж, при нем реветь не стану: и так не бог весть какая красавица.

— Ты что? — сочувственно спросил Лаймон: наверно, и он заметил слезы.

— Погреться,— сунув руки к жарко пылающим в печке щепкам, беззаботно ответила я.— Ну и ветер! Аж слезы из глаз.— Отлично выкрутилась — свалила все на ветер.

— Бедная девочка! — Лаймон подошел, наклонился, взял мои руки.

У него руки теплые, как у Славки. Но... не хочу, чтоб Лаймон брал меня за руки!

— Садись.— Лаймон притащил от двери длинный толстый чурбак.

Села. И он рядом. Долго молчал, смотрел на огонь. Отблески пламени танцевали на его красивом, тонком лице.

— Ну, может, хватит себя испытывать? — тепло, дружески спросил Лаймон.— Переходи.

Ему нужен помощник — наряды заполнять. Лаймону дали еще один объект — в другой бригаде. Теперь ему положен нарядчик. Он давно предлагает мне эту работу.

Согласиться? То-то хорошо: в тепле, не надо мерзнуть и мокнуть. Шевелю перед огнем опухшими пальцами. Думаю. Колеблюсь.

А за дверями — крик.

— Учитель... чертов! — распинался Петька. Передразнил: — «Не соображает ни... ни черта!» Так учишь, бабушке твоего черта холера в живот!

Ого, какую фразу сочинил! Он теперь вообще ругается страшно замысловато. Сейчас Славку ругает. За меня. Так и надо!

Завизжала дверь. С виноватым видом вошел Славка, спросил:

— Отогрелась? — и тронул меня за руки.

— Решай, Рута,— поторопил меня Лаймон.

— Пошли,— сказала я Славке.

Он за руки поднял меня с чурбака.

— Опять расстегнулась, ну что ты скажешь!

«И расстегнулась! — мысленно с вызовом ответила я.— А ты застегнешь!»

Вытащил из кармана английскую булавку. Долго не мог проткнуть вату. Шершавая рука терлась о мой подбородок...

Все правильно!

Суббота — самый приятный день. Не только потому, что короткий. Все остальные вечера я зубрю то, что надо знать каменщику. Учусь читать чертежи. В общем, оказывается, не так-то просто укладывать кирпич на кирпич.

В субботу по окончании работы мы со Славкой остаемся в теплой, тихой конторке. Я отвечаю на его вопросы. С гордым видом слушаю его похвалы.

Слушаю и думаю: вдруг он возьмет меня за руку и скажет:

«Пойдем в кино? Договорились?»

Но Славка, как только мы остаемся одни, отодвигается подальше, смотрит не в глаза мне, а куда-то на щеку или на нос. Смотрит внимательно, каким-то остановившимся взглядом. Иногда мне кажется: грязь на лице. Потру незаметно, гляну на ладонь. Нет, чисто. А он все смотрит мимо моих глаз и вопросы задает чужим, ворчливым голосом. И никуда он меня не приглашает.

Сегодня было все то же самое.

Когда вышли из конторки, уже стемнело. Багровый закат еще полыхал, обещая и на завтра мороз и ветер. И тем и другим мы, что называется, сыты по горло. Земля звенела под ногами, скованная морозом. А снежинки ни одной до сих пор не упало. Мороз от этого кажется особенно жгучим. Ветер носит по улицам тучи мелкого песка. Густым, непроницаемым слоем инея подернуты стекла в домах, витрины, окна троллейбусов.

Мне как-то особенно холодно. Я давно заметила: когда плохое настроение, то и мерзнешь сильнее. Но все равно — нарочно расстегнула куртку не на одну, а на две пуговицы. Дует в грудь невыносимо. Но Славка ничего не замечает. Сдвинул на лоб ушанку, молчит. О чем думает?

Так молча и дошли до папиного подъезда. Славка простился и ушел, не оглядываясь. А мне надо идти в общежитие.

У самого подъезда столкнулась с тетей Анной.

— Рутыня! — воскликнула она и критически оглядела меня.— Бедная девочка — в таком виде! И, наверно, совсем замерзла. Шутка ли, целый день под открытым небом! Идем скорее!

Ни тетя Анна, ни Скайдрите никогда не видели меня в спецовке. Охали и ахали. И никуда от их сочувствия не денешься — наших не было дома. Ушли с малышом в консультацию. Тетя Анна потащила меня на кухню, налила тарелку горячего супу. В комнате, конечно, «бедных родственниц» кормить не положено. Противно. Но я в самом деле замерзла да и проголодалась. Пусть думают, что хотят,— ем с аппетитом.

А тетя Анна и Скайдрите, одинаково сложив руки на груди, стояли возле стола. Жалели меня.

— Вот до чего можно довести девочку! — Тетя Анна, конечно, намекала на Тоню — она ее не любит.— Из родного дома выжили...

— Никто меня не выжил! — Мне вдруг стал противен и ее суп и ее притворная жалость.

— Милая моя! — Тетя Анна всплеснула руками.— Мы-то знаем, какая ты добрая, безответная...

— Ладно,— сердито оборвала я и спросила у Скайдрите, чтоб переменить разговор: — Ну, а твои дела как?

Скайдрите села на табуретку. Положила ногу на ногу. На кончиках пальцев болталась малиновая плюшевая домашняя туфелька. Конечно, заграничная. У Скайдрите все заграничное. Даже поза, наверно, позаимствована из какого-нибудь иностранного журнала.

— Ой, Рута! — Скайдрите раскачивалась на табуретке, и мне хотелось, чтоб она шлепнулась.— Ой, Рута, я с таким молодым человеком познакомилась!

— Стиляга, конечно? — Я нарочно вызывала ее на ссору.

— Что ты! Летчик. Из гражданской авиации.

— Так влюблен в Скайдрите!— прибавила тетя Анна восторженно.— Так влюблен! Дня без нее прожить не может!

Перебивая одна другую, они выложили мне все подробности о летчике. И о подарках, которые он делает Скайдрите. Больше всего, конечно, о подарках.

Чтоб перебить поток их восторженных сообщений, спросила:

— А в институте как дела? — лелеяла тайную надежду, что тут у нее особых успехов быть не может.

— А, что институт! — Скайдрите махнула рукой.— Скучища. Нет, ты послушай... Перед отлетом говорит...

Не хочу знать, что он говорил перед отлетом. На полслове перебила Скайдрите, начала рассказывать о нашей бригаде.

У нас последнее время идут споры: как строить наши пять домов? Одна часть, во главе которой Лаймон, стоит за поточный метод, как самый передовой. Грачев и Славка настаивают, чтобы за зиму сделать стены всех зданий. Летом, по теплу, вести внутреннюю отделку — «начинку», как они говорят. Тогда квартиры будут хорошие. Штукатурка просохнет, столярка — тоже. Я до сих пор не разобралась, к какой «группировке» примкнуть. Вроде и те правы и другие.

Об этом я и пыталась рассказать. Но у Скайдрите на лице появилась скука. Тетя Анна взялась мыть посуду, загремела тарелками, ложками. В общем, это их не интересовало.

— Ты бы пошла, помылась,— сказалатетя Анна.

Уж лучше сидеть в ванне, чем слушать трескотню Скайдрите. Горячая вода всегда исправляет настроение.

С наслаждением залезла в ванну. Почти задремала. Вдруг стук в дверь.

— Это я,— сказал Тонин голос.— Открой, Рута, на минутку.

Открыла задвижку. Тоня в щелку просунула пушистый, весь в крупных цветах фланелевый халатик.

— Подарок тебе. От папы.

Знаю я, как от папы. Тоня фланель выбирала. Тоня шила. И, увидев в передней мою рабочую куртку, сообразила, что халат мне сейчас придется кстати.

В комнату я вошла довольная, умиленная. Вообще теперь, когда я бываю здесь гостьей, я никогда им не мешаю. Нам хорошо втроем. Нет, теперь уже вчетвером.

Братик лежал на кровати. Дрыгал в воздухе голенькими ножками. Ему третий месяц. Он стал толстенький — так и хочется потискать. Глаза синие-синие, как у папы. А волосики темные, как у Тони.

— Как жизнь, рабочий класс? — спросил папа и задержал мою руку в своей.

— Лучше всех! — ответила я Славкиными словами.

Папе и Тоне я могу рассказать о наших делах. Они поймут.

Долго сидим за ужином. Я все рассказываю, рассказываю.

— Поточный метод, конечно, передовой,— говорит папа. И Тоня согласно кивает.

— Да,— возражаю я,— но тогда часть отделки придется на зиму.

— Плохо будет сохнуть,— соглашается папа.

— Вот именно,— теперь я «процитировала» Петьку.— Качество отделки ухудшится.

— Логично. Значит, лучше второй способ.

— А тогда летом упадут заработки. «Начинка» — невыгодное дело.

— Конечно,— подтверждает Тоня.— Швы прострочить — пустяк. А начнешь отделывать — массу времени займет.

— Грачев и Баранаускас говорят: «Сознательно идем на трудности».

— По-хозяйски, по совести. Молодцы ребята!— хвалит папа.

— Конечно, деньги — это еще не все,— поддерживает и Тоня.

Вот теперь я знаю, куда примкнуть.

Хорошо, когда все ясно, все правильно. Лежу на своем старом месте — братик пока спит в коляске, и потому мой диван не вынесли. Знакомый квадрат лунного света лежит на полу.

Ничего, что Славка меня никуда не приглашает. Это впереди. Я верю. Очень хорошо, что здесь, в этой комнате, я только гостья и никому больше не мешаю. Очень хорошо, что «начинку» будем делать летом. Все ясно, все правильно.

Как хорошо спится, когда все правильно!

Второй разряд

— Шлеп! — Раствор падает на кирпич. Столько, сколько надо. Ни больше, ни меньше.— Р-раз! — одним движением кельмы, почти так же ловко, как Славка, расстилаю раствор. Еще раз: — Шлеп! — Кирпич лег на место.— Стук, стук! — Кельмой выровняла его. Теперь подобрать капельку выдавленного кирпичом раствора. Нагнуться, подцепить из ящика новую порцию раствора — и все сначала.

Светит ослепительное зимнее солнце. Все на диво бело кругом — только кончилась метель. На досках, на штабелях кирпича — пышные шапочки снега. Кто-то успел пройти от стройки к конторке. Следы сначала рыжие, а потом совсем белые, чистенькие. Хочется смотреть и смотреть на эту нетронутую белизну. Но некогда. Потом. В обеденный перерыв. Наклониться, ловко подхватить кирпич, выпрямиться. И вовсе он не тяжелый. И кто сказал, что холодно? Рывком распахиваю стеганку — мне жарко. В такт движениям напеваю гимн бригады: «Если ты назвался смелым...»

Я — смелая. Я — выдержу. Я — докажу. И пусть Лаймон сколько угодно говорит, что все это мне ни к чему. Даже если я стану инженером-строителем (вот назло ему стану!), все равно незачем самой уметь класть стенки. Это он так утверждает.

Он часто приходит к нам в красный уголок. На танцы. Из-за меня. А я делаю вид, что ничего не понимаю. С Лаймоном хорошо танцевать. Он ловкий. Никогда не наступит на ногу. А руку держит так, будто она фарфоровая и он боится ее уронить.

— Бедная лапка! — сказал он вчера.— Жесткая, шершавая!

Ну и пусть! Зато как ловко «лапка» хватает кирпич. Хватай, хватай, «лапка»! До обеда еще ряда три уложу. Я кладу внутреннюю перегородку. Стою спиной к Славке — он, как всегда, ведет наружную.

Странно, вот не вижу, а все равно каждой клеточкой чувствую его присутствие. Иногда пою, а он подсвистывает мотив.

Раз в неделю — с воскресенья на понедельник — ночую у папы. Утром караулю у окна: когда выйдет Славка. Сверху хорошо виден его подъезд. Как только он появится — кубарем по лестнице. Иногда, если лестница пуста, притаясь, стою в подъезде, пропускаю Славку, а потом догоняю. Если нельзя постоять — выхожу, иду медленно и жду, когда он догонит и скажет: «Здравствуй, Рута!»

Делаю вид, что удивлена: ах, опять нечаянно встретились! Славка только ухмыляется:

— Да, бывает.

Нарочно пробовала поскользнуться — пусть поддержит. Однажды перестаралась, шлепнулась. Он и не пытался поддержать. Только смеялся. Ах, Славка, Славка!

Ганнуля, когда мы с ней вдвоем, с особенным чувством поглядывая на меня, поет:

Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь!

И при этом так забавно, по-белорусски выговаривает слова, что я и рада бы пригорюниться, да невозможно: смешно.

Не верю я, что моя любовь безответная. Тогда зачем он по десять раз в день застегивает верхнюю пуговицу на моей стеганке? Другим-то не застегивает. Зачем тогда я ловлю на себе тот особенный, со светом изнутри, его взгляд?

Хорошо работать, петь и думать. Мысли мои прервали Славкины слова:

— Ну, как, а? — Гордость, вот что в этих словах. Оборачиваюсь. Сзади — Славка и Петька.

— Годится!— отвечает Петька тоже с гордостью.— Кладет — вот именно. А как с теорией?

— В порядке. Пора, а?

— Пора.

Это они о том, что мне пора получать второй разряд — первый рабочий разряд каменщика.

— Если ты назвался смелым! — на всю стройку пою я.

— Доказала, доказала! — смеются Славка с Петькой.

— На той неделе пойдешь сдавать,— говорит Петя озабоченно.— Смотри не подкачай!

Нет, я не подкачала. Без запиночки отвечала на вопросы. Без запиночки показала, как умею работать. Не у себя, где сами стены вроде защита тебе. На чужой стройке, в чужой бригаде, под десятком проверяющих тебя взглядов.

— Что удивительного — ученица Чеслава Баранаускаса! — так сказали обо мне.— Со средним образованием. Так и должно быть.

Не чуя под собой ног, мчусь к себе, взлетаю на третий этаж, ни разу не споткнувшись, не поскользнувшись на мостках. Мой сияющий вид, наверно, сказал больше всяких слов.

— Молодчина! — И Славка обнял меня.

На одну секундочку обнял. А потом пожал мне руку. Как равный равному.

(Окончание следует)

Памфлет



Л. ЛАГИН



БЕЛОКУРАЯ БЕСТИЯ

Рисунки П. Бунина.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В последних числах апреля 1943 года унтер-офицер Франц Кашкель дезертировал из германской армии по причине, в своем роде единственной в тысячелетней практике дезертирства. В середине мая того же года Кашкеля поймали, судили военно-полевым судом и расстреляли.

Прошло около трех с половиной лет, и километрах в двухстах от места, где закопали злосчастного унтера, приключилось событие, которое даже в те богатые событиями дни могло стать мировой сенсацией, если бы не принятые меры.

Случилось это в одном из глухих и суеверных горных селений Баварского Оберланда. Местный житель, некто Гуго Вурм, почтенный хуторянин, человек серьезный и заслуженный,— он вернулся с войны в чине обер-фельдфебеля,— забравшись как-то во время прогулки довольно далеко в лес, почти носом к носу столкнулся с оборотнем.

О том, что где-то в окрестностях замечен оборотень, в селении поговаривали уже не первую неделю. Лично господин Вурм, как человек, не чуждый просвещения, больше склонялся к мысли, что оборотней не бывает, а что это скорее всего какая-нибудь обезьяна, сбежавшая из Мюнхенского зоопарка.

И все же одно дело — отвлеченные рассуждения насчет оборотней, а совсем другое — столкнуться под вечер в одиночку и в довольно дикой лесной чаще с чем-то голым, бесхвостым, передвигающимся на четвереньках. А вместо головы у этого «чего-то» — круглое, вроде арбуза средних размеров. Нет, скорее, не арбуза, а огромного одуванчика.

Обезьяна (мы будем так вместе с господином Вурмом называть впредь до скорого уточнения это загадочное существо), не заметив бравого обер-фельдфебеля, стремительно промелькнула в густом подлеске и словно сквозь землю провалилась. Поначалу Вурм несколько струхнул, но он тут же взял себя в руки и осторожно пополз по следам обезьяны.

Вскоре он убедился, что единственно, куда она могла скрыться, был еле видный лаз под мощным нагромождением полусгнившего бурелома.

Метрах в тридцати высился дуб. Вурм избрал его в качестве наблюдательного пункта. Пыхтя и отдуваясь, залез он в самую гущу ржавой, не успевшей опасть листвы. В лицо ему дул приятный предзакатный ветерок.

Прошло не менее часа. Солнце ушло за горизонт. Быстро сгустились осенние сумерки. Заметно посвежело. Наступила та удивительная тишина, которая воцаряется в лесу сразу после заката. И вдруг, когда Вурм уже окончательно решил, что ждет понапрасну, под буреломом чуть слышно хрустнуло, фосфорически блеснули в лазу два зеленовато-желтых кружочка, и из-под сухих сучьев высунулась... волчья голова. Она медленно и настороженно повернулась сначала налево, потом направо, и совсем не слышно, без единого шороха наружу выбралась поджарая матерая волчица.

Засветилась в лазу вторая пара глаз, показалась еще одна голова, тоже волчья, но поменьше, тоже оглянулась по сторонам, и также бесшумно, на брюхе выполз из логова полугодовалый волчонок. За ним, уморительно повторяя все повадки матери, показался еще один.

Волчата жмурились, отряхивались, переминались с лапы на лапу, не отходя от волчицы, которая продолжала оглядываться по сторонам.

«Мда-а-а! — сокрушенно подумал господин Вурм.— Конечно, и за волков полагается неплохая премия, но где же моя обезьяна? Неужели они ее слопали?»

Не успел он прийти к этой огорчительной мысли, как в лазе сверкнула еще пара глаз. Потом возникла голова, вернее, нечто более или менее светлое, обрамленное теперь уже еле различимым в сгустившемся мраке огромным, болтающимся из стороны в сторону шаром. Этот шар качнулся сначала направо, затем налево, и наружу выбралось то самое существо, которое час тому назад промелькнуло перед Вурмом в подлеске.

Волчица в последний раз с шумом втянула в себя воздух, проверяя, нет ли все же опасности. За нею то же самое проделали оба волчонка, а вслед за ними и обезьяна. Сейчас уже стало так темно, что трудно было определить, голая ли она или покрыта шерстью. Но что задние конечности у нее длиннее передних, все же можно было разглядеть.

Очевидно, волки ждали ее, потому что, как только она оказалась рядом, волчица легкой и спокойной рысцой направилась в глубь леса. За нею затрусили оба волчонка. За волчатами, монотонно тряся шароподобной головой, по-волчьи перебирая конечностями и нелепо вихляя задом, побежала и обезьяна...

На закате следующего дня господин Вурм и оба его сына в великой тайне от соседей отправились в лес за большими деньгами.

Дальше все пошло по плану.

Младший Вурм швырнул в логово камень и отпрянул в сторону, держа наготове вилы.

Тотчас же выскочила волчица. Шерсть на холке стояла дыбом. Возможно, она рычала, но ее рычание потонуло в грохоте залпа двух охотничьих ружей. Раненое животное взвыло и, оставляя на ржавой траве черный кровавый след, пропало в чаще.

Нельзя было терять времени: быстро темнело. Господин Вурм передал свое ружье младшему сыну и, держа в левой руке электрический фонарик, а в правой — охотничий нож, полез в берлогу.

В дальнем углу, упершись взъерошенными спинками в стенку, испуганно уставились на страшного гостя волчата. Они щерили острые желтоватые зубы и рычали, ослепленные ярким светом фонаря. А рядом с ними, тесно к ним прижавшись, оскалилось на господина Вурма и тоже рычало то самое существо, которое он вчера принял за обезьяну. Но это не была обезьяна. На господина Вурма рычало, дико таращa глаза, нечто удивительно похожее на человеческое существо, точнее, на ребенка лет четырех-пяти. Оно сидело, по-волчьи опираясь передними лапами о земляной пол берлоги, но у него было лицо, очень грязное, остроносое и тонкогубое детское личико, обрамленное шарообразной шевелюрой нестриженых и нечесаных волос, в которых было полным-полно сучков, травинок, комьев сухой земли и даже косточек.

Если это и был оборотень, отступать было поздно...

Первым делом господин Вурм оглушил и придушил волчат. Он равнодушно сжимал в своих жестких железных ладонях их мягкие и теплые пушистые шейки и силился понять, что же это все-таки за чудище такое сидит перед ним, по-волчьи упершись передними лапами в землю и угрожающе скаля зубы. Стоит ли вообще с ним связываться?

Покончив с волчатами, господин Вурм протянул руку к оборотню, который с ужасом смотрел, как душат его четвероногих товарищей. Очевидно, решив, что сейчас наступил и его черед, он стал бешено отбиваться, царапаться, потом, зажатый могучими коленями господина Вурма, впился в левую руку обер-фельдфебеля, да так и замер, стиснув зубы в мертвой хватке. Господин Вурм, вне себя от боли, чуть было не прикончил это загадочное существо, когда вдруг заметил на его голой и очень грязной шее нечто вроде металлической цепочки. Это и была металлическая цепочка. Золотая. На ней висел красивый, старинной работы, медальон. Медальон тоже был, очевидно, золотой.

Дрожащими от нетерпения руками господин Вурм раскрыл его и увидел крошечное золотое распятие тончайшей ручной работы. А на внутренней стороне другой крышки, на серебристом фоне рыцарского щита, геральдический орел нес в когтях меч и цепь. Вокруг щита шла тонкая готическая вязь. Для того, чтобы ее прочесть, Вурму пришлось надеть очки.

Вокруг щита было написано: «ЧЕСТЬ, БЕСПОЩАДНОСТЬ И ПОСЛУШАНИЕ». ВОЛЬФГАНГ ИОЗЕФ ПАНКРАТИЙ АМАДЕЙ БАРОН ФОН ВИББЕР».

И тут господина Вурма словно молнией пронзило. Он вспомнил унтер-офицера Франца Кашкеля.

2

А о октября сорок второго года унтер-офицер Кашкель командовал отделением в заурядном пехотном полку на Восточном фронте. После октября сорок второго года он, положив на это немало хлопот, стал денщиком начальника гарнизона одного из полукурортных городов в Баварских Аль-

пах, генерал-майора Эриха Готфрида барона фон Виввер.

Унтер-офицер Кашкель был специально приставлен к полуторагодовалой особе барона Хорста фон Виввера, единственного сына начальника гарнизона — прямого потомка четырнадцати поколений баварских военных с отцовской стороны и старинного гамбургского патрицианского торгового рода — с материнской.

Вилла, в которой проживал со своей немногочисленной семьей начальник гарнизона, была расположена на самой аристократической окраине курортной части города. От помещения штаба ее отделял двор, щедро расцвеченный клумбами, а от опушки леса — просторная, с полгектара лужайка, благоухавшая сплошным ковром чудесных вешних цветов. Лужайка была изрезана посыпанными желтым песочком дорожками, по которым унтер-офицер Кашкель, на зависть другим нижним чинам и унтер-офицерам, и прогуливал маленького барончика. Во время этих частых прогулок на господине унтер-офицере Кашкеле почивало отраженное, но все же достаточно мощное сияние его начальника. Господин Кашкель с наслаждением купался в подобострастии встречных лиц рядового и унтер-офицерского состава, и следует отметить, что в какой-то степени он как раз и пал жертвой этого подобострастия.

Дело в том, что накануне рокового для унтер-офицера Кашкеля дня двое писарей набрели в лесу, километрах в пятнадцати от города, на троих крошечных волчат. Волчата, видно, еще совсем недавно прозрели и еле держались на своих слабеньких лапках. Они жмурились на славном апрельском солнышке неподалеку от родного логова и с полным доверием, по-щенячьи приветливо помахивая хвостиками, отдались в руки писарей. На этих волчатах, если подарить их маленькому Хорстлю, можно было заработать расположение самого господина начальника гарнизона. Пусть мальчик с ними поиграет, пока они еще совсем безобидны. А придет время, пристрелить их — пара пустяков.

Чтобы привлечь на свою сторону в этом многообещающем предприятии влиятельного ходатая, господин Кашкель и был приглашен полюбоваться милыми пушистыми и жизнерадостными трофейчиками.

В писарской комнате, любуясь волчатами, порывавшимися с полным доверием пососать толстые писарские пальцы, Кашкель ни на минуту не упускал из виду маленького Хорстля. Он следил за ним сквозь раскрытое окно. И вдруг он увидел: по дальней аллее трусит овчарка — тощая, облезлая, с длинными сосцами, свисающими до самой травы. Кашкель стремглав выскочил из дому и побежал ей наперерез. Он был еще сравнительно далеко, когда Хорстль решительно поднялся с травы, приветливо, а может быть, для сохранения равновесия, протянул ручонки и заковылял навстречу овчарке, давая всем своим видом и поведением понять, что в отсутствие его строгого воспитателя он ничего не имел против того, чтобы поиграть с этим милым четвероногим существом. Вот это уже Кашкелю совсем не понравилось. Он прибавил шагу, он даже позволил себе пробежать прямо по клумбе. Но пока он решился на это небывалое нарушение правил общежития, волчица — только теперь он удостоверился, что это неведомо откуда появившаяся волчица,— впилась зубами в ягодицы маленького барона и стремительно умчалась с ним в лес.

Весь личный состав штаба гарнизона и штабных команд был сразу поднят по боевой тревоге. И хотя было ясно, что от бедняжки Хорстля давно уже и косточек не осталось (какие там косточки у такого малыша! Одни хрящи!), но лес окружили и прочесывали до поздних сумерек.

Никаких следов маленького Хорстля, конечно, не обнаружили.

А когда вернулись с поисков, оказалось, что унтер-офицер Франц Кашкель, испугавшись ответственности, скрылся.

Дней через двадцать его поймали, судили военно-полевым судом за дезертирство и расстреляли.

Старшим в команде, приведшей в исполнение приговор над Францем Кашкелем, был обер-фельдфебель Гуго Вурм.

3

Есть смысл отметить дату и час, когда обер-фельдфебель Гуго Вурм, обнаружив в волчьем логове маленького барона фон Виввера, тем самым вернул его в лоно человеческого общества. Это произошло 15 октября 1946 года, в 22 часа 45 минут по среднеевропейскому времени. Нам тем легче запомнить эту дату и час, что как раз в это время в нескольких стах километрах от означенной берлоги, в одной из камер Нюрнбергской тюрьмы принял смертельную дозу цианистого калия и тем самым избежал уготованной ему виселицы бывший рейхсмаршал бывшего Третьего рейха Герман Геринг.

Примерно четырьмя часами позже, на исходе третьего часа, в ночь на 16 октября, когда во дворе Нюрнбергской тюрьмы уже висели с петлей на шее Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Альфред Йодль и Артур Зейсс-Инкварт, неутомимый Гуго Вурм, залегший в засаде у края своего картофельного поля, заметил, наконец, шагах в тридцати фосфоресцирующие огоньки волчьих глаз. Он давно ждал раненую волчицу. Он был уверен, что она где-то поблизости, что она, превозмогая страх перед человеком, обязательно придет. Как бывалый охотник, он знал, что существует и у зверей и у птиц такое чудо, как неистребимый ни страхом, ни болью великий и прекрасный инстинкт материнства. Господина обер-фельдфебеля это обстоятельство, конечно, нисколько не умиляло, но вполне устраивало. Он лежал в кустах, поеживаясь от пронизывающего до костей осеннего тумана, и размышлял насчет того, как это здорово получается, что есть на свете такой приятный инстинкт, который избавит господина Вурма от муторных поисков в лесу раненой волчицы и сам приведет ее сюда, на хутор, за ее последней пулей. Ему было забавно думать о том, что эта волчица — виновница приведенного им в исполнение приговора над задавакой Кашкелем, а вот сейчас, совсем скоро он пристрелит и ее и что таким образом унтер-офицер германской армии Франц Кашкель будет в некотором смысле им же и отомщен.

Господин Вурм мог еще некоторое время поразмышлять и о том, почему эта глупая зверюга не слопала тогда же, в апреле сорок третьего года, пухленького и такого аппетитного маленького барончика. Но ему и в голову не могло прийти, что тот самый инстинкт, который неумолимо гнал ее сейчас на верную гибель, тогда, в апреле сорок третьего года, заставил ее похитить человеческого детеныша, чтобы излить на него всю материнскую нежность и заботу, не истраченную на похищенных у нее накануне волчат.

И вот сейчас, истекая кровью, тяжко раненная,

она приковыляла сюда на трех ногах, томимая тоской по отнятому у нее человеческому детенышу.

Она шла, покачиваясь от слабости, теряя силы и тяжело дыша, прямо на притаившегося в холодном ожидании Вурма, пока он не удостоверился, что можно стрелять наверняка. Двумя пулями в упор с нею было покончено.

Рано утром господин Вурм особо тщательно побрился и поехал со своим старшим сыном Гансом в ближайший городок получать награду за волчицу и волчат. Шкурки волчат он продал, а шкуру их матери попросил отделать в самом срочном порядке. Это была совсем неплохая идея — подарить баронессе фон Виввер шкуру того зверя, который доставил ее материнскому сердцу столько горя.

А маленький барон фон Виввер лежал тем временем в овине господина Вурма на куче соломы. Он лежал на боку, по-волчьи подтянув к самому подбородку покрытые шрамами и бесчисленными рубцами коленки. Около него белели на табуретке кувшин с молоком, толстая фаянсовая чашка и благоухающий ломоть еще совсем теплого хлеба. Хорстль лежал неподвижно, с закрытыми глазами, ощеривая зубы и рыча при каждом движении караулившего его младшего Вурма.

В другое время селение было бы взволновано прозвучавшими прошлой ночью выстрелами. Но сегодня утром дошла весть о казнях во дворе Нюрнбергской тюрьмы. Это была потрясающая новость. Были и такие, что плакали. В том числе фрау Вурм.

4

Надо сказать, что вскоре после столь трагической и необыкновенной потери сына генерал-майор Эрих Готфрид барон фон Виввер тихо скончался от тяжелой уремии. Проводив на кладбище своего мужа, молодая вдова поселилась в родовом имении Виввердорфе. Раза два-три в месяц ее навещал молодой, прекрасного происхождения и не менее прекрасного телосложения дальний родственник и бывший адъютант покойного барона лейтенант Гейнц фон Тэрах. Далекий от всяческих сплетен, автор этих строк вряд ли упомянул бы об этих родственных визитах, если бы Гейнц фон Тэрах не сыграл весьма значительную роль в последующих событиях...

Поздним вечером шестнадцатого октября сорок шестого года лакей принес баронессе записку, написанную четким писарским почерком. Некто оберфельдфебель Гуго Вурм, имевший честь в свое время служить под началом покойного барона фон Виввера, просил баронессу уделить ему несколько минут для очень важного разговора, который, без сомнения, обрадует ее превосходительство.

Господин Вурм вошел твердой и четкой походкой старого служаки.

— Госпожа баронесса,— отчеканил он и щелкнул каблуками,— честь имею предложить вашему вниманию один предмет.— С этими словами он торжественно извлек из жилетного кармана нечто, завернутое в тонкую папиросную бумагу, и вручил побледневшей женщине.

В пакетике был медальон, снятый господином Вурмом с шеи Хорстля фон Виввера накануне вечером, в берлоге.

— Он жив, баронесса,— сказал господин Вурм с грубоватой заботливостью старого воина.— Он жив и здоров. Мне это стоило многих недель поисков, жестокого сражения в рукопашную с громадной волчицей, но сейчас все в порядке. Так что не извольте беспокоиться.

— Где он? — очень тихо проговорила баронесса, тщетно пытаясь встать с дивана...— Где вы его оставили?

Господин Вурм почтительнейше поставил ее в известность, что барон Хорст фон Виввер находится у него на хуторе.

На расспросы баронессы господин Вурм отвечал с разумной сдержанностью.

— Судя по всему,— сказал он,— юный барон прекрасно освоился с жизнью в лесу. Он вполне здоров, но, конечно, как бы это сказать, несколько диковат... Отвык от людского общества. А вообще, здоров, очень даже здоров... Но, прямо скажем, нескольно диковат...

Вурм вернулся домой вскоре после полудня.

Его младший сын Фриц доложил обстановку: маленький Хорстль за все время не прикоснулся ни к хлебу, ни к молоку.

Тут господин Вурм проявил сообразительность, которая сделала бы честь и человеку более обширного ума. Он перелил молоко из кувшина в миску и поставил ее на пол. Потом он послал Фрица поймать и доставить в овин первого попавшегося под руку цыпленка. Свернув цыпленку шею, Вурм положил его рядом с миской, а сам вместе с Фрицем покинул овин, оставив Хорстля наедине с молоком и цыпленком.

Прикрыв за собой дверь, они стали сквозь щель в стене наблюдать за юным бароном. Он еще пролежал без движения так долго, что господин Вурм начал терять терпение. И вдруг барон Хорст фон Виввер шевельнулся, злобно урча, оглянулся по сторонам, встал на четвереньки, уперся ладонями в лежавшего на земле мертвого цыпленка и стал жадно рвать его зубами. Когда от цыпленка осталось нескольно перышек и когти, барон фон Виввер нагнулся над миской и быстро вылакал из нее молоко.

Теперь предстояло постричь юного барона. Это был нелегкий труд. Мальчику, видимо, было и неудобно, и больно, и страшно. Он все время пытался вырваться из рук своих мучителей, и с каждым рывком ему становилось все больней. Но все имеет свой конец. Кончилась стрижка — и перед Вурмами возникла голова белобрысого мальчика с острым носиком и бессмысленным взглядом свирепого идиота.

Чтобы задобрить его перед тем, как впервые за последние три с половиной года помыть, Хорстлю принесли еще миску молока и снова оставили его одного. Он вылакал и ее с фантастической быстротой.

Пока Фриц на огороде за овином разогревал воду, мальчика оставили в покое. Потом его запихнули по шею в мешок и вымыли голову и шею. Потом пришлось засунуть в мешок его голову, чтобы лишить его возможности кусаться, господин Вурм и Ганс изо всех сил держали его за руки и ноги, а Фриц, как самый слабый из них, орудовал мылом, мочалкой и горячей водой. Если бы не сознание, что за вымытого мальчика баронесса вознаградит щедрее, чем за грязного, господин Вурм ни за что не взялся бы за эту неописуемо трудную процедуру. Но, наконец, было покончено и с мытьем. И тогда оказалось, что самое трудное еще впереди. Поистине непостижимо, как Вурмам удалось в конце концов облачить Хорстля в нижнее белье. С не меньшими трудностями на него натянули штанишки, курточку, обули в ботинки, натянули на него пальто. Потом его запеленали бинтами и усадили в машину, рядом с ним с обеих сторон сели оба младших Вурма, а старший уселся за руль.

В дороге их только один раз остановил американский патруль. Проверили документы. Искали контрабанду и оружие. Поинтересовались, что это за мальчик, которого они везут, и поверили, что мальчик безумный и что его везут в Мюнхен в психиатрическую больницу.

Вечером того же дня машина с наследником титула прославленных баронов фон Виввер подкатила к воротам его родового поместья. Через несколько минут она остановилась у массивных и просторных ступеней, ведших в широко распахнутые двери его родового дома.

Еще не успел выбраться из кабины господин Гуго Вурм, как в дверях показалась полуобезумевшая от счастья Урсула фон Виввер.

Вслед за нею выбежал Гейнц фон Тэрах. Он хотел удержать баронессу. Вурм еще вчера рассказал ему, в каком состоянии находится маленький Хорстль, и просил подготовить к этому баронессу. Но господин лейтенант смалодушничал. Он не решился испортить праздничное настроение счастливой матери. И вот теперь, с запоздалым раскаянием и страшась того, что сейчас произойдет, он пытался было удержать баронессу, но не успел. Она рванула дверцу машины.

Внутри машины царил полумрак. Баронесса только различила двух рослых мужчин, а между ними что-то меньшее, и это что-то меньшее было ее сыном, ее Хорстлем.

Она даже не заметила, что мальчик, которого незнакомцы тут же вынесли из машины, спеленат по рукам и ногам. Его матросская нарядная бескозырка была туго натянута на уши, а почти сразу под ее околышем по-кошачьи блестели два совершенно диких глаза.

— Мой мальчик! — воскликнула молодая женщина.— Мой дорогой Хорстль!..

Она припала к бледному личику мальчика, чтобы поцеловать его, и страшно вскрикнула: барон Хорст фон Виввер, перепуганный ее порывом, укусил мать в подбородок.

От барона Хорста фон Виввер исходил отвратительный запах. Впервые за несколько столетий пятилетний представитель этого прославленного рода понятия не имел о том, что следует проситься на горшок.

5

Никто не заметил, как Вурмы, получив заранее заготовленный чек на весьма значительную сумму, покинули поместье.

А пока лейтенант фон Тэрах оказывал окровавленной баронессе первую медицинскую помощь, четверо дюжих лакеев, искусанные и расцарапанные в кровь, сняли с юного Хорстля загаженную одежду, кое-как отмыли его в большой старинной мраморной ванне и отнесли в приготовленные для него покои.

Его нарядили в ночную рубашку тончайшего голландского полотна, но он тут же изодрал ее в клочья.

Пытались хоть голым уложить его в постель и прикрыть прелестной пуховой перинкой. Он сбросил с себя перинку, спрыгнул на пол, забрался в полутемный угол и оттуда зарычал, свирепо ощерив острые зубы.

— Оставим его в покое,— сказал, наконец, фон Тэрах.

И они покинули комнату.

— Ну, как он там? — спросила баронесса, закрыв носовым платком укушенный подбородок. Она уже взяла себя в руки и хотела проститься с Хорстлем, благословить его перед тем, как он отойдет ко сну.

Фон Тэрах не решился отпустить ее одну на это новое тяжкое испытание.

Они тихо приоткрыли дверь в темную спальню Хорстля, и первое, что они увидели,— это два глаза, поблескивающих из темного угла. Мальчик лежал на толстом ковре голый, скорчившийся по-звериному, с коленками, поджатыми к самому подбородку, и настороженно рычал.

— Уйдемте, Урсула! — сказал лейтенант, преисполненный жалости к столь красивой и столь несчастной матери.— Поверьте мне, так будет лучше... Пусть он привыкнет...

А барон фон Виввер еще долго прядал ушами и настороженно рычал при малейшем шорохе, притаившись в темном углу этого непонятного, непостижимо просторного, высокого и такого чуждого ему логова.

6

В этой трудной и необычной обстановке Гейнц фон Тэрах показал себя с самой лучшей стороны.

Прежде всего он пригласил управляющего имением и попросил его немедленно переговорить с персоналом Виввердорфа и предупредить, чтобы никто не болтал насчет маленького барона.

— Сейчас,— сказал ему фон Тэрах,— ясна печальная история маленького барона. Вскоре после своего таинственного исчезновения весной сорок третьего года он был найден неким добрым крестьянином и сдан в ближайший приют. К великому несчастью, бедного мальчика постигло безумие, этот подлинный бич столь многих старинных аристократических родов. Последние три года он провел в психиатрической больнице.

Так Гейнц фон Тэрах оградил семейство фон Виввер от ловцов газетных сенсаций. Рядовой случай дегенерации древнего дворянского рода. В другое время — материал для двадцати строчек петитом. 18 октября сорок шестого года, на третий день после казней во дворе Нюрнбергской тюрьмы, газетчикам хватало материала куда более сенсационного.

Самый крепкий и бесстрашный из лакеев принес юному барону завтрак. Он снял с драгоценного серебряного подноса и поставил на ковер большую фарфоровую миску с молоком, две чудесно подрумяненные куриные котлетки, несколько бисквитов и — увы! — кусок нежнейшей сырой телятины килограмма на полтора весом.

Сквозь приоткрытую дверь несчастная мать и ее верный рыцарь Гейнц фон Тэрах с ужасом и омерзением наблюдали, как барон Хорст фон Виввер, встав на четвереньки, по-собачьи лакал молоко, как он, прижав ладонями сырую телятину к толстому ворсу бесценного ковра, урча и злобно косясь по сторонам, рвал ее зубами и глотал огромными кусками. Они увидели, как он подозрительно обнюхал и, щелкнув зубами, проглотил бисквит и как он обнюхал и оставил нетронутыми обе котлетки, те самые куриные котлетки, которые он когда-то так любил.

Позавтракав, он снова свернулся калачиком, худенький, голый, беспокойный.

На цыпочках, зажимая нос пальцами, вернулся за посудой лакей. Хорстль тотчас же раскрыл глаза и стал, настороженно следя за ним, молча открывать и закрывать рот, давая понять, что он начеку и что лучше с ним не связываться. Он спокойно позволил



лакею убрать миску, чашку и остывшие котлетки. Но лакей снова вернулся, чтобы раздвинуть шторы. Резкий солнечный свет ударил в глаза привыкшему к ночной волчьей жизни Хорстлю. Он рванулся на четвереньках к двери, чуть не сбив с ног снова заливавшуюся слезами фрау Урсулу, и с непостижимой быстротой и увертливостью помчался по коридору в поисках темноты и покоя.

За ним гонялись долго, бестолково, неумело, пока не удалось загнать его в домашнюю часовню, в которую вела только одна дверь.

Было уже совсем ясно, что Хорстля надо лечить, если его состояние излечимо. А впредь до излечения содержать где-нибудь подальше от слишком любопытных глаз. При любых обстоятельствах следовало первым делом посоветоваться с врачом, очевидно, врачом-психопатологом. А где его найти, такого, который обладал бы достаточным опытом, чтобы разобраться в столь небывалом случае и в то же время умел бы держать язык за зубами?

Они вспомнили милого профессора Вайде, светило отечественной психопатологии, частого и желанного довоенного гостя в доме фон Виввероз. Оккупанты посадили его в тюрьму. Его оговорили. У него хватает врагов, как у всякого истинно немецкого ученого. И вот они понаехали после мая сорок пятого года, все эти красные, розовые, коммунисты, либералы, атеисты,— все эти недорезанные враги рейха, и стали клеветать на тех, кто честно выполнял свой долг немца и ученого. Они придумали про профессора Вайде, что он якобы пользовался для своих опытов недочеловечками из концентрационных лагерей. Какая чепуха! Как будто фрау Урсула и фон Тэрах не знали близко этого превосходного врача и милейшего человека! А если он даже и взял какое-то количество живых скелетиков из Освенцима или Майданека, так ведь он тем самым, по крайней мере, на несколько месяцев, а то и на полгода продлевал им жизнь, потому что в лагере их бы сразу отправили в крематорий...

Да, но что же все-таки делать с Хорстлем?

Неизвестно, нашли бы они достойный выход из создавшегося положения, если бы не фрау Бах, воспитательница и экономка детского дома «Генрих Гейне», который километрах в двадцати от поместья фон Виввероз содержала группа мюнхенцев, преследовавшихся при нацизме.

Фрау Бах приехала в Виввердорф с почти безнадежным заданием. Надо было попытаться уговорить управляющего имением продать да еще в рассрочку детскому дому несколько дойных коров.

Управляющий куда-то отлучился. Фрау Бах присела на скамейке неподалеку от входа в господский дом и стала ждать его возвращения.

Если бы как раз в этот момент господин фон Тэрах не выглянул из окна и не осведомился у лакея, кто эта немолодая и весьма скромно одетая дама, воспитанникам детского дома «Генрих Гейне», возможно, пришлось бы еще долгое время обходиться без молока, а история, которую мы стараемся поведать со всей тщательностью и беспристрастием, развернулась бы совсем по-другому.

Его словно озарило, лишь только он узнал, что эта дама — воспитательница в детском доме для детей лиц, преследовавшихся при нацизме: кому придет в голову, что в таком приюте воспитывается единственный сын барона Виввера, того самого, который был столь обласкан властями Третьего рейха!

Он подсел к этой женщине, нисколько не брезгуя тем, что она могла оказаться коммунисткой, и узнал, что ее зовут фрау Бах и что она прибыла поговорить с господином управляющим насчет коров.

Господин фон Тэрах позволил себе высказать предположение, что можно насчет коров поговорить прямо с баронессой, минуя управляющего. Вскоре он проводил ее в гостиную, а сам пошел к фрау Урсуле и изложил ей свой план. Фрау Урсула легко дала себя уговорить: ей становилось не по себе при одной только мысли, что этот пятилетний идиот, ничем не отличающийся от животного, будет проживать с нею под одной крышей. А тут вдруг представляется возможность устроить его в закрытое детское учреж-

дение, где его будут лечить, а может быть, и вылечат, потому что во главе этого детского дома стоит профессор доктор Каллеман, тот самый, место которого в Институте психоневрологии занимал до мая сорок пятого года бедный профессор Вайде.

Фрау Бах была почти оглушена щедростью вознаграждения, которое было предложено детскому дому «Генрих Гейне» за то, что он приютит в своих стенах маленького Хорстля. Конечно, инкогнито. На все время, пока мальчик будет пребывать в этом доме, его воспитанники и персонал обеспечивались молоком и мукой. Кроме того, группу, в которой будет воспитываться барон Хорст фон Виввер, баронесса обязалась снабжать и свежим мясом.

Вечером того же дня Хорстля под прикрытием сгустившихся сумерек тайно вывезли из отчего дома. Никто из многочисленной челяди не знал, когда, куда, зачем и на какой срок его увезли. Машиной правил сам господин фон Тэрах. Он же и сдал мальчика на руки лично профессору Каллеману.

7

В детском доме «Генрих Гейне» Хорстль прожил с 19 октября 1946 года по 8 мая 1953-го, то есть шесть лет и семь месяцев. Срок, как видите, немалый и насыщенный воспитательными экспериментами не только интересными и незаурядными, но по существу своему уникальными. При некоторой приверженности к высокопарной терминологии, эти долгие и трудные годы своеобразнейшего педагогического подвига персонала и коллектива воспитанников детского дома Организации лиц, преследовавшихся при нацизме, можно было бы назвать примерно так: «Семьдесят девять месяцев в борьбе за превращение мальчика-волка[1] в нормального ребенка».

Нет сомнения, что очень многих заинтересует строго научное изложение хода и деталей этого необычного дела. Я мог бы отослать их к дневнику, который профессор Каллеман вел все эти годы день за днем. Его записи по необходимости насыщены специальными психологическими, медицинскими и анатомическими терминами, густо пересыпаны латынью, снабжены обильным справочным аппаратом и, на наш взгляд, по-настоящему могут быть интересными только для специалистов.

Неспециалист рискует, безнадежно завязнув в терминологии и узконаучных деталях, упустить то, что составляет их главную ценность для непосвященных.

Поэтому мы, воспользовавшись разрешением фрау Бах, публикуем, конечно, в сильно урезанном виде только ее записи, чрезвычайно интересные, которые она, к сожалению, по сильной своей занятости, вела очень нерегулярно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1946 год

1

ОКТЯБРЬ, 20. Ему даже не дали еще раз переночевать в отчем доме. Господин фон Тэрах, который, конечно, совсем не так благодушен, как он хотел бы казаться, привез его поздно ночью, в полной тайне. У матери Хорстля круги под глазами, покрасневшие веки. Можно понять ее горе.

Мы поместили Хорстля на отшибе, в комнатке за конторой, той самой, где раньше хранилось белье.

От передвижения на четвереньках у него на ладонях, локтях и коленках толстенные затвердения. Ладони по той же причине несуразно большие и широкие. На теле множество ссадин, следы зубов: очевидно, память драк и игр с несколькими поколениями его сводных братьев — волчат. У него очень подвижные уши и широкие ноздри.

Но удивительнее и страшнее всего глаза. Бегающие, бессмысленные и в то же время свирепые.

ОКТЯБРЬ, 21. Любой ребенок, попав в возрасте Хорстля в подобную обстановку, ничем не отличался бы спустя некоторое время от Хорстля, будь он даже с самыми гениальными задатками и потомком самых физически и умственно полноценных предков. Идиотизм неизлечим, а одичавшего человека можно раньше или позже сделать практически нормальным. И профессор Каллеман как раз этим и собирается заняться. Нет, он не тешит себя иллюзиями. Это дело не месяцев и даже не одного года. «Но я уверен, что кое-что в этом направлении удастся сделать,— сказал он,— если и вы и ваши воспитанники мне в этом увлекательнейшем и труднейшем деле поможете».

«Наши воспитанники?! — удивленно переспросила я.— Какие воспитанники?»

«В первую очередь я имею в виду воспитанников из нашей группы ползунков»,— ответил мне профессор и решительно отказался прокомментировать свое удивительное заявление.

«Вы совсем не глупая женщина, фрау Бах,— ухмыльнулся он с мальчишески-победоносным видом.— Пройдет несколько дней, и вы сами догадаетесь».

ОКТЯБРЬ, 22. Я догадалась в тот же день.

Дело в том, что по своему уровню умственного развития Хорстль находится на стадии примерно десятимесячного ребенка. Поэтому его и зачислили в группу ползунков. Вместе с ними он будет расти и развиваться, как человек, изживая постепенно в себе все волчье.

Ночью весь приют был трижды поднят на ноги жутким воем, доносившимся из комнатки, где раньше

---

[1] Мы говорим «мальчика-волка», потому что науке известны мальчики и девочки-волки, мальчики-медведи и даже один мальчик-леопард. Сравнительно недавно, лет сорок тому назад, в Индии были обнаружены в одной берлоге сразу две девочки-волчицы. Младшая — ее звали Амала, прожила в приюте около года, старшая Камала — умерла после девяти лет пребывания в том же приюте от болезни почек.

Л. Л.

ше хранилось белье. Этот дикий, скорее волчий, чем человеческий, вой начинался очень низкими, хриплыми звуками, похожими на тяжкий стон, и стремительно взвивался до дребезжащего, пронзительного визга непостижимой высоты.

В этом вое звучала такая душераздирающая тоска, и был он так неописуемо дик, что даже у взрослых мороз прошел по коже. Это был вопль души бедного человеческого детеныша, которому было страшно и одиноко среди непонятных и новых для него двуногих существ и который звал свою любящую мать-волчицу и веселых братцев-волчат скорее, как можно скорее прийти за ним и увести домой, в лес, в родную милую берлогу.

Еле успокоили ребят.

2

ДЕКАБРЬ, 8. Сегодня он впервые лег спать на человеческой постели. Правда, пришлось постелить ему на полу, в его любимом углу. Но это все же была настоящая постель: тюфяк, покрытый простыней. Подушку и одеяло он пока отвергает. Спал, как всегда, свернувшись калачиком, но все же на простыне. Прогресс бесспорный.

Лоб у него морщинистый, как у старичка.

Лицо Хорстля обычно неподвижно. В случае необходимости он может строить свирепые рожи. Но никто ни разу не заметил на его лице и тени улыбки. Он никогда не плачет.

Мы пользуемся каждой свободной минутой, чтобы читать ему стихи, рассказывать сказки, разговаривать с ним, вернее, над ним. Нет, он, конечно, не понимает ни слова из того, что мы говорим. И еще очень долго не будет понимать. Но мы должны приучить его бедный мозг к звукам членораздельной речи. Ведь и нормальные грудные ребята не понимают того, что нашептывает им мать. Я раньше полагала, что, разговаривая со своим сосунком, мать только удовлетворяет свою потребность выразить ласку ребенку. Оказывается, это чрезвычайно важно и для самого ребенка, для формирования его восприятия мира. И вот мы вперемежку с профессором читаем лежащему с закрытыми глазами и подогнутыми к самому подбородку коленками пятилетнему голому мальчику-волку стихи Гейне и Гете, рассказываем самые простенькие сказки, мечтаем вслух о том замечательном времени, когда он забудет, что был волком, начнет ходить на ногах, разговаривать, как все другие мальчики и девочки; когда он будет иметь много-много друзей; когда он вырастет в умного и доброго человека. А Хорстль лежит с закрытыми глазами, и мы даже не всегда знаем, бодрствует ли он или спит. Время от времени мы при этом осторожно гладим его. Сначала он настороженно рычал и ощеривал зубы каждый раз, когда мы касались его светло-русой головенки, но довольно скоро привык и даже (быть может, мне это только кажется) испытывает от этой простейшей ласки некоторое удовольствие.

Он уже начинает привыкать к мытью. Вчера, когда он сидел в жестяной ванночке, опершись спиной о ее стенку, он нагнулся и стал быстро-быстро лакать воду, в которую был погружен по грудь. Потом, когда я намылила ему руки и спину, он вдруг стал слизывать с себя мыльную пену. Поэтому сегодня прибавили в воду хины. Хорстль попробовал ее лакать, но тут же выплюнул.

Пока что мы ставим еду — молоко, сырое мясо и бисквиты — перед ним прямо на пол. Но в той же комнате, где мы воспитываем и кормим наших ползунков.

Вторая задача — приучить его самого приходить (покуда хоть на четвереньках) за едой и брать ее из наших рук. А так как за пищей ему придется приходить ко мне или профессору, а мы во время раздачи пищи окружены целой кучей ползунков, то Хорстль будет сразу привыкать и к их обществу.

Он все еще чуждается людей. Вчера к нему подползли Густль Шварц и Бетти Пекарек. Они среди ползунков самые любопытные и самые смелые. Им было занятно, как он, нагнувшись над миской, лакает молоко. Хорстль перестал лакать и зарычал на них. Не спуская с него недоумевающих глаз, они, пятясь, отползли шагов на пять и уже оттуда отважно досмотрели до конца, как странно завтракает их новый, непонятно большой и сердитый голый товарищ.

Сегодня эти отчаянные ползунки снова подобрались поближе к Хорстлю. На сей раз он кинул на них быстрый взгляд, отвернулся и продолжал насыщаться, как если бы их совсем не было рядом.

Мы пробовали ставить его на ноги, когда купали (это не то слово — «купали»! Когда мы сражались с ним в ванной комнате). Он не мог продержаться на ногах и несколько мгновений. Они у него подгибались, как резиновые.

Ему трудно держать голову в вертикальном положении: у него совершенно не развиты соответствующие мышцы шеи. А для правильного своего развития голосовые связки у человека требуют вертикальной посадки голозы.

ДЕКАБРЬ, 11. Хорстль приучается принимать пищу по общему звонку. Услышав звонок, он теперь торопится (пока что на четвереньках), к тому месту посреди комнаты, где ему положено с начала этого месяца обедать, завтракать и ужинать. Здесь он терпеливо ждет своей порции. Покончив с нею, он немедленно возвращается в свой угол, уткнется в него носом, и уже никакого внимания не обращает на то, что происходит за его спиной.

3

1947 год

ЯНВАРЬ, 7. Они подружились-таки с Густлем. И помог им в этом Рекс — щенок нашей овчарки Евы. Густль играл с Рексом, а Хорстль к Рексу уже давно неравнодушен. Он возится с ним, гладит, усаживает к себе на колени. Видно, он ему напоминает его братцев-волчат. Щенок отвечает ему полнейшей взаимностью. И в то же время Рекс преисполнен самых приятельских чувств к Густлю. А раз Рекс благожелательно и с полным доверием относится к Густлю и остальным загадочным существам, наполняющим своим визгом комнату, значит, и Хорстлю не опасно с ними водиться. Очевидно, именно эти причины и толкнули Хорстля на дружбу с Густлем.

И вот они улеглись рядышком на полу — белокурый пятилетний сынишка высокопоставленного нациста и черноголовый годовалый мальчик, у которого друзья барона фон Виззер сожгли в печах Освенцима всю родню, кроме родителей. Они полны друг к другу самых добрых чувств. У них есть общие друзья — Бетти и Пекарек и Рекс. А до остального им нет дела.

ФЕВРАЛЬ, 9. Ползунки оказались неплохими педагогами. В последние дни мы заставляли их самих брать свой обед с низенького столика. А Хорстлю ставим его порцию по-прежнему на пол.

Сегодня, после звонка на обед, он, как всегда, приполз на привычное место и стал терпеливо ждать своей очереди. Обычно ему давали последнему для того, чтобы он мог присмотреться, как ребята становятся на коленки и берут со столика то, что им положено. Наконец, все ребята взяли еду, а Хорстлю я и не подумала подать его обед. Он был озадачен. Прождал минут пять, потом подполз ко мне и боднул меня головой в ногу. Я сделала вид, будто не поняла, чего он хочет. Он боднул меня еще раз, вернулся к себе в угол и с недоумением смотрел оттуда, как я покидаю комнату, не накормив его.

Сквозь замочную скважину плотно закрытой двери я стала наблюдать за обескураженным Хорстлем. Он довольно долго просидел в углу, в обычной своей позе, по-собачьи вытянув перед собой ноги и опираясь о пол ладошками. Он был такой смешной и трогательный в своем оранжевом костюмчике. Наконец, он решился на самостоятельные действия. Он подполз к столику, старательно обнюхал его со всех сторон, опасливо поднял правую руку, оперся ею о край стола, прижался к нему грудью, чтобы не потерять равновесия, поднял левую руку и, наконец, обеими руками вцепился в миску с молоком. Я ее нарочно оставила у самого краешка. Он нагнулся над миской и убедился, что языка его не хватает, чтобы лакать из нее, стоя на коленках. Тогда он, озабоченно урча, поднял ее и перенес на пол. Точно так же он поступил и с тарелкой, на которой было для него приготовлено отварное мясо и его любимые бисквиты.



Стыдно признаться, но меня чуть не прошибла слеза. С сегодняшнего дня Хорстль будет сам брать со столика свою пищу.

АПРЕЛЬ, 23. Сегодня он вдруг обрушился на Густля и повалил его на пол. Я перепугалась, как бы он не искусал его. Но, пока я подбежала, оказалось, что ничего страшного: Хорстлю просто захотелось побороться со своим дружком, как когда-то в лесу с братцами-волчатами. Он куда сильнее Густля, но не нанес ему никакого ущерба. Конечно, это, скорее всего, инстинктивное великодушие, но все-таки приятно отметить.

ИЮЛЬ, 22. Сегодня у Хорстля, когда он гладил Рекса, на лице на какую-то долю секунды промелькнуло нечто отдаленно напоминающее улыбку. Я сейчас же побежала к профессору.

— Фрау Бах,— сказал профессор.— По этому случаю я бы выпил рюмочку коньяку, если бы у нас был коньяк. Дело, кажется, идет на лад, дорогая фрау Бах. Раньше или позже из Хорстля вылупится настоящий человечек. Или я ничего не понимаю в семействе гоминид отряда приматов класса млекопитающих.

4

СЕНТЯБРЬ, 4. Наконец-то! То есть, передвигается он по-прежнему на четвереньках, но, останавливаясь, немедленно становится на коленки. Сам. Без надежды на немедленное поощрение.

Терпеть не могу подсматривать сквозь замочную скважину. За исключением тех случаев, когда это связано с Хорстлем. Вчера, оставшись один в комнате, он прошел некоторое расстояние на коленках, устал, хлопнулся на четвереньки, отдохнул, снова поднялся на коленки, снова сделал несколько шагов, снова хлопнулся на четвереньки... И так раз десять, пока не устал и не ушел на четвереньках отдыхать к себе, в угол.

СЕНТЯБРЬ, 10. Сегодня, когда ребята вернулись с прогулки, Хорстль подполз к ним и возбужденно залопотал. Это еще не были слова. Это больше походило на лепет годовалого ребенка, но это был **ПЕРВЫЙ** случай, когда он высказал свои чувства не мычанием, а более или менее членораздельными звуками.



Прозвенел звонок на обед. Хорстль подполз ко мне, встал на коленки и протянул руки.

— Хочешь кушать, Хорстль? — спросила я, не надеясь что он мне ответит.

И вдруг Хорстль утвердительно кивнул головой!

Он понял вопрос!

Боже мой!

Две такие радости в один день.

СЕНТЯБРЬ, 24. Снова ездила к его матери, в Виввердорф. Когда я вернулась, он подполз ко мне, легко встал на коленки, обхватил мою ногу и залопотал:

— Та-та-та-та... Не-не-не-не-не... Та-та-та...

Затем он перевел дух и внушительно произнес:

— Мо-ко!

Таким образом, Хорстль знает уже целых три слова! Не беда, что он, как и все ребятишки, которые учатся говорить, проглатывает отдельные слоги, искажает и недоговаривает слова. Со временем все наладится. Особенно, если удастся привлечь на помощь врача-дефектолога.

А вот что его мать фрау Урсула тоже чего-то недоговаривает, это никаких оснований для оптимизма, увы, не дает. Что-то политическая погода в нашей благословенной Бизонии день ото дня становится все менее благоприятной для тех, кого при нацизме преследовали, и все благоприятней для тех, кто преследовал.

Профессор ездил на днях в Мюнхен и вернулся темнее тучи: профессора Вайде до сих пор еще не собрались судить. Он проживает под домашним арестом у себя на вилле, дает интервью, принимает гостей, в том числе и американских. Кое в каких газетах уже раздаются голоса в его защиту. С одной стороны, он, видите ли, гордость немецкой науки. С другой — сам жертва нацизма, потому что это, видите ли, Гиммлер виноват в том, что Вайде производил свои изуверские опыты над узниками Освенцима и Майданека. Гиммлер его заставлял, а профессор, как мягкий и интеллигентный человек, не смел ослушаться. С третьей стороны, указывалось на то, что опыты профессора Вайде производились над людьми, которые и так были обречены, а результаты этих опытов должны были послужить делу дальнейшего развития медицины, этой гуманнейшей из наук...

Боюсь, что это только цветочки, что ягодки еще впереди.

И, кроме всего прочего, в нашем детском доме объявился свой политический барометр. Я имею в виду садовника Курта. Вчера он спросил у профессора, правда ли, что среди наших воспитанников имеются «дети коммунистов». Интонация, с которой был задан этот вопрос, знакома профессору с тридцать третьего года. Еще год тому назад Курт не осмелился бы задать такой вопрос руководителю учреждения, в котором он работает. А сейчас мы и думать не можем о том, чтобы освободиться от его неприкрытого и наглого соглядатайства. Горько сказать, но за него первым делом заступится профсоюз, не говоря уже о весьма сомнительной общественности нашей округи.

ДЕКАБРЬ, 20. Научившись новому слову, Хорстль с упоением повторяет его без конца, целый день, по любому поводу, и безо всякого повода и всем, кто ему попадается на глаза. А если никого в комнате нет, он твердит это новое слово, обращаясь к стене, двери, стулу, ящику, окошку.

Сегодня он овладел словом «мясо». Он произнес — «мяс».

За все время пребывания у нас он еще ни разу не засмеялся и не заплакал.

ДЕКАБРЬ, 28. Вчера умер от воспаления легких наш милый, веселый и озорной Густль. Он прохворал ровно неделю, и всю эту неделю Хорстля нельзя было отогнать от дверей изолятора. Его пробовали увести, он ощеривал зубы и рычал. Последние двое суток он не являлся по звонку ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. И умер бы от голода и жажды, если бы я не поняла, что бороться с ним бесполезно и не ставила поблизости миску с молоком. Время от времени он начинал яростно царапать ногтями дверь, за которой умирал его храбрый и веселый дружок. Когда бедный Густль перестал дышать, нянька побежала за мной. Дверь осталась открытой, и Хорстль проник в изолятор. Мы застали Хорстля на четвереньках возле кроватки. Он не выл, не урчал. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Но в уголках его глаз поблескивали слезинки. Это были первые слезы за все время его пребывания в нашем приюте.

1948 год

ЯНВАРЬ, 7. После того, как родители Густля увезли его хоронить в Мюнхен, Хорстль несколько дней не находил себе покоя. Он ползал по дому, обнюхивал все места, где они в последнее время играли с Густлем, кроватку Густля, его стульчик, столик, на котором он сидел во время приема пищи, вешалку, на которую Густль вешал свое пальтишко.

Ночью после почти годичного перерыва он снова разбудил нас своим душу выматывающим полуволчьим-получеловечьим воем и сам ни на минуту не заснул. А в среду, когда ребята уже отходили ко сну, мы вдруг хватились Хорстля. Обшарили весь дом, не сразу догадались, что он где-то во дворе. Мы нашли его на снегу. Босой, в одном платьице он лежал, скрючившись, под той яблоней, у которой они с Густлем обычно отдыхали во время прогулок. Он посинел от холода. У него были закрыты глаза, губы лихорадочно дрожали. Через час его температура перевалила за сорок. Все симптомы показывали, что у него воспаление легких, та же болезнь, от которой умер Густль...

Только тогда, когда я его увидела на снегу, почти окоченевшего, я поняла, как привязалась к нему и как страшно мне даже подумать о том, что он может умереть.

Я не могла оставить его ни на минутку, и в Виввердорф уведомлять фрау Урсулу о беде, которая приключилась с ее сыном, поехал сам профессор. Ни баронессы, ни фон Тэраха в поместье не оказалось. Она в отъезде, в Америке, на курорте, который называется Майами.

А фон Тэрах — человек занятой. Он сейчас служит в Мюнхене в каком-то важном учреждении на какой-то важной должности.

Вчера у Хорстля был кризис. Я пришла к нему сегодня утром, перед завтраком. Он очень бледен, высох, как щепка, под глазами — круги. Руки стали совсем тоненькие, особенно в сравнении с его непомерно широкими и мощными ладонями. Когда я приблизилась к его кровати, он, совсем как любой нормальный ребенок, отодвинулся (по собственному почину!), чтобы освободить для меня место. Я присела на краешек кровати, погладила его чудесные белокурые волосы.

Он взял мою руку, положил к себе на грудь и улыбнулся слабой и доброй улыбкой выздоравливающего ребенка!

Только сегодня мне пришло в голову, что смерть Хорстля подрубила бы под самый корень хозяйственное благополучие нашего приюта.

А все-таки хорошо, что его матери не оказалось в Виввердорфе.

Она могла увезти его в какую-нибудь мюнхенскую аристократическую клинику и уже не вернуть обратно. А ему нужно еще не один год расти в большом и **дружном** ребячьем коллективе под наблюдением не просто опытного, но и **талантливого** и обязательно **доброго** воспитателя. Такого, как наш профессор.

«Хорстль еще не научился ходить по-человечески и знает всего восемь слов!» — скажет профан.

«Хорстль уже научился стоять на коленках, сидеть за столом, играть с ребятами. Со дня на день он научится стоять на ногах, и он знает целых восемь слов!» — скажет любой, кто понимает необычайную стойкость и сопротивляемость волчьего воспитания Хорстля.

ИЮНЬ, 16. Мы наблюдали сквозь замочную скважину, как Хорстль, оставшись один, тренируется в прямохождении. Сделает несколько шагов, устанет, шлепнется на четвереньки, немножко отдохнет, снова подымется на ноги, и снова трогается в путь, чуть-чуть балансируя руками, как канатоходец на веревке. Шагает и сам себе улыбается. Это человеческая улыбка. Улыбка человека, который доволен тем, что далось ему с таким трудом.

На сегодняшний день в его словаре уже девятнадцать слов. Это его активный словарный фонд. Пассивный куда больше.

СЕНТЯБРЬ, 23. Он участвует в хороводах. Прекрасная практика в прямохождении. Ему нравится быть среди ребят. Он уже давно никого не укусил, но сегодня прельстился ярко-красной деревянной игрушкой, выхватил ее из рук одной девочки и с игрушкой в зубах на четвереньках убежал в глубь сада. Бегать он умеет только на четвереньках.

НОЯБРЬ, 4. Сегодня он впервые, наконец, засмеялся! Я уронила сумку, мы с Хорстлем одновременно нагнулись, чтобы ее поднять, небольно столкнулись лбами, и он засмеялся! У него вдруг сделалось очаровательное детское личико. По крайней мере таким оно мне в этот момент показалось.

1949 год

МАРТ, 12. Он научился пользоваться ложкой.

Понемножку подсаливаем ему пищу. Привыкает. С апреля будем кормить его нормально соленой пищей.

Курт раз в месяц отпрашивается в город на собрание «фронтовых друзей». Впрочем, «отпрашивается» не то слово. Он просто ставит нас в известность уже готовый к отъезду, и мы ничего не можем сделать.

ОКТЯБРЬ, 19. Сегодня ровно три года, как Хорстль поступил в наш детский дом. Он вырос, окреп, научился по-человечески пользоваться руками, обедать, сидя за столиком, ходить (но не бегать) на ногах, спать на кровати, прикрываясь одеялом, надевать на ночь ночную сорочку, проситься по нужде на горшок, есть соленую пищу, пить из кружки, пользоваться ложкой. Он привык к детскому обществу, понимает, когда к нему обращаются с вопросами, конечно, простейшими, знает, что его зовут Хорстль. И ко всему этому он уже знает СОРОК ВОСЕМЬ СЛОВ! Он их произносит в довольно изуродованном, но все же вполне понятном виде.

1950 год

МАЙ, 2. Вчера мы устроили небольшой праздник для наших воспитанников. Водили хороводы. Более старшие танцевали, читали стихи. Потом пел хор, и Хорстль пытался подпевать. Природа ему начисто отказала в слухе.

Он смело вмешивается в любую ребячью беседу. Они выслушивают его с тем редким тактом, какой бывает только у ребят, играющих в учителей. Там, где у Хорстля не хватает слов, он пытается восполнить свою болтовню мимикой. И беспримерно счастлив, убедившись, что его понимают.

ИЮНЬ, 16. Заинтересовался волчком, которым забавлялись старшие ребята. Сказал: «Тай!»

Ему дали, и он долго и безрезультатно пытался его завести. Рассердился и стал его кусать.

1951 год

МАРТ, 5. На прогулке нашел большую кость и с наслаждением грыз ее, пока я не заметила и не отобрала.

АПРЕЛЬ, 14. Сегодня Хорстлю ровно десять лет. По уровню своего развития он приблизился к четырехлетнему. Прибыл он к нам с развитием десятимесячного ребенка. Таким образом, за четыре с половиной года пребывания у нас он прибавил в своем развитии столько, сколько нормальный ребенок за три — три с половиной года. В дальнейшем этот разрыв будет все время сокращаться. Профессор в этом глубочайшим образом убежден. И я тоже.

— Сколько тебе лет? — спросила я его за завтраком.

— Тетять... лет... я,— ответил Хорстль.

— Значит, кому сегодня десять лет? — переспросила я.

Он ткнул себя пальцем в грудь, рассмеялся и сказал:

— Хосль!..

АВГУСТ, 21. — Хорстль,— сказала я ему перед завтраком.— Пойди к дяде (дядей он называет профессора), пойди к дяде, возьми у него ключ от холодильника и принеси мне. Понял?

— Та,— сказал Хорстль, опустился на четвереньки и помчался по коридору. Дверь в кабинете профессора была распахнута настежь. Мы так с профессором договорились. Хорстль вбежал, встал на ноги, приблизился к столу и остановился.

Профессор сделал вид, будто он углубился в чтение каких-то документов. Хорстль подождал какое-то время молча, потом сказал:

— Тя-тя!

Профессор к нему обернулся:

— А, это ты, Хорстль? Чего тебе надо?

— Куч,— сказал Хорстль.

— Не понимаю.

— Тетя, куч,— повторил Хорстль и показал пальцем на ключ, лежавший поверх стопки бумаг.

— Ах, ключ? — сказал профессор.— Тетя прислала тебя за ключом?

— Тетя,— замахал головой Хорстль.— Та, та, та, та, та. Тетя куч!..

Он получил ключ, взял его в зубы, вышел в коридор, опустился на четвереньки и помчался ко мне.

— Спасибо, Хорстль,— сказала я и погладила его по голове. Он уже по-прежнему стоял на ногах.

— Та! — сказал Хорстль, сияя.

СЕНТЯБРЬ, 22. Сегодня Курт напился. В будний день. На радостях. В газетах сообщают, что совет НАТО решил включить в состав Европейской армии войска, создаваемые в Западной Германии. Курт прекрасно понимает, чем это пахнет.

Он встретил меня у подъезда.

— О, фрау Бах,— сказал он, с трудом удерживаясь на ногах,— для каждого НАСТОЯЩЕГО НЕМЦА сегодня подлинно торжественный и счастливый день. И если вы, фрау Бах, НАСТОЯЩАЯ немка, вы разделите со мной эту радость!

— Фу! — ответила я, с трудом сдерживая возмущение.— От вас разит спиртом!.. Да еще в будний день...

— Нет, фрау Бах, сегодня совсем-совсем не будний день!.. Сегодня, фрау Бах, праздник! Пасха, рождество, троица, вознесение господне!.. День всех святых! Ах, если бы до него дожил бедный господин Скунс!..

Это была уж ничем не прикрытая наглость!

Дидерих Скунс — бывший владелец имения, где помещается наш детский дом. Ему здорово повезло, когда его убило во время одной из апрельских бомбежек Берлина в сорок пятом году. В противном случае висеть бы ему с петлей на шее на одной из площадей советского города Минска.

Я бы отдала год жизни за то, чтобы иметь возможность прогнать Курта ко всем чертям. Но в Мюнхене достаточно, как он изволит выражаться, «настоящих немцев», которые только ждут случая раздуть вокруг нас «патриотическую» кампанию.

— Пойдите, проспитесь,— сказала я Курту.— Вы не понимаете, что болтаете.

— Мне нельзя идти спать,— озабоченно сказал Курт.— У меня масса работы в саду.

И ушел, насвистывая, не очень, правда, громко и ясно, подлую нацистскую песенку. По его мнению, видно, еще рано распевать ее во всю глотку, но насвистывать уже можно.

ДЕКАБРЬ, 26. Вчера на елке Хорстль выступал с чтением стихов:

«Ёоч-ка, ё-оч-ка,
Де ты ас-тёшь?
Фтём-нам ли-соц-ке
Ми-няты най-тёшь».

Ребята все поняли. Хлопали. Хорстль был счастлив.

Ему скоро одиннадцать. Когда он молчит и стоит на ногах, он выглядит нормальным, миловидным, крепкосколоченным мальчиком своих лет.

Бетти оттачивает на нем свой педагогический дар. Он уже знает четыре буквы: А, Б, Ц и О.



1952 год

СЕНТЯБРЬ, 23. Ребята играли во дворе в прятки. Пятилетняя Рита упала и в кровь разбила себе коленку. Подняла с перепугу страшный рев. Хорстль, принюхиваясь к моим следам, разыскал меня на кухне, схватил за рукав и возбужденно залопотал:

— Рита бо-бо!.. Рита бо-бо!

Убедившись, что я следую за ним, он убежал во двор, время от времени оборачиваясь, чтобы удостовериться, что я не вернулась на кухню. Я подняла зареванную девочку на руки и понесла домой, окруженная толпой взволнованных ребятишек, а Хорстль шагал впереди нашей процессии, страшно довольный и важный, как полковой капельмейстер.

И снова прежнее: бежал на четвереньках, а шел впереди нас на своих на двух.

Вчера баронесса вдруг впервые за шесть лет новой разлуки с Хорстлем захотела его повидать. Заслушав мое очередное сообщение, она изъявила желание съездить к нам, чтобы хоть издали взглянуть на сына. Всю дорогу меня томили опасения: ведь если он произведет на нее достаточно приятное впечатление, она, не задумываясь, заберет его домой, с таким же легким сердцем, с каким шесть лет назад отдала его на воспитание нам, по существу, совершенно незнакомым и глубоко чуждым ей людям.

К счастью, все обошлось в высшей степени благополучно. Хорстль очень скучал по мне и ждал меня у ворот. Завидев меня, выходящей из автомашины, он кинулся ко мне на четвереньках, схватил мою руку и пылко прижал к своей груди.

Но тут из машины вышла фрау Урсула. Вид незнакомой, да еще так странно глядящей на него женщины испугал Хорстля. Он бросил мою руку и снова на четвереньках (как я была на этот раз рада этому обстоятельству!) убежал в кусты. Впрочем, он тут же высунул из кустов голову и, оттуда испуганно уставился на плакавшую в отдалении баронессу.

Она не захотела дожидаться, пока его приведут к ней, села в машину и укатила.

Тогда Хорстль вылез из кустов, снова взял меня за руку и торжественно проследовал со мною до кабинета профессора.

— Ну, как ты поживаешь, Хорстль? — спросила я его перед тем, как расстаться.

— Хошо! — сказал Хорстль.— Я хошо!

И улыбнулся чудесной мальчишеской улыбкой...

1953 год

АПРЕЛЬ, 8. После завтрака Курт, расфранченный, напомаженный, наглый, поставил меня в известность, что он отбывает автобусом в Шварцбург.

С утра весь Шварцбург был на ногах: встречали двух мерзавцев, земляков. Чрезвычайно заслуженные эсэсовцы: майор Грибль и капитан Швальбе. Милосердный советский суд приговорил их всего лишь к двадцати годам тюрьмы за преступления, за которые они заслуживали тысячекратного расстрела. Во всем цивилизованном мире подобные выродки называются военными преступниками. У нас, в ФРГ, и слов таких нет—«военный преступник». У нас они герои, патриоты, истинные немцы, страдальцы за родину — невинные жертвы «всемирного еврейско-коммунистического заговора», краса и слава нации. У нас, в ФРГ, им присвоено элегичное звание «поздно вернувшихся на родину». В самые лучшие годы Союзу лиц, преследовавшихся при нацизме, не уделялось и сотой доли того внимания, уважения и материальных благ, которые имеет этот союз массовых убийц.

В больших городах, на виду у иностранных корреспондентов власти еще стараются соблюдать какие-то приличия. В маленьких городах и деревнях этих людоедов встречают, как страстотерпцев.

Когда оба мерзавца в новехоньких, только что подаренных им автомашинах пересекли границу города, грянул колокольный благовест всех трех шварцбургских церквей. Духовые оркестры. Аплодисменты. Возгласы: «Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!»

Потом на площади у ратуши состоялся митинг с участием высокого гостя из Мюнхена, родственника нашего Хорстля — господина фон Тэраха.

Он поздравил доблестных эсэсовцев Грибля и Швальбе со счастливым возвращением на родину и заявил, что клевете на германских солдат надо положить конец. Затем он напомнил, что Германия окружена алчными врагами, что ей не на кого рассчитывать, кроме как на своих собственных сынов, и что история еще не закончилась и не все еще потеряно. А в заключение он сказал: «Вам пришлось страдать ради нас всех. Но теперь я приглашаю вас служить в качестве стимуляторов нашего товарищества».

«Стимуляторы» кланялись, пожимали руку господину фон Тэраху, господину бургомистру, господину начальнику полиции, господину директору гимназии.

Вечером было гулянье. Жгли фейерверк. У бургомистра был званый ужин с духовым оркестром. Шварцбуржцы попроще наливались пивом в пивных и орали песни, от которых на километры смердело эсэсовско-нацистской мерзостью.

АПРЕЛЬ, 9. Толковали с профессором насчет вчерашних торжеств в Шварцбурге. Он вздохнул:

— Существует реальная опасность, что бывшие нацисты займут большинство руководящих постов в республике.

Я сказала:

— Ошибаетесь, господин профессор. Этой опасности уже не существует.

Он фыркнул:

— Неоправданный оптимизм, фрау Бах!

— Скорее оправданный пессимизм,— возразила я.— Опасность существовала в сорок шестом году. Сейчас она уже превратилась в действительность...

Веселый у нас получился разговор.

АПРЕЛЬ, 30. Сегодня старшие воспитанники проводили последнюю, генеральную репетицию к первомайскому вечеру. Они стояли в два ряда: сзади мальчики, впереди девочки и пели «Болотные солдаты», когда вошел Хорстль. Не говоря ни слова, он пристроился к мальчикам и стал им подтягивать. Он чудовищно детонировал. Нужно было обладать железной выдержкой и горячим желанием не обидеть Хорстля, чтобы продолжать петь и не сбиться. Ребята выдержали это трудное испытание с честью. Они растут хорошими товарищами.

Кто знает, что будет с нашими мальчиками лет через пять-шесть. Ходят упорные слухи, что собираются вводить в нашей «мирной ФРГ» обязательную воинскую повинность. Забреют мальчиков в солдаты и пошлют под командованием нацистских генералов против их братьев из Германской Демократической Республики, против Чехословакии, Польши, Венгрии, Советского Союза. Горько и страшно думать об этом. Профессор — оптимист. Он считает, что до обязательной воинской повинности дело не дойдет. Он видит нечто успокаивающее в том, что Аденауэр не смеет, хотя и очень хотел бы, запретить КПГ. Боюсь, что пройдет совсем немного времени, и Аденауэр при любезном содействии наших милых социалистов посмеет. Тогда у него будут развязаны руки для любой подлости.

5

МАЙ, 1. Сегодня Хорстль весь день преследовал меня по пятам. Перед самым обедом я зашла в столовую, убежденная, что он разыщет меня и здесь. Так оно и случилось.

По случаю праздника каждому воспитаннику предполагалось раздать после обеда по две конфеты.

— Вот хорошо, что ты пришел! — сказала я Хорстлю.— Сбегай на кухню. Фрау Матильда даст тебе вазу с конфетами, а ты принеси их сюда. Понятно?

— Та, онятно,— ответил он, довольный таким ответственным поручением.

Вскоре он вернулся, торжественно держа перед собой на вытянутых руках вазу, полную конфет. Я не стала их пересчитывать. Я была уверена, что он не злоупотребил моим доверием, и в награду за труды подарила ему конфетку.

Вместо того, чтобы сразу ее съесть, он побежал к своим товарищам по группе и привел их в столовую, чтобы я и им дала конфет. Но порядок есть порядок. Звонка на обед еще не было, и я их выгнала из столовой. Последним покинул столовую Хорстль. Перед тем, как уйти, он подошел к своему месту за столом и оставил возле прибора конфету, которую я ему дала.

Прозвенел звонок на обед. Ребята пришли, расселись, пообедали, потом выстроились в очередь, и я каждому из них вручила по две конфеты. Получил свои две конфеты и Хорстль. Но так как одну он уже получил раньше, то он взял со стола ту, прежнюю, а одну из полученных на общем основании вернул мне. Он не считал себя вправе получить больше любого из его друзей.

Лучшего первомайского подарка для нас с профессором милый Хорстль не мог придумать.

Назовите меня сентиментальной, но я его расцеловала в обе щеки.

А настаивать на том, чтобы он все-таки взял третью конфету, я не стала. Пусть будет так, как решил этот маленький человечек. Его решение стоило ему душевного напряжения, и это было решение, достойное настоящего человека и доброго товарища.

Завтра утром приезжает наконец из Берлина доктор Бауман, врач-дефектолог, друг нашего профессора. Он погостит у нас и заодно займется дикцией Хорстля.

МАЙ, 2. Случилось ужасное, непоправимое.

В одиннадцатом часу утра в ворота въехала зашарпанная трехколесная машина. Из нее вылез господин лет сорока пяти, невысокий, плотный, широкий в плечах, с круглым улыбающимся лицом чисто выбритого деда-мороза. На нем был потертый костюм, желтые краги. Его круглую некрупную голову украшала зеленая тирольская шляпа с павлиньим перышком.

Признаться, он не очень походил на старого врача-ученого.

— Доктор Бауман? — спросила я несколько удивленно.— А мы вас ждали с двенадцатичасовым поездом.

— С вашего позволения, сударыня, не имею чести знать вашего имени — Дидерих Скунс, если это имя вам что-нибудь говорит,— отвечал незнакомец со сладчайшей улыбочкой.

— Дидерих Скунс?! — Я почувствовала, что у меня вот-вот подкосятся ноги.— Насколько мне известно, Дидерих Скунс погиб весной сорок пятого года.

— А насколько мне известно, я жив-здоров, с честью прошел святой обряд денацификации и прибыл сюда, чтобы немедленно снова вступить во владение своей законной собственностью...

Я не в силах была проговорить ни слова. У меня отнялся язык.

— ...и попросить вас,— продолжал Скунс, и вдруг голос его взвился до фальцета,— и попросить вас и всю вашу шайку немедленно освободить мое имение от вашего вонючего присутствия!..

Из сада уже мчался проклятый Курт. Лицо его выражало неземное блаженство.

— Господин Скунс!— кричал он на ходу.— Господин Скунс!.. Какое счастье!.. Если бы вы знали, что тут без вас было!.. Но я никогда не верил, что вы погибли!.. Я молил пресвятую матерь, чтобы она вас вернула сюда живым и здоровым!..

— А, Курт? — довольно холодно отозвался Скунс.— Не мешайте. Мы с вами потолкуем попозже.

— Слушаюсь, господин Скунс... Какое счастье! Боже мой, какое счастье!..

На этом записи фрау Бах прекращаются.

Теперь и ей и профессору Каллеману было не до ведения дневников. Три дня ушло на бесполезные хлопоты в Мюнхене и Бонне. Потом две с лишним недели — на то, чтобы вернуть родителям тех воспитанников, у которых были родители, и кое-как рассовать по другим приютам тех, кто были круглыми сиротами. Многих пришлось переправить в ГДР.

Это были дни, полные унижения и забот, нежных уговоров и тяжких прощаний, слез ребятишек и с трудом скрываемого горя взрослых. Об этом и о дальнейших судьбах воспитанников и воспитателей так неожиданно и стремительно закрытого детского дома «Генрих Гейне» можно было бы написать много достойного внимания и памяти. Но наша задача — не расставаться с Хорстом фон Виввером, чтобы рассказать все, что нам удалось узнать о его удивительной и горестной судьбе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

За ним по просьбе фрау Урсулы приехал господин Гейнц фон Тэрах: фрау Урсула боялась встречи со своим сыном. Конечно, она не сказала об этом даже фон Тэраху. Но он и сам, без ее пояснений, понимал, в чем дело. Официально фрау Урсула не могла в этот день покинуть Виввердорф потому, что с минуты на минуту ожидалось прибытие с визитом — впервые после сорок пятого года! — старого друга дома баронов фон Виввер — профессора Вернера Вайде. Восторжествовала высшая справедливость. Фемиде помогли чуточку приподнять повязку с ее глаз, ровно настолько, чтобы она увидела, кто за профессора Вайде хлопочет, и смогла признать его невиновным в чем-нибудь более или менее серьезном. А за несерьезные свои провинности этот старый добряк достаточно отсидел под арестом у себя на вилле. И, конечно, один из первых его визитов по праву принадлежал баронессе фон Виввер. Само провидение посылало его фрау Урсуле в тот самый момент, когда она больше, чем когда-либо после октября сорок шестого года, нуждалась в доброжелательном совете квалифицированного врача-психопатолога, умеющего хранить доверенные ему тайны.

Нужно сказать, что поначалу Дидерих фон Скунс требовал, чтобы ему очистили его имение в сорок восемь часов. Куда девать детей? Это не его дело. У него не спрашивали, когда поселили в его доме всю эту вонючую банду.

Он стал более покладистым, когда профессор Каллеман догадался поставить его в известность, что за одним из воспитанников детского дома прибудет не более и не менее, как сам господин Гейнц фон Тэрах — один из виднейших молодых деятелей христианско-социального союза и восходящая звезда на политическом небосводе земли Бавария.

Господин Скунс пять часов проторчал на солнцепеке только для того, чтобы приветствовать господина фон Тэраха в своем имении. Фон Тэрах обратил на него не больше внимания, чем в свое время сам господин Скунс на садовника Курта, но господин Скунс был все же очень-очень польщен.

Он не поленился еще битых два часа потратить на то, чтобы дождаться момента отбытия высокого гостя и пожелать ему счастливого пути.

А пока умиленный господин Скунс потел под жарким майским солнцем, а Хорстля готовили к отъезду, господин фон Тэрах имел подробную беседу с профессором Каллеманом.

Профессор считал необходимым в целях преемственности в воспитании Хорста фон Виввера сообщить учтивому господину фон Тэраху основные принципы, которые были положены им в основу работы с мальчиком-волком. Было подчеркнуто профессором Каллеманом и принято к сведению господином фон Тэрахом, что мальчика надлежит и в дальнейшем содержать по крайней мере еще пять-шесть лет в дружном, благожелательном и тактичном детском коллективе и что следует немедленно привлечь опытного врача-дефектолога к исправлению дикции Хорстля.

Тем временем фрау Бах успела собрать нехитрый багаж Хорстля. Она его причесала, умыла, одела в праздничный костюмчик, в последний раз повязала на нем его любимый, белый с красными крапинками, галстук и осторожно приступила к разговору, которого она больше всего боялась.

Она могла расплакаться и тем самым напугать Хорстля, который, понятно, не должен был знать, что они прощаются надолго, если не навсегда. И, кроме того, мальчик мог вдруг заартачиться и не захотеть уезжать с незнакомым дядей.

— Хорстль,— решилась наконец фрау Бах,— хочешь покататься в машине?

— Та,— сказал Хорстль.— Хотю.

— Тебя покатает новый дядя. Ты его видел? Такой красивый, добрый дядя.

— Не,— сказал Хорстль.— Ты... Ты катай...

— Ты же видишь, Хорстль, я сегодня очень-очень занята. А дядя такой добрый. Он тебе привез столько красивых игрушек. Они тебе понравились?

— Та,— сказал Хорстль.

— Ты хочешь подарить игрушку Бетти?

Бетти сидела рядом с Хорстлем. Это была умненькая девочка. Она знала, что ей нельзя плакать, потому что тогда Хорстль испугается.

— Та,— сказал Хорстль, взял из коробки с игрушками темно-рыжего плюшевого медвежонка, сунул в руки Бетти, улыбнулся и сказал: — На, Бетти, мять-мять...

— Ну, а теперь,— сказала фрау Бах,— пока новый дядя освободится, покушай яблочко.

Она дала ему два яблока, и он одно отдал Бетти.

Потом они сидели, ели яблоки, разговаривали и ждали, пока придут за Хорстлем.

А потом господин фон Тэрах увез Хорстля в своей красивой новой американской машине.

2

Двенадцатого октября тысяча девятьсот сорок шестого года Хорстля увезли из Виввердорфа на стареньком «оппель-кадете» спеленатого по рукам и ногам, загаженного, дикого, со свирепыми глазами идиота, жутко горевшими под надвинутой на уши матросской бескозыркой. Это был мальчик-волк пяти с половиной лет с уровнем развития десятимесячного ребенка.

Восьмого мая тысяча девятьсот пятьдесят третьего года его вернули в отчий дом в роскошном «паккарде» — двенадцатилетнего, рослого, стройного, прилично одетого белокурого мальчугана с живыми и любопытными глазами нормального ребенка.

Фрау Урсула встретила его у подъезда. Она не кинулась обнимать и целовать его, так как еще накануне была предупреждена особым письмом фрау Бах, как вести себя с Хорстлем, чтобы не напугать его, а впоследствии постепенно завоевать его расположение.

— Здравствуй, Хорстль! — сказала она, стараясь придать своему голосу непринужденную приветливость доброй знакомой.

— Дяствуй,— ответил Хорстль не без настороженности.

Фон Тэрах незаметно скрылся, чтобы оставить их вдвоем.

— Хочешь эту игрушку? — спросила фрау Урсула. В ее руках была маленькая ярко-красная автомашина. Фрау Урсула, опустившись на корточки, поставила машину на широкую каменную ступеньку крыльца, легонько толкнула ее, и машина покатилась.

Хорстль, тоже опустившись на корточки, полюбовался, как она катится, и сказал:

— Хотю.

Фрау Урсула вручила ему машину, и они оба поднялись на ноги.

— А хочешь, я тебе дам еще много-много других игрушек?

— Хотю,— сказал Хорстль.

— Тогда пойдем со мною,— предложила фрау Урсула и протянула ему руку.

Так Хорстль фон Виввер впервые после октября сорок третьего года вошел в свой дом, держась за руку своей матери.

3

Они сидели в прохладной и просторной столовой — фрау Урсула, профессор и неутомимый Гейнц фон Тэрах — и с удовлетворением наблюдали, как обедает маленький барон фон Виввер. Хорстль вполне пристойно пользовался ложкой, чашкой, салфеткой. Правда, он несколько излишне звучно жевал. Но зато он уже не лакал языком из миски, поставленной на пол, не рвал зубами сырое мясо, прижав его руками к полу, не рычал.

Пообедав, Хорстль вспомнил, что он в гостях.

Он подошел к господину фон Тэраху, тронул его за рукав и потянул к двери.

— Тамой! — сказал.— Хотю тамой.

Но все было заранее предусмотрено в письме фрау Бах.

Его повели гулять, показали кроликов, покатали на пони, на качелях, и мальчик до того устал, что уже спал, когда его осторожно раздели и уложили в постель.

А тем временем его мать, профессор и господин фон Тэрах обсудили план дальнейших действий.

Профессор Вайде был полностью согласен с мнением коллеги Каллемана, которое сообщил господин фон Тэрах: мальчика нужно еще по меньшей мере пять лет держать в коллективе его сверстников. Но где найти подходящий коллектив? Школа закрытого типа? Ни в коем случае. Хорстль еще все-таки настолько уязвим для насмешек, что его там заклюют, доведут до отчаяния.

И тут господин Гейнц фон Тэрах еще раз доказал, что у него отлично варит голова.

А почему бы, сказал он, не создать на средства баронессы небольшой, но хорошо оборудованный **аристократический** приют человек этак на двадцать, ровесников Хорстля? Это должны быть сироты самых заслуженных людей, прославивших германское оружие, павших в священной борьбе с мировым коммунизмом. Любой немец почтет за честь работать в таком приюте. И знаете, как можно было бы назвать этот приют? «Виввергейм». Дом Виввероф! Это звучит благородно, возвышенно. Баронесса фон Виввер не только учреждает и вкладывает фамильные средства в этот приют, но и воспитывает в нем своего единственного сына, наследника прославленного родового имени! Разве это не лучшее доказательство того, что она собирается сделать «Виввергейм» лучшим из германских воспитательных учреждений!

— А что до меня,— все больше распаляясь, продолжал фон Тэрах,— то я был бы счастлив взять на себя общее руководство воспитательной работой.

Фрау Урсула смотрела на него с благоговением.

Но оказалось, что он еще не все досказал. Господин фон Тэрах взял на себя смелость придумать, где поудобней разместить «Виввергейм», чтобы не огорчать фрау Урсулу новой разлукой с ее сыном и заодно обойтись без расходов на наем помещения. Господин фон Тэрах решается предложить приспособить для этой цели дом под зеленой крышей, тот, в котором до войны обычно располагались гости, приглашенные в Виввердорф.

— Дорогой Гейнц,— восторженно прошептала фрау Урсула,— вы гений!..

Возвращаться в Мюнхен было уже поздно. Пока для фон Тэраха и профессора Вайде готовили комнаты, они сидели с фрау Урсулой в уютно освещенной маленькой гостиной.

За окном только что отшумел теплый весенний дождь. Выглянула луна. Открыли окно. Из сада веяло ароматом цветов и покоем.

И вдруг пронзительный мальчишеский вопль взорвал уютную тишину ночи.

4

Минут за пять до этого Хорстль фон Виввер проснулся в своей комнате. Ему срочно требовалось провернуть одно небольшое дельце. Любой другой мальчик ночью в совершенно незнакомом доме оказался бы в безвыходном положении. Хорстля выручило обоняние.

Нам бы не хотелось, чтобы у читателя создалось необоснованное впечатление, будто дом баронов фон Виввер не содержался в надлежащей чистоте. Но у Хорстля было тончайшее, поистине нечеловеческое обоняние, и оно его без лишних проволочек



привело прямо в туалетную комнату. И оно же несколькими минутами позже чуть не свело на нет многолетние труды фрау Бах и профессора Каллемана.

Уже возвращаясь в свою комнату, Хорстль был заинтересован слабым, но чем-то хватающим за сердце запахом. Он побрел на этот запах по скудно освещенному коридору. С каждым шагом запах становился все более четким и волнующим, пока не привел Хорстля к неплотно закрытым дверям библиотеки.

Учащенно раздувая свои и без того широкие ноздри, мальчик нерешительно раскрыл дверь и вошел в большое, щедро залитое лунным светом помещение.

В нескольких шагах от двери у подножия массивного кожаного кресла серебрилась в лунном свете большая, богато отделанная волчья шкура — давний дар обер-фельдфебеля Гуго Вурма.

У Хорстля потемнело в глазах. Страшно медленно, на негнущихся ногах приблизился он к креслу, с воплем грохнулся на шкуру и прильнул к ней всем телом, уткнувшись лицом в мягкую, теплую, густую, но уже пахнувшую тленом шерсть.

5

Фон Тэрах вбежал в библиотеку первым. Он зажег электричество и бросился поднимать Хорстля. Мальчик покорно встал. Он был очень бледен. Взгляд его был обращен вниз, на окантованную красной материей шкуру.

Со стен библиотеки на него недовольно смотрели предки в золоте эполет, в блеске рыцарских лат, в средневековых шлемах и лакированных касках го-

генцоллерновской Германии, во фраках,с широкими орденскими перевязями и в усыпанных орденами гвардейских мундирах в рюмочку, предки с бритыми и предки с бородатыми физиономиями, предки с бакенбардами и предки с усами, кончики которых были лихо закручены кверху а-ля Вильгельм Второй; на него жеманно щурились с потемневших портретов бабки, прабабки, прапрабабки в шелках, парче и бархатах, увешанные драгоценностями, как веригами, в кринолинах, в мантильях, в шубках, в строгих, подпоясанных под самой грудью платьях наполеоновских времен, в старательно завитых буклях, в пышных пудреных париках, в громоздких, многоэтажных сооружениях из своих и покупных волос.

Но Хорстль их не видел. Он видел только большую серую шкуру на тускло поблескивающем темно-рыжем паркете и ничего больше: ни фрау Урсулы, ни господина фон Тэраха, ни профессора, ни слуг, выглядывавших из-за их спин. Только шкуру волчицы.

— Хорстль! — сказала фрау Урсула.— Что с тобой, мой мальчик?

— Мамм-мма! — чуть слышно промолвил он и снова упал на шкуру.

И фрау Урсула поняла, что сын, произнося это слово, имел в виду не ее.

В этот миг, склонясь над обеспамятевшим Хорстлем, баронесса Урсула фон Виввер жестоко, смертельно и безнадежно ревновала своего сына к давно пристреленной безымянной волчице.

— Я себе этого никогда не прощу,— сказал фон Тэрах.— Надо было еще вчера убрать ко всем чертям эту мерзкую шкуру!.. Для мальчишки это такая травма!..

— Вряд ли даже вы с вашим острым умом представляете себе всю опасность этой травмы,— отвечал ему профессор шепотом, чтобы не услышала фрау Урсула.— Как бы не пошли насмарку все семь лет трудов Каллемана... Или этот нервный удар пройдет совершенно бесследно. Или регресс и, к сожалению, полный...

— Вы хотите сказать, что неполный регресс вас бы устроил?

— Вот именно... Было бы совсем неплохо, если бы можно было стереть из памяти мальчика все, что он приобрел в пределах последних двенадцати месяцев.

— Простите, но я вас не совсем понимаю, профессор.

— А разве вам не бросилась в глаза во время ужина одна неприятная деталь?

— То, что он чавкал?

— То, что он благодарил лакея каждый раз, когда тот подавал ему блюдо. Господин, благодарящий лакея!..

Хорстля уложили в постель, побрызгали ему в лицо водой, и он пришел в себя. Он лежал (на спине, а не скрючившись на боку, с коленями, подогнутыми к самому подбородку, и это уже было хорошей приметой) бледный, обессиленный, безмолвный. Губы у него дрожали. Глаза что-то искали. Его трясло.

— Теперь для мальчика самое главное — спать, спать и спать! — сказал профессор.— Будем лечить его сном.

Хорстлю дали снотворного, и он заснул.

А злосчастную шкуру тут же в библиотеке густо пересыпали нафталином, чтобы ее не потратила моль и чтобы заодно начисто отшибить ее натуральный запах, скатали в рулон и спрятали под замок в сарае среди всякой пыльной рухляди.

6

Хорстль встал задумчивый и вялый и сразу направился в библиотеку.

Как и прошлой ночью, высилось на прежнем месте тяжелое кожаное кресло, но шкуры возле него не было. И ею даже не пахло, как Хорстль ни раздувал ноздри. Библиотека благоухала нафталином.

Из библиотеки Хорстль нерешительно вышел в коридор. Раздувая ноздри и старательно принюхиваясь, он обошел одно за другим все помещения отчего дома и не нашел того, что искал.

Дверь из холла в парк была открыта. Хорстль вышел в парк. Он шагал медленно, сторожко, то и дело останавливаясь, чтобы с силой втянуть в себя воздух.

Выйдя из ворот, Хорстль свернул налево.

Ему дали дойти до шоссе. Дальше пускать его было опасно: шоссе кишело американскими военными грузовиками, «джипами», немецкими машинами. Но Хорстль и сам не рискнул выйти на шоссе. Он сел на травку и стал с напряженным вниманием следить за движением машин. Ему было внове это зрелище, и оно, видимо, его занимало. Приятный симптом!

Тогда вышли из укрытия фон Тэрах и профессор Вайде.

И фон Тэрах не нашел ничего умнее, чем предложить:

— Хочешь, Хорстль, мы тебя покатаем в машине?

— Та,— встрепенулся Хорстль.— Хотю... Та!.. Тамой... Хотю там!.. Бетти... тетя, тятя...

И указал в ту сторону, откуда его вчера привезли.

Он плакал, упирался, вырывался из рук. С ним пришлось порядком повозиться, пока он позволил отвести себя обедать. В молоко подмешали снотворного. Он спал до ужина. После ужина он снова плакал и просился «тамой». И снова пришлось пустить в ход снотворное.

Таким образом, наметилась первая и нелегкая задача: заставить мальчика забыть о своих друзьях.

Ему создали компанию из местных мальчиков, возраст которых колебался между восьмью и десятью годами. Их кормили вместе с Хорстлем, они с ним играли с утра до вечера, почтительные, напуганные богатством и титулом их нового товарища. Каждое утро, отводя своих сыновей в господский дом, родители заклинали их не забывать о том, что им оказана великая честь. Умный мальчик должен быть к господину барону почтительным и, упаси боже, не давать сдачи, даже если его светлости угодно будет его разок-другой ударить.

Но его светлости не было угодно ударить. Фрау Бах научила его, что сильный никогда не должен бить слабого. А Хорстль был в этой компании не только самым старшим по годам, но и самым сильным. Ведь он столько лет передвигался на четвереньках, и у него были очень сильные руки. Он никого не трогал. Это радовало родителей его новых дружков и огорчало профессора Вайде и господина фон Тэраха. Во-первых, потому, что, по его убеждению, любой немецкий мальчик должен быть агрессивен. Немецкий мальчик не должен ждать, пока его ударят. Он должен всегда быть готов ударить первым. Во-вторых, потому, что Хорстль был совсем не любой немецкий мальчик. Он должен с детских лет привыкнуть к тому, что рожден быть господином, повелевать теми немецкими бывшими



мальчиками, которые рождены для того, чтобы почитать своих хозяев и повиноваться им самозабвенно, с истинно прусским упоением. А у Хорстля проскальзывали тревожные симптомы низкопробного плебейского демократизма. Мальчикам его круга и его лет уже свойственно проявлять волю к власти, а Хорстль не проявлял.

Мальчики научились не смеяться над его младенческой дикцией, а потом и сами стали говорить, как он, исковерканными словами, коротенькими, неуклюжими фразами. И они, возможно, и вовсе разучились бы правильно говорить, если бы 27 июля не открылся наконец пансионат для сирот заслуженных лиц германской расы под гордым названием «Виввергейм».

На торжественное открытие понаехало из Мюнхена множество важных особ, в том числе несколько высших чинов американской военной администрации. Молебен служил один из самых блестящих прелатов Мюнхенской епархии. Все двадцать воспитанников «Виввергейма» были выстроены в четыре ряда и пели ангельскими голосами. Они были в новехонькой форме, придуманной для них самим господином фон Тэрахом. Хорстль стоял в заднем ряду, единственный двенадцатилетний среди девятнадцати девятилетних мальчиков. Он выделялся среди них ростом и чудовищным отсутствием слуха. К тому же он не знал ни одной молитвы. Но он, как мы уже знаем, обожал подпевать. Его густой и красивый альт то и дело выскакивал из слаженного хора, как мощный чертополох над грядкой с салатом.

Это было в высшей степени трогательно и непередаваемо смешно.

Дом под зеленой крышей после капитальной перестройки вонял олифой и паркетной мастикой. В дортуарах воспитанников ждали двадцать новехоньких коек, заправленных с суровым щегольством прусских кадетских корпусов. В классных комнатах застыли в полной боевой готовности батареи черных, отполированных до мраморного блеска парт. На стенах залегли на исходных позициях «изречения великих немцев». Девять отрядов цифр держали железное равнение на крупнокалиберной таблице умножения. Она подавляла своей достоверностью висевшую рядом с нею карту Германии. Эта карта шла в описи имущества «Виввергейма» под рубрикой «географические карты», что было большой натяжкой. Скорее ее можно было бы назвать игральной картой, одной из тех, что изготовлены были для обреченной на проигрыш азартной игры, в которой ставкой будет само существование немецкого народа.

Над парадным входом, поверх вывески с единственным словом черным по красному — «Виввергейм», горделиво высился щит с фамильным гербом баронов фон Виввер.

Геральдический черный орел, широко распахнув негустые зубчатые крылья, парил на серебристом фоне. В одной лапе он держал золотой меч, в другой — черную цепь. Вокруг щита узорчатой готической вязью было выведено: «Честь, беспощадность и послушание» — девиз четырнадцати поколений баронов фон Виввер.

Мы говорим «четырнадцати» потому, что единственный представитель пятнадцатого — барон Хорстль фон Виввер еще понятия не имел ни о своем родовом гербе, ни о своем родовом девизе, ни о том, что такое барон.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

О том, что происходило с Хорстлем фон Виввером с 27 июля пятьдесят третьего года, когда впервые открылись двери «Виввергейма», и по 27 июля шестьдесят пятого года, когда на мюнхенском стадионе Федеральных волчат состоялись международные состязания, приуроченные к двенадцатилетнему юбилею этого примечательного учебного заведения, придется рассказать более кратко и отрывочно, чем хотелось бы. Особенно о первых десяти годах. Потому что только немногое, касающееся этого периода, дошло до нас с полной достоверностью.

Доподлинно известно, например, что потребовалось около четырех лет, чтобы выкорчевать из памяти Хорстля все, связанное с детским домом «Генрих Гейне» и его обитателями. Поначалу осторожные, а потом все более и более прямые контрольные упоминания о фрау Бах, Каллемане, Бетти и других его давних воспитателях и друзьях уже к сентябрю пятьдесят седьмого года наталкивались на полное равнодушие юного барона фон Виввера.

Примерно столько же времени потребовалось, чтобы отучить Хорстля от того, что господин фон Тэрах называл «отвратительным плебейским демократизмом». Четыре года Хорстлю вдалбливали в голову, что он не кто-нибудь, а барон фон Виввер; что он не только единственный знатный, но и самый богатый из всех, кто пребывает в «Виввергейме», что он хозяин и «Виввергейма», и «Виввердорфа», в котором «Виввергейм» расположен, и еще одного большого имения (к сожалению, в Восточной Пруссии), и двух больших фабрик, и уймы ценнейших акций самых могущественных монополий и т. д. и т. п.

У Хорстля не хватало жизненного опыта, чтобы понять, что такое богатство, знатное происхождение, собственность, тем более акции. Но, что он почему-то не такой как все, а единственный, имеющий право на всяческие поблажки, до него в конце концов все-таки дошло.

Хуже было с исправлением дефектов его речи. «Центр Брока» — тот самый участок задней части третьей лобной извилины левого полушария головного мозга, который ведает речевыми движениями, упорно и успешно отбивал все атаки и хитрые обходные маневры, предпринимавшиеся лучшими врачами-дефектологами Мюнхена, Бонна и Франкфурта-на-Майне.

Да и самый словарный фонд рос у Хорстля удручающе медленно: всего сто сорок три новых слова за первые три года! Менее пятидесяти слов в год!

А без расширения активного и пассивного словарного запаса не мог нормально расти и уровень его умственного развития. Получался своеобразный заколдованный круг. И так продолжалось, пока в «Виввергейме» не ввели военного обучения.

Помогло то совершенно не предусмотренное дефектологией обстоятельство, что военные команды произносятся нараспев. Преподавателю военных дисциплин (впоследствии также и помощнику воспитателя) господину Фохту посчастливилось обнаружить, что Хорстль, совсем как заики, нараспев легко произносит слова, недоступные для него при обычном разговоре. А так как виввергеймовцы проходили военные предметы по программам для унтер-офицерских школ, то Хорстль, в буквальном смысле этого слова припеваючи, без особого труда выучил наизусть, и очень мило нараспев произносил все положенные по программе многочисленные команды, и уже к исходу четвертого года пребывания в «Виввергейме» свободно ориентировался во всем круге понятий, положенных западногерманскому унтер-офицеру запаса.

Таким образом, всего только спустя год после введения в программу «Виввергейма» военных дисциплин Хорстль пополнил свой словарный фонд четырьмястами сорока двумя военными словами и выражениями, включая такие абстрактные понятия, как «Германия в ее естественных границах», «раса господ», «уготованное возмездие», «германский порядок» и «божественное предназначение».

Приблизительно тогда же опыт господина Фохта был распространен и на преподавание других предметов. Заметно ускорился рост и общегражданского словарного фонда Хорстля, и все же юный барон заметно отставал от своих школьных товарищей.

Успели закончить курс и покинуть «Виввергейм» воспитанники первого набора. Их сменили девятнадцать новых мальчиков в возрасте десяти-одиннадцати лет, то есть того возраста, на котором Хорстль остановился в своем развитии.

Но он вскоре безнадежно отстал почти по всем гражданским предметам и от воспитанников второго набора. Пришлось выделить его из группы. С ним занимались отдельно, но с очень малым успехом.

Единственное, в чем он успел по-настоящему, кроме военной и политической подготовки,— это в искусстве прямохождения и, если допустим такой неологизм, прямобегания.

2

Мы позволили себе несколькими строками выше упомянуть об известных достижениях Хорстля в политической подготовке. Нам хотелось бы, чтобы читатель почувствовал всю условность этой формулировки. Точнее было бы, пожалуй, назвать это политической дрессировкой...

3

Раза два в неделю фон Тэрах наезжал из Мюнхена, чтобы повидаться с фрау Урсулой и заодно поинтересоваться, как обстоят дела в «Виввергейме». Его дружба с баронессой давно уже перестала быть тайной для всех, кто хоть в какой-то степени интересовался личной жизнью одного из влиятельнейших политических деятелей Мюнхена. Теперь они оба не скрывали, что их брак — дело решенное. Поговаривали даже, что Хорстль — незаконный сын фон Тэраха, но это, конечно, было досадным преувеличением. Гейнц фон Тэрах был всегда и при всех обстоятельствах в высшей степени осторожным человеком и никогда не терял над собой контроля.

В тот вечер он с удовольствием и с пользой для дела присутствовал на киносеансе для воспитанников.

Показывали «Восхождение на Голгофу» — фильм о подвигах и страданиях в сибирском плену храбрых, великодушных, рыцарски благородных и глубоко несчастных пленных эсэсовцев.

Трудно перечислить, сколько подобных кинокартин показывали виввергеймовцам, но каждый раз воспитанники идеально реагировали на них. Вот и сейчас кой у кого подозрительно покраснели веки, и это с удовлетворением отметил фон Тэрах, лишь только зажгли свет.

— Друзья мои,— обратился фон Тэрах к воспитанникам,— могу ли я попросить вас задержаться ненадолго? Мне хотелось бы вас кой о чем расспросить.

Он взял у помощника воспитателя список воспитанников.

— Ну, вот хотя бы для начала Гуго Дица.

Гуго Диц встал.

— Скажи нам, Гуго, кто твой отец? Чем он занимается?

— Мой отец был гауптштурмфюрером войск СС, господин фон Тэрах.

— Был?! — притворно удивился фон Тэрах, который тщательно, никому не препоручая, сам отбирал кандидатов в «Виввергейм».— Разве он умер?

— Мой отец убит в тысяча девятьсот сорок третьем году в России. Его убили партизаны.

— Это ужасно, мой друг. Ну, а твой отец кто, Фриц Мейснер?

— Мой отец был гебитскомиссаром в Польше, господин фон Тэрах.

— Тоже был? Он давно умер, бедный Фрицль?

— Поляки его повесили в сорок пятом году. Русские его поймали и передали полякам, а поляки его повесили.

— Бедный страдалец! Теперь я позволю себе задать тот же вопрос Вильгельму Ахенбаху.

— Мой отец был унтерштурмфюрером СС.— Мальчик произнес чин своего отца с некоторым смущением. Ему было неудобно, что у его отца был такой маленький чин.— Он был еще совсем молодой, когда его убили русские военнопленные. Он служил в охране Освенцимского лагеря, и они его убили, когда взбунтовались.

Оказалось, что и у остальных воспитанников отцы погибли или от рук партизан, или по приговорам военных судов в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Югославии.

Хорстль сидел потрясенный: до него впервые дошло, что все его товарищи осиротели по вине врагов Германии, потому что одно дело — смотреть в кино русские, польские и всякие иные славянско-коммунистические зверства, а совсем иное — видеть тут же, в своем доме, совсем рядышком живых, всамделишных мальчиков, которые так непоправимо пострадали от партизан и коммунистов.

— Бедные мои друзья,— с чувством подвел итог фон Тэрах,— как видите, у всех нас один и тот же враг. Вам нужно хорошо учиться, закалять себя, чтобы, когда придет время, отомстить за своих храбрых отцов. А родина никогда не забудет ни их, ни вас, ни все остальные жертвы, которые она понесла от хищного и алчного врага...

Хорстль сидел потрясенный...

4

На другой день после демонстрации «Восхождения на Голгофу» воспитанники играли только в одну, совершенно новую игру: они ловили партизан и пристреливали их на месте холостыми выстрелами. Когда это им несколько приелось, Вилли Ахенбах предложил хоть одного партизана повесить. Это была прекрасная идея. Хорстль побежал доставать веревку, а мальчики тем временем раздобыли картонку, большими буквами изобразили на ней слово «ПАРТЕЗАН» и за два яблока наняли на эту неблагодарную роль маленького Фридля, сына прачки. Хорстль принес веревку, ее перекинули через сук первого попавшегося дерева и вздернули Фридля под крики: «Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!»

Но казни не получилось, потому что виввергеймовцы тогда еще не знали, что их отцы, вешая партизан, предварительно намыливали веревку.

Зато получился неслыханный скандал. На вопли несчастного Фридля набежал народ. Мальчика вынули из петли полузадохшегося, с посиневшим лицом. Пришлось дать отступного матери Фридля, чтобы она не доводила дела до суда. А воспитанникам объяснили, что партизан для повешения надо искать не в Виввердорфе, а на Востоке, когда дело дойдет наконец до войны. И, кроме того, им указали, что «партизан» пишется через «и», а не «е». Впрочем, последнее Хорстля не касалось. С грамотой у него обстояло из рук вон плохо.

Вот, пожалуй, и все, что мы можем сообщить достоверного о первых десяти годах пребывания Хорстля в «Виввергейме».

И вдруг в какие-нибудь полчаса он из предмета презрительного сострадания немногих знавших его людей превратился в предмет восхищения десятков и сотен тысяч.

Случилось это в Мюнхенском зоопарке теплым и ясным вечером 14 сентября тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В тот день впервые за все годы существования «Виввергейма» воспитанников решились свозить в зоопарк. Помощник воспитателя господин Фохт — человек положительный и волевой — был перед отбытием автобуса в Мюнхен снова и снова предупрежден: ни в коем случае не забираться с воспитанниками в тот сектор зоопарка, где расположены клетки с волками.

Волки, гиены, шакалы, енотовидные собаки, австралийские динго были размещены на отдаленной и обособленной площадке, так что господину Фохту не стоило труда выполнить это странное указание. К тому же воспитанников нельзя было оторвать от клеток с обезьянами, попугаями, львами, тиграми, медведями, особенно белыми, от вольеров, за которыми покачивались медлительные громады слонов. О волках никто и не вспомнил. Даже Хорстль.

Они весело расселись за столиками ресторана, чтобы подкрепиться перед тем, как отправиться в обратный путь, когда парк внезапно захлестнул будоражащий рев сигнальной сирены.

Виввергеймовцы, конечно, сразу высыпали из ре-

сторана, чтобы посмотреть, в чем дело. Толпа насмерть перепуганных мужчин, женщин и ребят с криками: «Волк!», «Волк!», «Спасайтесь! Из клетки выскочил волк!», «Вон он, вон он!» — ворвалась в спасительные двери ресторана и вмиг заполнила его до отказа. Когда послышался треск и грохот раздавленной мебели и разбитой посуды, хозяин приказал запереть двери.

Семнадцать виввергеймовцев из двадцати, к великому их удовольствию и к великому ужасу господина Фохта, остались по ту сторону дверей, на открытой террасе. И как раз в тот момент, когда за их спинами щелкнул дверной замок, вдали показался волк.



Они увидели, как там, у самого начала главной аллеи, его пытались окружить служащие зоопарка и как он вырвался, прибавил шагу и понесся прямо по аллее, между двумя тесными рядами клеток. Взбудораженные сиреной, ревом, гулом и топотом бегущей толпы, звери в этих клетках уткнулись мордами в зазоры между железными прутьями и выли, кричали, ревели, визжали.

А волк бежал среди этого адского гама, неслышно ступая сухими и могучими лапами, соскучившимися по дальним многочасовым переходам, матерый, поджарый, с поджатым хвостом и прижатыми к голове ушами, дикий, сильный, страшный, но, по существу, неопасный. Ему было не до людей. Он хотел только одного: чтобы ему не мешали убежать. Вот разве только если кто осмелится встать на его пути, тогда уж пусть пеняет на себя.

Все, кому не удалось забиться в ресторан, прижались к его стенам, поняв, что беглецу не до них.

И вдруг молодой человек, красивый, рослый, совершенно безоружный и никакого отношения к администрации зоопарка не имеющий, кинулся по пустынной аллее навстречу волку.

Это был безумный и бесцельный поступок, и он сам по себе заслуживал не столько восхищения, сколько порицания за ненужную игру со смертельной опасностью. Но была в нем одна подробность, превращавшая его из глуповатой трагедии в фарс: молодой человек мчался навстречу волку на четвереньках! Под его напряженно вытянутой вперед крепкой и загорелой шеей смешно и жалко болтался щегольской шелковый галстук. Пышная белокурая шевелюра при каждом его скачке взметалась, как конская грива.

Когда между ним и волком осталось всего несколько метров, свидетели этой невероятной сцены, даже бесстрашный господин Фохт, зажмурились, чтобы не видеть того ужасного и неотвратимого, что должно было свершиться мгновением позже.

Но они прождали в этом страшном напряжении секунду, две, три, но не услышали ни жуткого человеческого вопля, ни кровожадного волчьего рычания.

Тогда они решились, опасливо приоткрыли глаза и увидели такое, чего, конечно, не мог ожидать ни один человек на земле: огромный волк и отчаянный молодой человек, все еще остававшийся на четвереньках, дружелюбно и спокойно обнюхивали друг друга!

Волк лизнул вспотевший лоб молодого человека, а тот в ответ лизнул волка в морду, нет, не в морду, а прямо в его чуть приоткрытую пасть, из которой торчали могучие желтоватые клыки. Лизнул и пошел себе на четвереньках, и не оглядываясь, туда, где за дальним углом, на тесноватой площадке поблескивала толстыми железными прутьями опостылевшая клетка беглеца. А волк как ни в чем не бывало трусил рядом с ним, спокойно вслед за молодым человеком вошел в клетку, устроился поудобней на полу и стал урча уписывать свой ужин. А молодой человек некоторое время посидел возле него на корточках, затем погладил его по холке, нагнулся, лизнул в окровавленную морду и, не торопясь, вышел на волю. Дверь ему, на сей раз уже с должной осторожностью, приоткрыл, и тут же захлопнул, и запер не столько даже перепуганный, сколько пораженный служитель.

У клетки сгрудились сотни свидетелей этого небывалого события. Они встретили молодого человека восторженными криками и рукоплесканиями, но он не обратил на них никакого внимания. Он подошел к клетке, которую только что покинул, просунул перепачканную песком руку между прутьями ее решетки и на прощание снова погладил волка. А тот не откусил эту руку, и не зарычал, и не ощерил свои острые зубы. Волк прижался к ней щекой, ласково потерся о нее и продолжал рвать на части и глотать кровавое мясо, составлявшее его вечерний рацион.

Это был уже немолодой волк. Его привезли в зоопарк в сорок седьмом году. Возможно, он был отцом нескольких поколений сводных братьев барона Хорстля фон Виввера, когда тот еще не расстался со своей матерью-волчицей. Или бегал с ними когда-то в одной стае. Все может быть. Но скорее всего он просто почуял, что все поры безволосой шкуры прискакавшего ему навстречу существа крепко и прочно, на долгие-долгие годы пропахли неистребимым и милым волчьим запахом.

Откуда-то возникли репортеры, фотографы, ослепляя молодого человека вспышками своих «блицев», щелкали затворами фотокамер.

Но герой этого фантастического события, видимо, не понимал, чего от него хотят репортеры. Он бросал на них исподлобья диковатые и недружелюбные взгляды и молчал.

А господин Фохт понял, что лучше всего будет, если отвечать на их расспросы будет он, а не Хорстль.

— Его фамилия? — спросили господина Фохта репортеры.

— Барон Хорстль фон Виввер,— надменно ответил господин Фохт.

— О-о-о!.. Господин барон приезжий?

— Он проживает в родовом имении Виввердорф со своей матерью баронессой фон Виввер.

— А отец господика барона?

— Господин генерал-майор барон фон Виввер геройски погиб в сорок третьем году.

— О-о-о! Герой и сын героя!.. Это прекрасно!.. Это возвышенно!.. Это великолепно!.. Нельзя ли попросить господина барона сказать несколько слов читателям нашей газеты? Что-нибудь о великом будущем нации, рождающей такие плеяды героев?

— Вы же видите, господа, барон устал... После такого нечеловеческого усилия...

До самого автобуса за ними следовала восторженная толпа, а Хорстль шел странно-задумчивый, чему-то улыбающийся и ни на кого не обращал внимания. Даже на восхищенно шушукавшихся соучеников. Даже на господина Фохта, которого он все же несколько побаивался.

Молчаливый и задумчивый сидел он в автобусе, который вез теперь уже возбужденно галдевших мальчиков домой, в «Виввергейм». У двери на заднем сиденье трясся господин Фохт и мрачно прикидывал в уме, что ему будет от начальства за то, что он, испугавшись волка, не удержал проклятого барончика от его идиотского поступка. Подумать даже страшно, чем это могло завершиться!

И как господин Фохт ни прикидывал, все получалось плохо, в высшей степени плохо. Дело пахло увольнением с самой уничтожающей характеристикой.

Но вопреки его опасениям все обошлось более чем благополучно.

2

В ту ночь баронесса Урсула фон Виввер в последний раз легла спать несчастнейшей из матерей Западной Германии, чтобы на утро проснуться самой счастливой из матерей.

Были и среди предыдущих поколений фон Виввероз люди, которые приходили к своей славе после долгих лет прозябания. Были полуидиоты, прослывшие впоследствии умницами и государственными мужами, бездарные солдафоны, ставшие за выслугой лет высокопоставленными полководцами. Но ни один из предков Хорстля ни по отцовской, ни по материнской линии не совершил в несколько часов столь головокружительного взлета из полной и заслуженной безвестности до поистине всенародной славы. Еще вчера он был предметом тщательно скрываемого позора и отчаяния этой древней фамилии. Сегодня он стал ее гордостью, самой высокой ее вершиной, ее знаменем и славой. И не потому, что в нем внезапно открылись великолепные, ранее не замечавшиеся за ним доблести, а потому, что его удручающие и почти неисправимые недостатки вдруг обернулись вдохновляющими достоинствами.

В вечерних мюнхенских газетах, вышедших часа через два после удивительных событий в зоопарке, о поступке Хорстля рассказывалось с веселым репортерским изумлением, в утренних — с пафосом. В вечерних о нем еще говорилось в рубрике происшествий, а в утренних — в передовых статьях. В вечерних немало места было уделено критике порядков в зоопарке, при которых дикий зверь может выскочить из клетки прямо в толпу посетителей, в утренних — еще большее место посвящалось выводам, которые из поразительного по своему бесстрашию и продуманности поведения молодого барона фон Виввера должны были бы сделать для себя тысячи и тысячи немецких юношей, если они хотят быть достойными высокого звания Молодого Немца.

Бывалые читатели газет, бывалые радиослушатели и телезрители догадывались, что вокруг случая в зоопарке разворачивается нечто большее, чем обычная возня с сенсационным происшествием. Самые бывалые понимали, что из молодого барончика пытаются сфабриковать национального героя. Самые информированные догадывались, что это затея христианско-социального союза. Самые избранные знали, что она задумана и проводится в жизнь такими опытными, набившими руку дельцами, как Гейнц фон Тэрах и профессор Вайде.

Приведенные выше догадки делали честь их авторам. Этот блистательнейший из политических экспромтов был придуман и обдуман в главнейших его деталях Гейнцем фон Тэрахом, в то время, когда они с профессором Вайде вечером четырнадцатого сентября мчались в его могучей американской машине из Мюнхена в Виввердорф.

Они торопились. С минуты на минуту туда должны были нагрянуть репортеры с целой кучей деликатнейших вопросов. От того, кто и как на эти вопросы ответит, зависело, останется ли случай в зоопарке забавной, но преходящей сенсацией или ляжет первым камнем в фундамент новой и мощной организации национально-активной немецкой молодежи.

На всякий случай фон Тэрах еще до отъезда созвонился с Виввердорфом и предупредил, что скоро будет и чтобы без него никто ни в какие разговоры с газетчиками не вступал.

Их наехало так много, что пришлось устроить форменную пресс-конференцию. Она состоялась в полуосвещенном по случаю позднего времени актовом зале «Виввергейма».

3

Мы имеем возможность предложить вниманию наших читателей завизированный господином фон Тэрахом официальный отчет об этой пресс-конференции.

«Господин Гейнц фон Тэрах предлагает господам журналистам задавать вопросы. Как воспитатель и долголетний старший друг барона Хорстля фон Виввера, он может дать столь же исчерпывающие ответы, как если бы отвечал сам барон.

ВОПРОС. Нельзя ли было бы пригласить на наше собеседование молодого героя сегодняшних событий?

ОТВЕТ. К сожалению, это невозможно. Барон фон Виввер спит.

ВОПРОС. Так рано? Еще нет и половины двенадцатого.

ОТВЕТ. Барон Хорстль фон Виввер придерживается строжайшего распорядка дня. Что бы ни случилось, он ложится спать точно в двадцать два тридцать. Он полагает, что это долг каждого молодого немца. Без строжайшего соблюдения порядка дня не может быть здоровой немецкой молодежи. Без здоровой молодежи нет сильной армии. Без сильной армии мы беззащитны перед лицом коммунистической агрессии.

ВОПРОС. Можно ли рассчитывать на то, что барон согласится выступить завтра вечером перед нашими телезрителями?

ОТВЕТ. Бесспорно. Но я обязан предупредить вас, что барон чрезвычайно немногословен. Господин барон убежден, что многословие было одной из основных причин национальной катастрофы сорок пятого года. Он полагает, что не слова сейчас нужны, а дела, решительные, продуманные и всеобъемлющие. Вряд ли он скажет завтра телезрителям больше двух-трех слов. Но я уверен, что это будут слова, полные высокого смысла.

ВОПРОС. Можете ли вы, господин фон Тэрах, сказать что-нибудь о так называемом «Хорстльшпрахе»? (Смех в зале.) Ходят слухи, что этот так называемый язык, получивший распространение среди некоторой части нашей молодежи, имеет своей родиной «Виввергейм».

ОТВЕТ. Полагаю, что смех, который мы только что слышали, основан на недоразумении. (Голоса: «Слушайте, слушайте!») То, что получило в некоторых кругах нашей нации название Хорстльшпрахе, действительно ведет свое происхождение из учебного заведения, в стенах которого мы сейчас с вами находимся. Барон Хорстль фон Виввер впредь до окончательного и полного воссоединения германской нации не желает пользоваться тем немецким языком, который скомпрометирован, по его глубокому убеждению, коммунистами восточной зоны и прочими антинациональными элементами. Воспитанники первого набора нашего учебного заведения после окончания курса стали пропагандистами этого энергичного, лаконичного и антикоммунистического варианта немецкого языка среди широких кругов патриотической, активно настроенной молодежи. (Аплодисменты.)

ВОПРОС. Можно ли на основании дружелюбных отношений, установившихся сегодня между бароном и бежавшим из клетки волком, говорить об особых его симпатиях к этому отряду хищников?

ОТВЕТ. Безусловно. По мнению барона фон Виввера, равно как и по моему, многие черты характера и поведения волков глубоко симпатичны и достойны подражания. В связи с этим совсем не случайно, что для той организации немецкой молодежи, о которой мы с ним уже давно мечтаем, придумано название «Федеральные волчата». (Голоса: «Слушайте, слушайте!») Каковы же бесспорно привлекательные черты волчьего характера и поведения? Прежде всего то, что волки не терпят слабых. Даже в собственной стае. Любовь к слабым аморальна. Она демобилизует и расслабляет сильных — опору нации господ. Волки осторожны. Они умеют выжидать и выбрать момент прыжка, который должен решить бой с врагом. У них есть воля к власти, а без воли к власти нет победы. Волки скрытны и высокоорганизованны. Они легко проделывают большие переходы, ступая в след первому, главному волку, так что даже опытным охотникам трудно определить, сколько волков прошло по данному месту. И, наконец, нельзя забывать, что на войне не всегда можно рассчитывать на то, что полевая кухня окажется рядом. Национальная катастрофа сорок пятого года в какой-то части имела своей причиной и то, что наш солдат не был приучен питаться сырым мясом. Опыт волков и в этом отношении достоин внимательного и всестороннего изучения.

ВОПРОС. Не будете ли вы любезны сообщить, предпринято ли уже что-нибудь для претворения вашего с бароном замысла об учреждении организации «Федеральные волчата»? Когда вы предполагаете открыть запись в эту организацию?

ОТВЕТ. Вы видите в моем лице Волка-Председателя организационного комитета. Почетный председатель организационного комитета и Федеральный Волк — барон Хорстль фон Виввер. Член организационного комитета и Волк-Казначей — присутствующий здесь наш знаменитый ученый, гордость подлинно немецкой науки, профессор доктор Вернер Вайде. (Аплодисменты.) О записи в члены организации Национально-активной немецкой молодежи «Федеральные волчата» я буду иметь честь сообщить завтра вечером во время выступления в телевизионном центре. (Аплодисменты.)

ВОПРОС. Очевидцы сегодняшних событий в зоопарке высоко отзываются о скорости и непринужденности, с которой барон фон Виввер бежал на четвереньках навстречу волку. Является ли это результатом его особой тренировки?

ОТВЕТ. Да, является. Барон Хорстль фон Виввер полагает, что значительный процент наших жертв в прошлых и особенно последней войне был следствием неприноровленности наших солдат к перебежкам на четвереньках под огнем противника. Нет сомнения, что тренировка в беге на четвереньках сильно повысит боеспособность нашей армии и благотворно скажется на размерах наших потерь в будущих боях против врагов германской нации и христианского гуманизма.

ВОПРОС. Позволено ли мне будет от имени собравшихся здесь журналистов пожелать вам, господин фон Тэрах, вам, господин профессор, и нашему отважному молодому барону успехов в создании организации «Федеральные волчата»? (Аплодисменты.)

ОТВЕТ. Благодарю вас, господа, за внимание. Спокойной ночи».

4

Почти весь день пятнадцатого сентября фон Тэрах и профессор Вайде провели в Виввергейме, натаскивая Хорстля к вечернему выступлению по телевидению. Задача стояла перед ними фантастической трудности: за несколько часов, оставшихся до выступления, ему предстояло выполнить свою двухнедельную норму — выучить пять новых слов! От этого зависело слишком многое, чтобы можно было позволить себе опустить руки. И нельзя сказать, чтобы и сам Хорстль не старался. Он очень старался.

Фон Тэрах на этот предмет придумал мотивчик песенки. Они запели ее вдвоем с профессором, Хорстль с удовольствием подхватил, и они пели ее втроем вплоть до самого их отбытия в Мюнхен с коротеньким перерывом на обед, пели вместе с Хорстлем, пока он переодевался для выступления, дружно и во все горло распевали всю дорогу до самого подъезда телевизионного центра. Это было мучительно, нелепо, а со стороны глядя, невероятно смешно. Шофер чуть не лопнул, удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Но цель была достигнута и закреплена: к моменту прибытия в телестудию Хорстль знал свою речь назубок.

Передача прошла наилучшим образом. Ведущий представил зрителям всех трех членов организацион-

ного комитета вновь учреждаемой активно-патриотической молодежной организации «Федеральные волчата». Волк-Президент, господин фон Тэрах, ответил на все вопросы ведущего. Потом ведущий высказал несколько соображений в похвалу немногословности отважного молодого барона фон Виввера, отметил высокие мотивы, побудившие молодого героя вчерашнего незабываемого события выражаться так экономно, и попросил его сказать несколько слов тем, кто сейчас расположился в ожидании его речи у экранов своих телевизоров.

Хорстль откашлялся и полупропел в микрофон:

— Геймания, пйоснись для новой славы!

Коротко и трогательно. Эффект был потрясающий.

На этом выступление организаторов «Федеральных волчат» закончилось, и студия стала передавать военные марши.

5

Идея создания организации «Федеральные волчата» была очень тепло встречена в самых высших сферах: обильные взносы общественных организаций и частные пожертвования подвели под нее вполне достаточную финансовую базу. В первую же неделю возникли организационные комитеты во всех столицах земель и крупнейших городах Федеральной республики. К концу сентября число членов организации «Федеральные волчата» перевалило за сорок пять тысяч и продолжало расти.

В начале октября для волчат была придумана и утверждена форма одежды — парадная и повседневная (она была родной сестрой формы «Гитлерюгенда») и значок — юноша на четвереньках. Были выпущены и расклеены во всех более или менее значительных населенных пунктах вербовочные плакаты с портретом Федерального Волка — «Белокурого зверя», знаменитого барона Хорстля фон Виввера.

Разработали, утвердили и опубликовали для всеобщего сведения коротенький и доступный пониманию самого неразвитого молодца уставчик:

«Федеральные волчата» — внеполитическая организация активной немецкой молодежи.

Членом организации «Федеральные волчата» может быть каждый активно настроенный молодой немец, не имеющий физических недостатков и годный в дальнейшем к несению военной службы.

Организации «Федеральных волчат» строятся по территориальному признаку и разделяются на стаи — сельские, городские, окружные, земельные.

Во главе всереспубликанской организации стоит Совет Федеральной Стаи в составе трех человек: Волка-Президента, Федерального Волка и Волка-Казначея.

Железная дисциплина — основа всей жизни «Федеральных волчат».

«Федеральные волчата» не занимаются политикой.

Единственная цель члена стаи «Федеральных волчат» — готовиться к тому, чтобы прийти во всеоружии физической и нравственной закалки ко «Дню Великого Испытания».

После десяти лет существования в качестве частного учебного заведения «Виввергейм» получил наконец официальную задачу: отныне ему предстояло стать фабрикой инструкторов для местных и земельных стай «Федеральных волчат».

Две самые длинные и прямые аллеи в Виввердорфском парке были переоборудованы в гаревые дорожки для тренировки будущих инструкторов по бегу на четвереньках.

Виднейшие спринтеры и стайеры страны помогли выработать первые, пока что ориентировочные нормативы для будущих соревнований.

Коллеги профессора Вайде, работавшие во время минувшей войны над важнейшими проблемами питания на людском материале Освенцима, Майданека и Треблинки, любезно консультировали при разработке методики приучения «Федеральных волчат» к скоростному потреблению сырого мяса.

Рекомендовалось начинать с мясного фарша, слегка поперченного и перемешанного с мелконарезанным репчатым луком. Постепенно доводить количество перца и лука до минимума, одновременно укрупняя гранулы мяса с доведением их к концу первого семестра до кусочков размером спичечного коробка. Параллельно рекомендовалось вести практические занятия по раздиранию больших порций сырого мяса (сначала телятины, потом баранины и, наконец, говядины) на возможно более мелкие куски.

Чтобы желудок на первых этапах тренировки безотказно справлялся с сырым мясом, были спешно изобретены безвредные для организма и приятные на вкус капли, которые надлежало принимать за пятнадцать минут до приема мяса внутрь, постепенно сводя дозировку и частоту потребления капель до нуля.

Серьезнейшее внимание придавалось Советом Федеральной Стаи и тренировке в «КВТ», как в целях краткости называлась оригинальная и в высшей степени жизнерадостная спортивная игра «Кнопка во Тьме».

Это было состязание на ловкость, скорость и быстроту ориентации в совершенно темном помещении, неизменно вызывавшее непринужденное веселье и среди его участников и среди зрителей.

Надо было вбежать в абсолютно темное помещение, как можно быстрее разыскать на одной из его стен кнопку и легонько ее нажать. Тогда на наружном табло возникали цифры, обозначающие время, показанное данным участником, а на ближайшего из предыдущих участников, показавших худшее время, обрушивалось ведро холодной воды. Оркестр исполнял при этом сначала песенку «Лорелея» на слова неизвестного автора и сразу вслед за нею песенку на слова известного автора «Ах, мой милый Аугустин, Аугустин, Аугустин». Можно было помереть со смеху.

Бег на четвереньках и скоростное поедание сырого мяса — мясоборье и «КВТ» — были официально утверждены как новые виды национального немецкого спорта с ежегодными «соревнованиями» и присвоением по каждому из них звания чемпиона республики, федеральной земли, округа и города.

В мае тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года до Виввердорфа докатились тревожные вести, что в Бонне, Мюнхене, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне объявились серьезные претенденты на призовые республиканские места по бегу на четвереньках. Хорстлю следовало подтянуться. Отныне он все свободное время использовал для тренировки и поднимался с четверенек на ноги только для классных занятий, приема пищи, участия в собраниях земельных стай и в заседаниях Совета Федеральной Стаи.

Что до фрау Урсулы, то она получала сверхполную компенсацию за долгие годы материнского горя. Правда, Хорстль все еще дичился ее и никакой нежности к ней не проявлял, да, видимо, и не испытывал. Но зато он стал самым знаменитым молодым человеком Федеральной республики. Он был красив. Четко национально красив. Его уже не раз

называли в газетах, журналах, и не только благожелательных к движению «Федеральных волчат»,— «Белокурой бестией». Фотографии фрау Урсулы вместе с Хорстлем и персональные, мелькали в разных изданиях. Милый Гейнц становился все более частым гостем Виввердорфа. Она была так счастлива, что даже вспомнила о покойном муже: как жаль, что и он не может насладиться блистательной судьбой их сына! Сотни тысяч молодых немцев с жаром и стоя, пели как гимн песню об ее сыне Хорстле фон Виввере, о его подвиге, о его замечательных патриотических достоинствах. Они клялись в этой песне быть такими, как ее Хорстль, чтобы в случае чего беззаветно умереть за старую, в довоенных границах, родину и за новый, в границах Федеральной республики, христианский гуманизм. И горе было тем, кто не вставал, когда волчата пели эту песню: от бега на четвереньках мышцы рук развиваются, как ни при каком другом виде спорта.

Можно себе поэтому представить, какая буря возмущения поднялась в стране, когда газета «Рейнское утро» вдруг вышла с «шапкой» на всю первую полосу:

«ВАС НЕ ТРЕВОЖИТ ТАКОЕ СОВПАДЕНИЕ? ПЕСНЯ ПРО ХОРСТА ВИВВЕРА И ПЕСНЯ ПРО ХОРСТА ВЕССЕЛЯ — ДУХОВНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ!».

Целые полосы в национально мыслящих газетах и журналах были заполнены резолюциями протеста и письмами оскорбленных патриотов. «Федеральные волчата» старших возрастов нанесли визит вежливости редакции «Рейнского утра», разнесли в пух и прах ее помещение и намяли бока засевшим в ней еврейско-коммунистическим прихвостням.

Господин Гейнц фон Тэрах, который был не только один из руководителей христианско-социального союза и Волком-Президентом «Федеральных волчат», но и председателем «Федерального комитета по защите граждан от нападок левой печати», добился того, чтобы зарвавшуюся газету основательно оштрафовали и обязали публично признать, что между «Федеральными волчатами» и пресловутой Гитлерюгенд разница существует.

На другой же день после решения суда «Рейнское утро» публично признала, что между двумя этими организациями разница существует. «Шапка» на первой полосе так и говорила:

«МЕЖДУ «ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВОЛЧАТАМИ» И ГИТЛЕРЮГЕНДОМ РАЗНИЦА СУЩЕСТВУЕТ. ТАКАЯ ЖЕ, КАК МЕЖДУ БЕГЕМОТОМ И ГИППОПОТАМОМ».

Газету снова оштрафовали. На сей раз на еще большую сумму. Но штраф в первый же месяц с лихвой окупился за счет резко возросшего спроса на «Рейнское утро»... Тогда господин фон Тэрах добился, чтобы газету закрыли.

6

За отличные успехи в учебе и достойную поощрения дисциплину виввергеймовцев весной шестьдесят третьего года, на пасхальные каникулы, отправили в Западный Берлин.

Их повезли туда американцы в просторном и удобном автобусе, не чета их виввергеймовскому. За ними следом в двух других автобусах веселились и всю дорогу орали песни делегации «Галльских волчат», которые с охотой отзывались на кличку саланчики, и судетских, и перемещенных волчат.

У здания рейхстага их встретили треском барабанов и пронзительным свистом флейт западноберлинские «Фронтовые волчата». Их повели на высокие мостки, с которых можно было видеть, как по ту сторону Бранденбургских ворот томятся в большевистской неволе их порабощенные братья.

Сердце Хорстля разрывалось от сострадания к порабощенным и ненависти к поработителям. Он был готов немедленно перемахнуть через бетонную стену, чтобы вырвать своих братьев из хищных славянско-коммунистических лап. Но он был дисциплинированным волком. Он крепко усвоил, что без команды нельзя. Он знал, что, когда пробьет уготованный час, будет дана команда.

На помосте был установлен мощный репродуктор, и каждый из виввергеймовцев, судетских и перемещенных волчат получил возможность обратиться с призывом к тем, кто страдал по ту сторону стены, и с угрозами тем, кто заставлял их страдать.

Хорстль, когда до него дошла очередь, крикнул во всю мощь своих легких: «Геймания, пйоснись!» Но в ответ оттуда, из-за Бранденбургских ворот, из невидимого репродуктора чей-то молодой бас очень спокойно, не повышая голоса, на чистейшем берлинском диалекте посоветовал задрипанным нацистам убраться подобру-поздорову к чертовой бабушке.

Так отвечать лицам, которые хотят их спасти от неволи! Это было непонятно, возмутительно и ужасно. Но Хорстль уже был подготовлен к подобному ответу: чего ждать от немцев, продавшихся русским. Ну, что ж, он будет ждать часа, когда прозвучит долгожданная команда. Настоящий немец должен уметь держать себя в руках.

После обеда в теплый и ясный предзакатный час начались товарищеские соревнования волчат в условиях, приближенных к фронтовым.

Под щелканье фотоаппаратов и треск кино- и телевизионных камер они в полной выкладке, на четвереньках, с винтовками в зубах побежали по мостовой вдоль бетонной стены, отгораживающей от них Восточный Берлин. Против каждого контрольно-пропускного пункта они рассыпались в цепь и открывали по нему беглый огонь, к великому их сожалению, покуда только холостыми патронами. Поначалу Хорстлю было немного не по себе оттого, что он стрелял по своим же, по немцам. Но молодые люди, стоявшие по ту сторону проходных ворот, только смеялись им в лицо и выкрикивали такие слова, которые показывали, что они окончательно погибли для Великой Германии и что, когда придет желанный час освобождения, их надо будет не жалеть, а уничтожать без пощады.

Виввергеймовцы выиграли по всем видам бега на четвереньках, включая пробег по канализационным трубам. Это был очень важный вид бега, потому что он приближался к бегу по подземным ходам. Правящий бургомистр Западного Берлина придавал ему особое значение, так как в Восточный Берлин проникнуть для активных действий можно было только по специально вырытым подземным лазейкам. Победа в этом виде бега виввергеймовцев была немалым ударом по самолюбию западноберлинских волчат, но они показали себя справедливыми соперниками и первыми поздравили своих гостей с победой.

В заключение в одном из старых кварталов были проведены в высшей степени эффектные соревнования по внезапной стрельбе из-за угла. Победителями на этот раз оказались «Саланчики», понабившие себе руку в командах ОАС. Они оставили далеко позади себя по сумме очков всех остальных участников соревнований, и это означало, что и «Федеральным волчатам», и перемещенным, и судетским, и даже западноберлинским надо еще очень и очень работать, пока они освоят этот насущнейший вид стрельбы по быстро движущимся целям.



Потом в клубе «фронтовых волчат» состоялся ужин с участием взрослых и очень солидных господ. Один из них сказал: «Мы никогда не признаем границы по Одеру — Нейсе!» Ему долго хлопали. Другой говорил о «воссоединении в условиях свободы» и призывал волчат быть готовыми освободить все, что будет приказано. Ему хлопали еще дольше.

Но когда выступил Знаменитый Молодой Немец барон Хорстль фон Виввер и произнес перед микрофоном телекамеры «Геймания, пйоснись!» и «Войчата выпойнят свой долг!», стены зала чуть не обрушились от рукоплесканий: с таким чуаством, с такой страстью, с такой глубокой верой произнес он эти слова.

В Виввердорфе в гостиной у телевизора рыдала от счастья и гордости за своего сына фрау Урсула. В высшей степени удовлетворены были его речью и господин Гейнц фон Тэрах и профессор Вайде.

Правда, не все в Федеральной республике были довольны этой краткой, как выстрел, речью, но таких было меньшинство, и господин фон Тэрах со спокойным сердцем сбрасывал их со счета.

С точки зрения воспитательной вылазка виввергеймовцев в Западный Берлин прошла вполне благополучно.

Господин фон Тэрах был удовлетворен: воспитание Хорста фон Виввера продвигалось вперед семимильными шагами.

7

Как-то майским вечером того же года Хорстль в сопровождении нескольких своих поклонников возвращался со слета Городской стаи.

Немного не доходя Старой пинакотеки, они почувствовали сильную жажду и завернули в ближайшую пивную.

Сказать по совести, Хорстль никак не мог привыкнуть к пиву, хотя он и очень старался. Он предпочел бы ему лимонную воду, оранжад или кока-колу, но он твердо знал, что если ты настоящий немец,— пей пиво и наслаждайся. Он с отвращением потягивал горьковатую пенистую влагу, и в нем постепенно нарастала злость. После первой кружки ему вдруг припомнилась поездка в Западный Берлин, спокойный басок, пославший его из репродуктора к чертовой бабушке, после второй — коварные горбоносые и курчавые, а также курносые и бородатые жестокие комиссары, которые во всех кинофильмах так мучили несчастных и благородных страдальцев за Германию.

К этому времени его злость перебродила в потребность немедленно набить морду хоть одному из отрицательных персонажей этих фильмов.

Красивые глаза Хорстля сузились, как у кошки, которая учуяла мышиную возню. Он неторопливо и придирчиво переводил их с одного столика на другой в пьяной уверенности, что врага Немецкой Идеи, если хорошенько поискать, можно найти, и не выходя из пивной. И он вскоре нашел. И не одного, а целых трех. Они шушукались за столиком в дальнем углу. Боже мой, что за носы у них были! Будто прямо с карикатур «Зольдатен Цайтунг» — горбатые, хищные, мясистые. Они были смуглы, эти люди, словно их специально окунали в бочку с коричневой краской. У них были черные глаза и черные волосы. Правда, один из них, длинный и тонкий, как жердь,

был ко всему прочему и плешив, как колено. Но жалкие остатки его шевелюры были цвета воронова крыла. У другого гладкая, прилизанная бриллиантином прическа блестела, как голенище черного лакового сапога. У третьего, толстенького и самого старого из них, волосы курчавились, как у пасхального барашка.

Хорстль, не говоря ни слова, встал с кружкой пива в руке.

Вслед за ним, ничего не спрашивая, поднялся его верный адъютант Конрад Штудент, парень, удивительно сочетавший в себе немалую начитанность, природный ум и умение разбираться в людях со слепой и беспрекословной преданностью Хорстлю.

Они молча и сумрачно направились к угловому столику. Хорстль остановился возле плешивого. Рядом застыл с кружкой в вытянутой руке Штудент. Плешивый, увлеченный разговором на неизвестном Хорстлю языке, не сразу обратил внимание на Хорстля, который, покачиваясь на ослабевших ногах, уставился на его горбатый нос с тупым упорством ненавидящего пьяного человека.

— Чем могу служить? — спросил тот наконец на дурном немецком языке, бросив на Хорстля пренебрежительный взгляд непьющего и очень занятого человека, к которому в самый неподходящий момент вдруг пристал пьяный.

Хорстль продолжал молча смотреть на него немигающими, ненавидящими глазами.

— Я вас спрашиваю, что вам угодно? — раздраженно повторил плешивый и пересел на другой стул, подальше от Хорстля.

Хорстль молча сделал шаг и снова остановился около него. Сделал шаг и Штудент.

— Пожалуйста, молодой человек,— примирительно проговорил курчавый толстячок,— оставьте нас в покое. Не заставляйте нас прибегнуть к помощи кельнера.

— Уйод! — пропел ему с ненавистью Хорстль.— Ты уйод, и ты, и ты тозе!.. Вы все тьи — уйоды!..

— Что он говорит, этот пьяный скот? — осведомился курчавый у плешивого.— Вы не знаете, что значит по-немецки это слово «уйод»? — Он спросил по-французски.

Конрад Штудент знал французский с детских лет. Он им разъяснил:

— Мой начальник сказал, что вы все трое уроды.

И тут же с негодованием обратил внимание Хорстля на то, что его обозвали пьяным скотом.

— Бей уйодов! — крикнул Хорстль и выплеснул всю кружку прямо в лицо курчавому. Штудент ради такого святого дела тоже не пожалел своего пива, после чего в ход пошли кулаки. Со звоном посыпались на пол кружки, тарелки, столовые приборы. Загрохотали падающие табуретки. Улюлюкая, с воплями: «Бей коммунистов! Зигхайль!» — примчались на помощь Хорстлю и Штуденту остальные волчата. Иностранцы сопротивлялись изо всех сил. Но что они могли поделать, трое немолодых, изрядно уставших мужчин, против стольких натренированных и алчущих боя парней, которые наконец дорвались до живых агентов мирового коммунизма!

Кельнер, не торопясь, отправился за шуцманом. Шуцман, не торопясь, прибыл к месту происшествия, не торопясь, остановился в дверях, не торопясь, издали изучил побоище и вмешался только тогда, когда плешивый и толстяк уже валялись на полу под сенью опрокинутого столика, в луже пива, изрядно сдобренного кровью.

Кельнер, не торопясь, принес воды, шуцман, не торопясь, плеснул ею в лицо плешивому и курчавому, без особой радости удостоверился, что они приходят в себя, и чуть не умер от удара, когда плешивый, с ненавистью глянув на собравшихся в кружок посмеивавшихся зрителей, на очень дурном немецком языке потребовал, чтобы его немедленно соединили с господином Гейнцем фон Тэрахом...

— Ты хоть понял, что ты со своими идиотами наделал? — сказал фон Тэрах Хорстлю, когда они часом позже покинули помещение главного правления ХСС.— Вы позволили себе избить трех вернейших и нужнейших наших заграничных друзей.

У Хорстля на лбу белел огромный пластырь. Под глазом темнел не менее внушительных размеров фонарь.

Правая щека припухла, как при флюсе.

— Они меня хотели убить... У, я им там! Я им так там!..

— Но какое ты право имеешь обижаться на них? Ведь вы двоих чуть не отправили на тот свет. И ведь это вы на них напали, а не они на вас...

— У-у-у, я им там! — мрачно стоял Хорстль на своем.

До него никак не доходило, что он не имеет права обижаться на то, что ему надавали тумаков в порядке самообороны.

Фон Тэраха поначалу смешила, а потом стала злить вопиющая нелогичность его будущего пасынка. Но ему и в голову не приходило, что Хорстль в частном и мелком случае с этой идиотской дракой в пивной, в сущности, только придерживается той же самой логики, которой в отношении куда более кровавых и разрушительных событий придерживаются и сам господин фон Тэрах, и профессор Вайде, и тысячи других фон тэрахов и вайде.

— Все! — сказал фон Тэрах, чувствуя, что вот-вот окончательно потеряет контроль над собой.— Домой ты сегодня не поедешь. Переночуешь у меня, а завтра мы с тобой поедем извиняться. Понятно тебе?

— Понятно,— сказал Хорстль.

— И, заметь, твое счастье, что ты знаменитый Хорстль фон Виввер. В противном случае дело кончилось бы для тебя и твоих идиотов очень и очень плохо. И даже я ничего не смог бы поделать.

Впервые с момента начала драки Хорстль ухмыльнулся. Приятно все-таки, черт возьми, когда ты знаменитый Хорстль фон Виввер! Очень и очень приятно!

«А все-таки,— думал он, покачиваясь на мягком сиденье машины фон Тэраха,— славно мы поколотили этих чернявых господинчиков!.. Вообще, оказывается, ужасно приятно заехать разок-другой человеку в физиономию. Особенно если он не может дать тебе сдачи...»

Теперь перейдем к тому, что произошло на новеньком мюнхенском стадионе «Федеральных волчат» двадцать седьмого июля тысяча девятьсот шестьдесят пятого года на Первых международных состязаниях по спортивному комплексу «Федеральных волчат». Они были приурочены, как мы уже имели случай сказать, к двенадцатой годовщине Виввергейма.

Кроме «Федеральных волчат», в них приняли участие команды родственных зарубежных молодежных организаций: «Галльских волчат» — они же «Саланчики» (Франция), «Беби койот», «Гризли чилдрен» и «Волчата на страже конституции» (США), «Судетские волчата» (ФРГ), «Удавчики» (остров Тайвань), «Перемещенные волчата» (ФРГ, Франция, США, Австралия, Южно-Африканская Республика, Италия, Перу, Коста-Рика, Канада, остров Реюньон).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ровно в пять часов дня по среднеевропейскому времени грянул сводный оркестр воинских частей мюнхенского гарнизона, и по гаревой дорожке стадиона «Федеральных волчат» мимо набитых зрителями трибун, мимо правительственной ложи, блиставшей орденами, золотым шитьем, дамскими нарядами и алой кардинальской мантией папского нунция, продефилировали со своими знаменами команды — участницы соревнований.

Господин фон Тэрах от имени Совета Федеральной Стаи и федеральный министр по общегерманским вопросам произнесли краткие речи, которые были выслушаны с уважением, но не без нетерпения.

Стадион ждал выступления Хорстля фон Виввера — Федерального Волка, Белокурой бестии, Молчаливого Зверя.

Однако после министра слово для приветствия от братской французской организации РАК (Радикальная Антикоммунистическая Корпорация) получил господин Марсель де ля Фук.

Хорстля передернуло от ненависти и жажды мести: это был Плешивый, тот самый, который тогда, в пивной, чуть не убил его табуреткой. Ничего, он еще сведет с ним счеты, с этим чернявым французиком!.. Не сейчас. Сейчас еще не настало время. Этот Плешивый и его компания, оказывается, чем-то полезны делу Великой Германии. Это объяснил Хорстлю его верный оруженосец и наперсник Конрад Штудент, который здорово разбирается в высокой политике, то есть, в том, кому и когда бить морду.

А пока Хорстль брал себя в руки, мосье де ля Фук взял в свои руки стадион.

— Я не сомневаюсь,— сказал он, заговорщически улыбнувшись,— что у слабонервных название нашей корпорации может вызвать кое-какие неприятные медицинские ассоциации. Но, во-первых, наше движение, как и наше время, не для слабонервных. (Аплодисменты.) Во-вторых, я считаю своим долгом особо подчеркнуть, что мы будем счастливы, когда наш РАК разъест до конца трижды ненавистный, гнилой и богопротивный организм демократии. (Аплодисменты.) В-третьих, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что наш РАК имеет нечто общее и с классом беспозвоночных. Это общее — то, что мы, как и эти членистоногие, можем стать красными только в том единственном и маловероятном случае, если нас живьем опустят в кипяток. (Смех, аплодисменты.) Но никак не раньше. (Аплодисменты.)

— Мне хотелось бы,— продолжал мосье де ля Фук,— в нескольких словах воздать должное традиционной германо-французской дружбе, нашедшей свое ярчайшее выражение в войнах 1870—1871, 1914—1918 и 1939—1945 годов. Я горд при мысли, что именно пять миллиардов французских франков, выплаченных нами Германии в виде контрибуции, помогли Германии вырасти в могущественного и неподкупного стража и ревнителя германо-французской дружбы и взаимопонимания. И разве не глубоко символично и трогательно, что первыми французскими словами, которые заучивали германские военные перед тем, как отправиться погулять по парижским вечерним Большим бульварам, были нежные слова «Же ву зэм», то есть «Я вас люблю»? Они отправлялись на Большие бульвары с шоколадом в карманах и словами любви на устах, и наши женщины, не все, конечно, но те, которые видят свое призвание в том, чтобы не оставлять без любви тех, кто ее ищет, разве не встречали они первые французские слова немецких военных первыми заученными ими немецкими словами?.. Эти немецкие слова были: «Майн зюссер», то есть «Мой сладкий»! (Аплодисменты. Задумчиво-мечтательные улыбки на лицах многих уже немолодых господ в правительственной ложе и на трибунах.)

Да будет мне поэтому в заключение позволено, дорогие мои друзья и соратники по борьбе с нашим общим врагом — коммунизмом, левым радикализмом и безбожием, обратиться к вам с проверенными на опыте трех войн двумя словами: «Майн зюссер!» (Шлет трибунам воздушные поцелуи. Гром аплодисментов. Стадион ревет, скандируя: «Же ву зэм!.. Же ву зэм!.. Же ву зэм!..»)

2

Хорстль стоял у микрофона, высокий, статный, широкоплечий, белокурый, подлинно немецкий красавец, новый Зигфрид из новых Нибелунгов, и спокойно ждал, пока стадион успокоится. А ему, Хорстлю, чего волноваться? К овациям он уже давно привык. Речь свою он знал назубок.

— Одер — Нейсе — не, не! — энергично пропел он в микрофон и решительно тряхнул своей прекрасной шевелюрой. Грянула овация. Он подождал, пока стадион затихнет, и продолжал:— Бойба, бойба!.. (Овация.) Мы им показим! (Овация.) Мы им всем показим! (Буря оваций.) Вейните нам нашу Укьяину!.. (Гром оваций.) Наши Сутеты! (Грохот оваций.) Нашу Пуссию!.. Геймания, пйоснись!.. (Ураган оваций.)

Хорстль прижал руку к сердцу:— Байшая честь!.. Аткьиваю сойевнования! (Грохот, шквал, шторм, ураган, тайфун оваций.)

Щелкали аппараты фоторепортеров, стрекотали камеры кинооператоров, сосредоточенно колдовали у своих громоздких ящиков телеоператоры.

Хорстль фон Виввер и капитан американской команды «Беби койот» Джерри Покитнайф подняли флаг соревнований.

Первыми на поле вышли спринтеры. Их ноги были обуты в обычные шиповки, а руки — в «лапки» — эластичные перчатки из черной замши, оснащенные по числу пальцев пятью острыми шипами.

По команде «На старт!» спринтеры становились, как и в нормальных состязаниях, на одно колено, упираясь ступнями о стартовые колодки, а когтями «лапок» — о землю. Словом, совсем как при беге на одних ногах, только руки для лучшего рывка были выдвинуты значительно дальше вперед.

В ста метрах белела на фоне дорожки шелковая ленточка финиша. Чтобы на нее удобно было набежать головой или задом (что зависело от длины ног спринтера), она была приспущена с высоты груди до семидесяти сантиметров.

Грянул выстрел, и вперед рванулась первая шестерка спринтеров.

3

Вплоть до последнего забега в стометровке лидировал Фернандо Полицаенко («Перемещенные волчата», Перу) с прекрасным временем — 10,8 секунды.

Но в последней четверке бежал Хорстль и показал рекордную цифру — 10,1.

В беге на четыреста метров лучшее время — 49,1 секунды — показал Фридль Гаазе из «Федеральных волчат». Но побежал Хорстль фон Виввер, и бедному Фридлю пришлось удовлетвориться вторым местом и серебряной медалью. Результат Хорстля был на грани фантастики — 40,3 секунды!

Он вышел на первое место и в беге на все остальные дистанции, и в беге с препятствиями, и в эстафетном беге 4 × 100. Доставило истинно эстетическое наслаждение видеть, как он легко, изящно, ни на йоту не замедляя бега, перехватил зубами эстафету из уст Фридля Гаазе.

Это был день его сплошных триумфов: все золотые медали по бегу на четвереньках и все золотые медали по мясоборью, то есть скоростному поеданию сырого мяса. Абсолютный чемпион мира по двум новейшим и труднейшим видам национального спорта! Хорстль был приятно взволнован. Он хлопал по плечу осаждавших его поздравителей, одарял окружающих ослепительными улыбками.

Чтобы подготовить поле к соревнованиям по КВТ, намечался перерыв. Но штаб соревнований обратился к зрителям с просьбой не расходиться. Хозяева поля — «Федеральные волчата» приготовили сюрприз. Сейчас будет впервые показан широкой публике новый вид игры, разработанной спортивной коллегией «Федеральных волчат».

Оркестр грянул «Ах, мой милый Аугустин, Аугустин, Аугустин». На поле вышли ветераны движения «Федеральных волчат» — команда виввергеймовцев. Двадцать парней как на подбор. Во главе с Федеральным Волком.

Прозвучала команда: «На старт!».

Виввергеймовцы опустились на четвереньки и замерли в напряженной готовности.

И вдруг откуда ни возьмись на поле оказалась словно сошедшая со старинных карикатур пожилая толстуха, краснолицая, в старомодной соломенной шляпке, еле державшейся на ее жидкой огненно-рыжей прическе, в ярко-оранжевых чулках на тумбоподобных ногах, торчавших из-под множества юбок, как чудовищно толстые морковки. В довершение всего она была в мужских ботинках с ушками.

В руках у нее была древняя плетенная из ивовых прутьев корзина-чемодан с висячим замочком.

За толстухой побежали два шуцмана, чтобы убрать ее с поля. Испуганная их свистками, она стала с воплями и визгом метаться по обширному полю под хохот и свист зрителей. Пробегая неподалеку от застывших в положении «На старт!» виввергеймовцев, она обернулась, бросила на них кокетливый взгляд, споткнулась и грохнулась наземь. Под грохот и визг стадиона ее бесчисленные юбки задрались ей на голову, обнаружив обтянутый длинными панталонами зад. А корзинка отлетела в сторону, раскрылась, и из нее выбежали два десятка трехмесячных цыплят.

И вот тут только и лопнул стартовый выстрел, и виввергеймовцы стартовали... Они... кинулись в погоню за цыплятами.

Нет ничего забавней, чем наблюдать, как человек гоняется за юрким и быстроногим цыпленком. Его трудно поймать, даже имея свободные руки. Насколько же труднее было поймать его зубами, преследуя на четвереньках!

Стадион помирал от смеха. Некоторые дамы уже дошли до истерики.

Но вот стадион загремел аплодисментами: пойман первый цыпленок! И, конечно, поймал его не кто иной, как абсолютный чемпион соревнований барон Хорстль фон Виввер! Он прижал правой рукой к земле конвульсировавшего цыпленка, у которого кровь хлестала из перекушенной шеи, победоносно оглядываясь по сторонам, с удовольствием выслушал рукоплескания, затем опустился на коленки и локти и стал рвать зубами еще трепещущее тело своей жертвы, рвать и пожирать вместе с перьями и внутренностями.

Теперь уже многие на трибунах падали в истерику от ужаса и отвращения, десятки и сотни людей возмущенно покинули трибуны, но тысячи молодых зрителей ревели от восторга, топали ногами, кричали «Браво!», и, пока он уплетал цыпленка, они успели исполнить песню о Хорстле фон Виввере и давно уже публично не исполнявшуюся песню «Сегодня в наших руках Германия, а завтра в них будет весь мир».

Хорстль успел сожрать без остатка несчастного цыпленка, а все остальные были еще живы и невредимы. Они ускользали из рук (точнее, изо ртов) гонявшихся за ними виввергеймовцев. Над беднягами смеялись, улюлюкали, советовали сходить в ресторан и заказать себе куриный шницель или сбегать на рынок, в птичьи ряды.

Тогда распаленный аплодисментами и болевший за честь своей команды Хорстль фон Виввер показал высокий класс товарищества: он стал гоняться за другим цыпленком.

Его движения в отличие от движений его сотоварищей были точны, стремительны, целесообразны Вскоре он уже чуть не был у цели: его челюсти щелкнули в нескольких сантиметрах от шеи очумевшего от ужаса цыпленка, и тогда тот из последних сил вспорхнул, перелетел через барьер и побежал вверх по третьему проходу Восточной трибуны.

У самого края прохода, в шестнадцатом ряду, сидела пожилая, весьма скромно одетая женщина и девушка чуть старше двадцати, белокурая, с добрым, решительным и умным лицом.

Они с отвращением и горечью смотрели на перелезавшего через барьер Хорстля фон Виввера, на его азартные глаза, дико блестевшие на измазанном свежей кровью, загорелом и красивом лице.

— Боже, они его снова сделали волком! — сказала девушка, уткнувшись в плечо своей соседки.—До чего они его довели!..

— Ничего, Бетти, ничего,— тихо успокаивала ее пожилая женщина.— Есть в Германии и другая, совсем другая молодежь!.. Да и с Хорстлем мы еще постараемся повидаться... Если он нас узнает, он еще не погиб... Мы за него еще повоюем!..

Тем временем цыпленок увернулся от Хорстля и сейчас мчался вниз по проходу. Вот он метнулся в сторону и притаился, судорожно разевая свой клювик в спасительном полумраке между ног зрителей в пятнадцатом ряду.

Сейчас внимание всего стадиона было обращено на третий проход Восточной трибуны. Тысячи биноклей, телеобъективы фото- и киноаппаратов и телевизионных камер следили за тем, как в узком ущелье прохода то показывалась, то снова исчезала широкая спина скачущего на четвереньках барона Хорстля фон Виввера.

А с ним тем временем приключилась небольшая

авария. Трудно бежать на четвереньках вниз по круто спускающейся бетонной дорожке. Когда цыпленок неожиданно свернул в пятнадцатый ряд, Хорстль пытался затормозить, но не удержался, поскользнулся и грохнулся лбом о пыльный бетон.

Пожилая женщина из шестнадцатого ряда испуганно вскрикнула:

— Хорстль!.. Бедняжка ты мой!..

Хорстль фон Виввер медленно приподнялся на четвереньки. Теперь уже и лоб у него был в крови, не цыплячьей, а собственной. Он повернул голову в сторону вскрикнувшей женщины, которая крепко обняла молодую спутницу и прижала ее лицом к своей груди, чтобы та не видела ужасное лицо Федерального Волка. А Федеральный Волк вдруг глубоко втянул в свои широкие ноздри воздух, сделал несколько неуверенных шагов, приблизился вплотную к фрау Бах (потому что это, как читатель уже, конечно, догадался, была наша старая знакомая) и стал медленно обнюхивать ее и Бетти. Его лицо стало задумчивым и кротким, на лбу возникли напряженные морщинки. Он словно пытался вспомнить что-то очень далекое и важное, ускользавшее от него, как этот проклятый цыпленок. А фрау Бах смотрела на него с тоской и ужасом. И все это торопливо снимал возникший неведомо откуда кинооператор, и фрау Бах, заметив кинооператора, поспешно закрыла лицо руками, в чем трудно было усмотреть что-нибудь подозрительное, потому что Хорст фон Виввер являл собой в тот момент зрелище не для слабонервных.

Глаза у Хорстля фон Виввера становились тем временем все более и более задумчивыми, и он, быть может, вспомнил бы в конце концов и детский дом «Генрих Гейне», и фрау Бах, и сидевшую рядом с нею старинную свою подружку Бетти, но в это время услужливые зрители, которые по-другому, но тоже вполне искренне сочувствовали барону Хорстлю фон Вивверу, соединенными усилиями вытолкали цыпленка на дорожку. Несчастный куренок кинулся прямо вниз по проходу, снова перелетел барьер и, устало размахивая крылышками, заметался по полю.

И едва только он снова оказался в пределах видимости, Хорстля фон Виввера передернуло в яростном охотничьем азарте. Он метнулся вниз по дорожке, легко, на полном скаку, вызвав восхищенные рукоплескания, перемахнул на четвереньках через барьер. Догнал он цыпленка уже у противоположной, Западной трибуны, щелкнул челюстями с такой силой, что почти начисто откусил ему головку со смешным, детским еще гребешком и сожрал в рекордное даже для него самого время.

Фрау Бах и Бетти уже не было на стадионе, когда господин Гейнц фон Тэрах под руку подвел Хорстля фон Виввера к микрофону, чтобы абсолютный чемпион соревнований смог сказать несколько слов.

Лицо Хорстлю фон Вивверу Волк-Президент успел на ходу вытереть. Оно было теперь сравнительно чисто, но очень бледно. Глаза сверкали на нем, как ярко-синие пластмассовые пуговицы.

Хорстль фон Виввер устало поднялся на трибуну, откинул пышную белокурую прядь, свисавшую на залитый йодом лоб, глубоко и прерывисто вздохнул и начал прямо с середины своей твердо вызубренной речи:

— Войчата кьянутся... Мы им показим!... Мы им всем показим!..

Стадион вздрогнул от рукоплесканий.

И тогда произошло нечто совершенно страшное и непредвиденное ни волчатами, ни счастливой фрау Урсулой, ни знаменитым профессором доктором Вернером Вайде, ни даже самим господином Гейнцем фон Тэрахом, Волком-Президентом, человеком, который всегда все понимал и предусматривал.

Барон Хорстль фон Виввер — Головной Волк — Молчаливый Зверь — Белокурая Бестия — Великий Молодой Немец вдруг обхватил обеими своими непомерно широкими ладонями холодную металлическую стойку микрофона и завыл.

Это был дикий, скорее волчий, нежели человеческий, вой. Он начинался очень низкими и хриплыми звуками, похожими на тяжкий и неизбывный стон, и стремительно взвивался до дребезжащего, пронзительного визга непостижимой высоты и резкости.

В нем звучала такая страшная тоска, и он был в то же время так невыразимо дик, что даже «Беби койоты», затянувшие было во славу абсолютного чемпиона песенку «Он чертовски славный парень», замолкли на полуслове.

Стадион оцепенел.

— Выключите микрофоны! — истерически закричал господин фон Тэрах, который все-таки первым из всех на трибуне пришел в себя.— Немедленно выключите все микрофоны!.. И телекамеру! Сию же секунду!..

И он в бешенстве, что уж совсем не было на него похоже, затопал ногами.

Но пока приходили в себя кино- радио- и телеоператоры, пока до них наконец дошло, чего от них требует господин фон Тэрах, вой абсолютного чемпиона Первых международных соревнований по спортивному комплексу «Федеральных волчат» несся, наводя ужас и смятение, над всей территорией Федеральной республики, врывался в пивные, где у телевизоров сгрудились болельщики бега на четвереньках, в казармы, в закрытые учебные заведения, в квартиры миллионов и миллионов немецких и зарубежных телезрителей и радиослушателей...

Аркадий Адамов

Повесть

Лишний досмотр

Рисунки П. Пинкисевича.

ГЛАВА III

Люсины знакомства

По утрам Михаил Григорьевич Филин никогда не спешил на работу, как другие. И отнюдь не потому, что разрешал себе опаздывать,— этого он не разрешал никому и ни при каких обстоятельствах. Михаил Григорьевич никогда не спешил, ибо все утренние дела его были рассчитаны по минутам, и выполнял он их с точностью хорошо отрегулированного механизма.

Вообще не было в Бресте более точного и пунктуального человека, чем Михаил Григорьевич, и он сам втайне немало гордился этим. Правда, его сотрудники за глаза говорили, что нет, мол, в Бресте большего формалиста и въедливого педанта, чем Филин, и эти разговоры, конечно, доходили до него. Но Михаил Григорьевич был убежден, что говорят это люди из зависти и еще потому, что сами разболтаны, что им в тягость любой порядок и дисциплина. А порядок, и притом неукоснительный, «железный» порядок, являлся, по мнению Михаила Григорьевича, основой основ в любом деле.

Требования подлинной чуткости к людям, недопустимость бездушного администрирования, необходимость разъяснять подчиненным суть распоряжений и приказов — все это Михаил Григорьевич считал излишним либерализмом. Он втайне не сомневался, что в конце концов «все вернется на свои места», как было в те годы, когда он начинал свою «карьеру». Михаил Григорьевич был уверен, что, не случись крутого поворота в жизни страны после XX съезда партии, он бы достиг куда большего, чем теперь, и уже по крайней мере был бы начальником таможни в Бресте, а скорей всего — на ответственной работе в Москве, в Главном управлении.

Продолжение. Начало см. в № 3 за 1963 год.

Поэтому под внешней сдержанностью и спокойствием копилось у Филина глубокое недовольство ходом событий и желчное, злорадное ожидание провалов и неудач. Лишь в редких случаях и всегда неожиданно для него самого прорывалось наружу это недовольство, и тогда Михаил Григорьевич бледнел, по привычке ожидая самого худшего, а когда убеждался, что никто не обращает на него внимания, то и в этом склонен был усматривать еще одно доказательство «либерализма».

Надо сказать, что в этих его настроениях и взглядах не последнюю роль сыграла его мать, Мария Адольфовна, величественная старуха в пенсне, с хриплым, властным басом и царственной осанкой. Если Филину было лет за сорок, то его матери никак не могло быть меньше шестидесяти да еще скорей всего со значительным «хвостиком». Но Мария Адольфовна вопреки элементарной логике всегда находила случай намекнуть, что ей лишь недавно исполнилось пятьдесят.

Ни величественная внешность, ни годы не мешали Марии Адольфовне живо интересоваться туалетами, а также всеми публичными зрелищами, которые только мог ей предоставить такой в общем небольшой городок, как Брест. Но главное, что занимало ее,— это быт и личная жизнь всех сотрудников таможни. Тут она могла часами копаться в подробностях и с жаром обсуждать все крупные и мелкие поступки, все сказанные слова и невысказанные мысли.

Мария Адольфовна в принципе не доверяла людям и относилась с величайшим подозрением к их поступкам, особенно поступкам благородным и бескорыстным. Вопреки сыну, который мыслил шире и масштабнее, она была убеждена, что только интриги помешали его продвижению по службе. И Мария Адольфовна считала своим долгом разоблачать эти интриги и приобретать для сына сторонников из числа его сослуживцев.

В связи с этим последним обстоятельством вполне понятно, что появление трех новых сотрудников да еще из Москвы не могло не взволновать Марию Адольфовну и не возбудить в ней самый острый интерес. Прежде всего она заставила сына рассказать все, что он о них знает, под конец сделав ему выговор за то, что знает он так мало. А спустя некоторое время все трое получили приглашение.

— Матушка моя горит желанием сегодня с вами познакомиться,— сказал Андрею Филин, усмехаясь.— А с вашей супругой особенно.

— Спасибо, но...— Андрей смущенно развел руками.— В общем-то, как Люся...

— Ничего, ничего, договоритесь. Значит, ждем.

Нельзя сказать, чтобы Андрей был рад этому приглашению. Никакой симпатии он к Филину не чувствовал и дружбы с ним не искал, но и обижать отказом тоже оснований не было. Да и потом... Ну, все-таки они с Люсей хоть куда-то сходят вместе.

Люся отнеслась к приглашению с полным безразличием, но пойти согласилась.

— Весь вечер развлекать какую-то старую грымзу? Безумно интересно. Еще кто-нибудь будет?

— Не знаю.

— Впрочем, все равно.

Люся лениво потянулась и не без удовольствия взглянула на себя в зеркало. Потом она деловито уселась перед ним и занялась туалетом.

Андрей тоже переоделся. При этом он с грустью подметил одну деталь: раньше, когда они собирались в гости, Люся непременно интересовалась, какую Андрей надевает рубашку, какой галстук, и долго перед уходом вертела его во все стороны. «Мой муж,— говорила она с шутливой серьезностью,— должен быть самым красивым на этом вечере». Сегодня Люся уже не интересовалась, как выглядит Андрей.

Вообще Андрей заметил, что все в доме стало теперь безразлично Люсе. Приходя с работы, она только спрашивала няню, накормлен ли и здоров ли Вовка.

Как раньше мечтала Люся о собственной квартире и в мечтах своих уже любила и украшала ее! Но вот они получили квартиру, отдельную двухкомнатную квартиру — предел Люсиных желаний. И что же? Заброшено, не убрано и голо сейчас в этой квартире. Она выглядит так неуютно, что Андрей даже стыдится позвать к себе кого-нибудь. А Люсе все безразлично. Она словно и не живет в этой квартире.

Такой ко всему равнодушной Люся была между двумя очередными ссорами, и Андрей уже приучился радоваться даже этому. В эти моменты затишья все менялось в доме. Вовка становился ласковым, смирным, а с Люсей даже каким-то заискивающим. Эти последние нотки больно ранили Андрея. Он понимал: Вовка боится, ужасно боится, что мама опять начнет сердиться и плакать, ругать его или папу.

Вот и сейчас, провожая их в гости, Вовка увивался вокруг, заглядывая в глаза то отцу, то матери, и с умильным выражением на круглом, веснушчатом личике все время спрашивал:

— Сладкое кушать, да? А баловаться, нет?

Андрей погладил его по золотистой головке и ответил:

— Да, да, будем кушать сладкое. И тебе принесем. А баловаться не будем. И ты не балуйся. Хорошо?

Вовка охотно принимал его ласку, но Андрей видел, как нетерпеливо и тревожно ждет он того же от Люси, и стоило ей только сделать движение, чтобы проститься с сыном, как Вовка радостно бросился к ней и обнял ручонками ее колени. Люся растроганно поцеловала его в затылок, потом вдруг закусила губу и, резко повернувшись, направилась к двери.

Они шли по заснеженному и тихому бульвару Мицкевича, в этот час так неправдоподобно, театрально красивому, что Люся вдруг остановилась и, оглядевшись, молча вздохнула.

Но вот бульвар кончился, и вскоре они подошли к дому, где жили многие работники таможни. Там на третьем этаже была квартира Жгутина, а на четвертом жил Филин.

Дверь гостям открыл сам Михаил Григорьевич.

— Опаздываете, товарищи. Нехорошо,— мягко выговаривал он, помогая Люсе снять пальто.

В столовой Мария Адольфовна угощала чаем Семена. Тот деликатно размешивал ложечкой сахар и вел светский разговор. В глазах его была тоска, но он улыбался.

Мария Адольфовна в красивом строгом платье, склонив голову набок и поблескивая стеклами пенсне, внимательно слушала болтовню гостя.

Семен рассказывал ей все, что ему было известно о Шмелевых, как они хорошо и дружно жили, учась в институте, и как, по-видимому, плохо живут сейчас. Когда из передней донеслись знакомые голоса, Семен выразительно посмотрел снизу вверх на Марию Адольфовну и сказал:

— Ну, а остальное потом, как вы понимаете.

Та кивнула головой и, с трудом высвободив из кресла свое грузное тело, поплыла навстречу гостям.

Увидев Люсю, Мария Адольфовна театрально всплеснула руками.

— Душенька, до чего же вы хороша! Прелесть! Идите сюда, идите. Я хочу на вас кое-что примерить.

И она увлекла Люсю в свою комнату.

— Ну, а мы, мужчины, пока побудем одни. Тоже неплохо,— сказал Филин, неумело разливая по чашкам чай.

Разговор зашел о недавних задержаниях с мелкой контрабандой.

— Пораспускали! — желчно говорил Филин.— Подумаешь, изъяли что-то. Очень этим испугаешь!

— Но ведь если контрабанда обнаружизается не в первый раз или в больших размерах, то...— начал было Андрей, осторожно отхлебывая горячий, ароматный чай.

Филин перебил его и тоном, каким диктуют приказы на поле боя, изрек:

— Без всяких «если»! За малейшее нарушение закона должно следовать наказание. Чтобы никому не было повадно. Никому!

— Все надо делать с головой,— заметил Андрей,— иначе таких дров наломаешь...

Семен многозначительно усмехнулся.

— Поверь мне, тут лучше переборщить, чем недоборщить.

— Ничего себе принципы! — Андрей возмущенно пожал плечами и прибавил: — Так, кажется, делали во времена культа Сталина.

Филин усмехнулся.

— Сколько вам было лет, когда умер Сталин?

— Четырнадцать,— подумав, ответил Андрей.

— Ну вот. И не беритесь судить. А я все видел сам. Конечно, были перехлесты, нарушения. И, конечно, в итоге...

— Итог не в них, а в том, что вопреки им народ наш сделал! — мрачно заметил Андрей.

Филин поспешно поднял палец.

— Именно это я и хотел сказать. Но, друзья мои, политика есть политика. Надо быть верным нашим взглядам в главном, в основном, а в частностях можно иногда и отступать от некоторых принципов.

— Так можно далеко зайти,— упрямо покачал головой Андрей.

— А что же, по-вашему, либерализмом зарабатывать себе дешевый авторитет?

«Эге, кажется, он перешел к тем самым частностям,— подумал Андрей,— на Жгутина, небось, намекает».

Семен Буланый тоже понял намек и теперь лихорадочно соображал, как себя повести. Он давно уже заметил, что начальство не очень-то ладит между собой. Значит, следовало решить, чью сторону взять. Сейчас сила на стороне Жгутина: начальник он. И в этом смысле он, Буланый, не совершил ошибки, начав ухаживать за Светланой. Но Жгутин стар, мягок и не очень ловок. Поэтому будущее может оказаться за Филиным. Это даже скорее всего... И вообще, Семену нравилась суровость и решительность Филина, прямолинейная ясность его взглядов. А вдруг он, Семен, все-таки ошибается? Еще в Москве, в Главном управлении, он попытался выяснить, кого там больше жалуют, больше ценят. Но толком ничего не узнал. Что же теперь делать? Все-таки сейчас надо дать понять Филину, что он, Буланый, на его стороне.

— Мне кажется, вы правы, Михаил Григорьевич,— осторожно заметил он.— Насчет либерализма...

В это время в комнате Марии Адольфовны шел совсем иной разговор.

На тахте, в кресле, на туалетном столике и спинках стульев лежали вещи. Здесь были яркие заграничные отрезы, нейлоновые кофточки, причудливых расцветок вязаные свитеры, чулки, белье.

Мария Адольфовна, наслаждаясь впечатлением, которое произвели ее вещи на гостью, говорила без умолку. И в категорическом тоне ее слышались интонации сына.

— Я вам должна сказать, душенька: люблю заграничные вещи! Как видите, это все заграница.

— Но такие прелестные вещи нелегко купить,— досадливо ответила Люся.— Воображаю, как приходится гоняться за ними.

Мария Адольфовна сделала рукой отстраняющий жест.

— Никаких «гоняться»! И какие тут могут быть магазины, что вы! Только через знакомых. Есть у меня одна женщина.

— Тогда это стоит безумных денег.

— Во-первых, если уж покупать, то такое, чего вы не рискуете встретить на каждой. Иначе вещь сразу пропадает. Во-вторых, чтобы она вам шла. Тут уж слушайте меня, я вам плохо не посоветую. Ну, и в-третьих, такой молодой, очаровательной женщине, как вы, просто необходимо быть одетой по самой последней и именно европейской моде. И если ваш муж...— Мария Адольфовна сделала рассчитанную паузу.

— Ах, мой муж!..— досадливо махнула рукой Люся.

— Что именно?

Люся, спохватившись, неопределенно ответила:

— Просто он другого мнения.

Но от Марии Адольфовны, если ей хотелось что-то узнать, не так-то просто было отделаться общими словами. Она со скорбным лицом приблизилась к Люсе и нежно прижала ее голову к своей груди.

— Дитя мое, я же все вижу. Если ваш муж не понимает ваших запросов, не понимает, какое ему достолось сокровище...

Тут Мария Адольфовна чуть-чуть переборщила, и растрогавшейся было Люсе вдруг стало скучно от тягучих и неискренних слов. Люся неожиданно уловила за ними только одно чувство — жгучее любопытство.

— Спасибо вам, спасибо! — пробормотала она, высвобождаясь из объятий Марии Адольфовны, и, решив переменить разговор, спросила: — Так вы мне порекомендуете ту женщину?

— Какую женщину?

— Которая вам носит эти изумительные вещи.

— Ах, эту! Непременно. Ее зовут Полина Борисовна. Я просто пришлю ее к вам. Когда это удобней всего? Лучше, чтобы мужа не было дома. Сына, например, я тоже не ввожу в курс дела.

— Ну, хоть завтра утром, часов в одиннадцать.

— Чудесно! Значит, запомните: Полина Борисовна. Это форменная чародейка! Вы будете в восторге.

Мария Адольфовна легко примирилась с неудачей. В конце концов она все равно все узнает, в

этом она не сомневалась. И чем больше они сдружатся, тем скорее это произойдет.

И еще один расчет был у Марии Адольфовны, когда она решила сблизиться с Люсей. Через молодую женщину, вероятно, можно будет повлиять и на ее мужа, который пока, как видно, не очень был склонен стать союзником Филина.

Остаток вечера все провели за чайным столом, расхваливая ореховый торт, испеченный Марией Адольфовной, и мирно беседуя.

Когда гости ушли, Мария Адольфовна, убирая со стола, сказала:

— Она прелесть! Но я бы не хотела, Мика, чтобы у тебя была такая жена.

— С твоими взглядами,— раздраженно ответил из своей комнаты Филин,— я не знаю, будет ли у меня вообще какая-нибудь жена.

Мария Адольфовна обиженно поджала губы.

— Конечно, тебе не терпится закабалить меня.

— Ах, оставь, пожалуйста!

— Ну, хорошо, хорошо,— примирительно сказала Мария Адольфовна,— я знаю, что ты меня ценишь. А эта Люся все-таки прелесть.

— Чего нельзя сказать о ее муже. С этим человеком мне еще придется столкнуться.

— Значит, надо быть к этому готовым. Между прочим, у него, оказывается, здесь была одна интрижка.

— Вот как! С кем же?

— Это не имеет пока значения. Ты же знаешь, я не компрометирую женщин.

— О да!

В возгласе Филина прозвучала нескрываемая ирония.

— Это не все,— многозначительно заметила Мария Адольфовна, унося на кухню стопку грязной посуды.

Заинтересованный Филин в майке и пижамных брюках последовал за ней.

— Что же еще?

— А то, что человека, которого он на днях задержал с контрабандой, сегодня видели вместе с той самой женщиной.

— Кто видел?

— Это тоже пока не имеет значения.

Мария Адольфовна ужасно любила всякую таинственность, а в данном случае она к тому же считала полезным лишний раз дать понять сыну, как он беспомощен и непрактичен по сравнению с нею.

Филин, усмехнувшись, подошел к матери и нежно поцеловал ее в жирную, напудренную щеку.

— Ты, как всегда, гениальна! — весело сказал он.— Ай да Шмелев! Тут действительно есть над чем подумать.

Письмо пришло утром, когда Андрей еще брился в ванной. В зеркале он увидел, как распахнулась дверь за его спиной, увидел пылающее лицо Люси, ее дрожащие губы. В руках она держала распечатанное письмо.

— Любуйся! — крикнула она.— Вот мама пишет. Володя Федоров взял и отказался ехать в какую-то дыру! И вот добился, уехал в Англию! С женой! А ты? Ничтожество, вот кто ты!

— Что ты от меня хочешь? — еле сдерживаясь, чтобы не закричать в ответ, спросил Андрей.

— Ничего,— почти шепотом сказала Люся, поспешно входя в ванную и закрывая за собой дверь.— Больше я от тебя вообще ничего не хочу! Ты понял? Но я не позволю окончательно искалечить мне жизнь, мне и...— В этот момент за дверью послышался топот детских ног, и Люся докончила: — ...и моему сыну!

— Это, между прочим, и мой сын.

— Мама, это я! — раздался из-за двери Вовкин голосок.— А чего мне делать? А я больше каши не хочу!

— Сейчас, сынок, сейчас! — крикнула Люся и, снова понизив голос, зло сказала Андрею: — Я не хочу больше здесь жить и здесь работать. И мы с Вовкой отсюда уедем. Так и знай.

Не давая Андрею ответить, Люся выскочила из ванной. В дверях мелькнули ее пестрый халат, небрежно сколотые волосы, и Андрей остался один.

«Что ж, чем хуже, тем лучше,— стиснув зубы, подумал он.— По крайней мере все становится на свои места. Пусть уезжает. И пусть не думает, что я буду умолять ее остаться. Нет! Просто я знаю теперь ей настоящую цену».

Андрею казалось, что он рассуждает сейчас по-мужски — трудно, беспощадно и справедливо. Но в глубине души у него теплилась надежда, что Люся не может так поступить, что она при всем своем эгоизме и злой вздорности все же одумается. Ведь она же любит его, ведь она это чуть-чуть не сказала сегодня ночью, когда Андрей обнял ее. Правда, все-таки не сказала и вообще не ответила на его ласковые слова.

Он повернулся к зеркалу и стал торопливо добриваться. Он уже опаздывал.

Завтрак прошел в молчании. Только перед самым уходом Андрей, уже в дверях, холодно сказал:

— Ты все-таки подумай еще раз.

В ответ Люся запальчиво воскликнула:

— Все, что мне надо, я уже продумала!

Когда за Андреем захлопнулась дверь, Люся усталой походкой возвратилась в спальню и остановилась посреди комнаты, соображая, чем она собиралась заняться сейчас.

В этот момент у входной двери раздался звонок. Люся побежала открывать.

На пороге стояла худая, сутулая старуха, с остреньким личиком и черными бусинками-глазами. В руках она держала потертую черную сумку и еще одну, клеенчатую, на «молнии».

— К вам я,— сказала старушка, окинув Люсю быстрым, оценивающим взглядом.— Мария Адольфовна прислала.

Люся всплеснула руками.

— Ну, конечно! А я-то чуть не забыла! Проходите, пожалуйста. Вас, кажется, Полина Борисовна зовут?

— Именно.

Клепикова тщательно вытерла в прихожей ноги, сняла пальто, шляпку и, захватив обе сумки, прошла в комнату. «Не больно-то богато живут,— подумала она, оглядевшись.— Заработай тут. Ну и времена наступили, господи! Чтобы таможенным чиновникам контрабанду приносить! Да у них у самих ее, должно быть, вот так».— И она мысленно провела себе ладонью по горлу.

Тем временем Люся, усадив сына за игрушки и отослав няню на рынок, вернулась к Клепиковой и, сгорая от нетерпения, спросила:

— Что же у вас сейчас есть, Полина Борисовна? Я столько чудных вещей видела у Марии Адольфовны.

— Все есть, милая, все. А чего нет, то будет. Ну вот, к примеру, захватила я...



Клепикова вынула из клеенчатой сумки уложенные в прозрачные пакеты кофточки и мужские рубашки из нейлона, два отреза яркой и легкой ткани, дамскую сумку с красивым замком, несколько безделушек.

— Много с собой не принесешь, милая,— строго сказала Клепикова.— Ежели появится интерес, то милости прошу ко мне.

— Появится, Полина Борисовна, появится.

Люся с восхищением перебирала вещи на столе, а отрезы даже приложила к себе. Только мужские рубашки она равнодушно отложила в сторону.

«Ишь ты,— отметила про себя Клепикова.— Словно и нет супруга». Это навело ее на мысль, и она осторожно сказала:

— Ежели еще какая услуга понадобится, тоже милости прошу.

— Какая же еще? — удивилась Люся.

— Ну, мало ли какие у нашей сестры секреты вдруг появляются! Глядишь, какая помощь и нужна будет.

Люся смущенно улыбнулась.

— Что вы, Полина Борисовна!..

— А что? — строго переспросила ее Клепикова.— Вон вы какая хорошенькая да молоденькая. Только и жить сейчас. Ну, да вам за себя виднее.

Люсе были неприятны ее намеки, неприятна была и сама эта старуха, внешне такая чопорная и строгая, но, как видно, готовая на любые, самые грязные услуги. Тем не менее вещи, которые она предлагала, были так очаровательны, так изящны, что Люся не находила в себе силы отказаться от них. «Какое мне в конце концов до нее дело? — думала Люся.— Куплю, что мне надо, и все».

Истерзанная сомнениями и соблазнами, Люся после долгих колебаний отобрала наконец несколько вещей. Когда Клепикова назвала цену, Люся отметила про себя, что ждала услышать куда большую сумму. Пожалуй, даже если она купит еще столько же, придя к этой старухе домой, то и тогда Люся обойдется теми деньгами, что прислала ей недавно мама на обзаведение. Все равно никакого обзаведения не будет!

— Так я запишу ваш адрес, Полина Борисовна,— сказала Люся, когда Клепикова начала прятать в сумку оставшиеся вещи.

— Пиши, пиши, милая,— снисходительно проворчала та.— А то приходить мне сюда совсем не с руки. Это я уж так согласилась, для первого знакомства.

Когда Клепикова наконец ушла, Люся некоторое время еще стояла у зеркала, то надевая новые кофточки, то прикладывая к себе купленный отрез. Чудесно! Как идут ей все эти вещи! Это не только «ее цвета», у кофточек даже «ее фасоны», они как-то по-особенному украшают ее, подчеркивая одни линии, скрадывая другие.

В передней раздался звонок — это с рынка возвратилась няня. Открыв ей дверь, Люся посмотрела на часы. Боже мой, как бежит время! Ей уже пора на работу.

По дороге Люсе неожиданно пришла в голову мысль, от которой у нее даже холодок прошел по спине. Откуда у этой Полины Борисовны такие вещи? Что если... Ведь рядом граница!.. Да, да, что если это контрабанда? Какой ужас!.. Впрочем, что она паникует? Почему это обязательно контрабанда? Разве мало вещей привозят из-за границы открыто? Может быть, Полина Борисовна — просто заурядная спекулянтка? Даже скорей всего именно так. Конечно, и в этом случае покупать такие вещи нельзя, особенно работнику таможни. Но... Люся ведь все равно скоро уедет отсюда, и все забудется. Не такое уж это в конце концов преступление.

Так рассуждала Люся весь остаток пути от дома до работы. Когда за вторым мостом показался тонкий вокзальный шпиль, она окончательно убедила себя, что особенно не погрешит против своего долга, если никому ничего не скажет. Люся только решила про себя, что при первой же встрече с Полиной Борисовной постарается выведать, где та достает вещи.

И все же какое-то тайное беспокойство поселилось с того момента в душе у Люси.

В кабинете Жгутина у стола сидел тощий и прямой, как палка, иностранец. Пальто с широким бобровым воротником было небрежно расстегнуто, на жилистой шее под подбородком алел галстук-бабочка. Худое, надменное лицо его было бледно, тонкие синеватые губы кривились от злости.

— Мое удостоверение! — с сильным акцентом раздраженно произнес он, передвигая через стол Жгутину черную книжечку.— Не имеете права делать этот... этот дикий досмотр! Я пожалуюсь вашему министру иностранных дел. Я обедаю у него в субботу. Произвол! Иммунитет! Вам понятно это слово?

Жгутин спокойно, почти ласково кивнул головой.

— Слово это понятно, господин Хальфенберг. Но

что поделать, если ваш ранг иммунитетом не пользуется? Ведь вы помощник атташе, не так ли?

— Да, да!.. Но взаимность... Мы тоже можем... Наш канцлер очень щепетилен в вопросах престижа.

— Взаимность прежде всего,— снова любезно кивнул головой Жгутин и поднял палец.— Но и уважение законов страны пребывания.— Он с улыбкой развел руками.— Надо подчиниться, господин Хальфенберг. Да и стоит ли нам ссориться из-за досмотра? Ведь главное — это пиво, которое вы везете? Я вас правильно понял?



— Именно, — важно согласился помощник атташе. — Именно — пиво. Я надеюсь, что тут...

— Одну минуту,— остановил его Жгутин и кинул быстрый взгляд на стоявших в стороне Филина и Люсю, взгляд такой озорной, что Люся невольно улыбнулась. Но Филин не повел и бровью. Он жадно слушал разговор, боясь пропустить хоть слово. Пусть только Жгутин споткнется, отступит перед этим наглецом! Он, Филин, найдет способ сообщить об этом в Москву.

— Одну минуту,— повторил Жгутин.— Значит, вопрос о досмотре мы выяснили и перейдем к вопросу о пиве, не так ли?

— О да, да! К вопросу о пиве...

— Мы договорились, что у вас нет к нам претензий и вы готовы уважать наши законы.

— Да, да! Но пиво!..

— Пива везите сколько угодно, господин Хальфенберг! — дружелюбно воскликнул Жгутин.

Помощник атташе впервые позволил себе чуть-чуть улыбнуться.

— Да, но пошлины! Это же разорение!

— Это закон. И у вас тоже.

— О, закон! — Дипломат хитро прищурился и щелкнул пальцами.— Я его тоже знаю. Но это мой груз, адрес посольства.

Жгутин добродушно покачал головой.

— Но только в размерах личной потребности.

— Именно!

— Вы хотите сказать,— с подчеркнутой тревогой переспросил Жгутин,— что у вас лично такая потребность?

— Да, да!

— Четырнадцать тонн?!

— Ну, конечно.

— Господин Хальфенберг, из одного человеколюбия я не пропустил бы такое количество пива. А тут еще закон...

Бледное лицо иностранца начало медленно багроветь. Кулаком, затянутым в кожаную перчатку, он стукнул по колену и злобно крикнул:

— Если так!.. Я не подпишу больше ни одной бумаги в СССР!

Жгутин спокойно пожал плечами.

— Вас уволят с работы за бездеятельность.

— Варварство!

— Варварство — так много пить пива, да еще не платить пошлину за удовольствие.

Толстое и доброе лицо Жгутина как-то неуловимо изменилось, и появившееся на нем выражение непреклонности удивило Люсю. «Кажется, я еще плохо его знаю»,— подумала она.

В этот момент иностранец медленно поднялся со своего места, секунду подумал, потом важно протянул руку вставшему вслед за ним Жгутину.

— Привет, господин... э-э...

— Жгутин.

— ...господин Жгутин. Учтите. Только из личного расположения к вам я удовлетворяюсь вашим разъяснением. Я рад знакомству. Примите заверение в самом высоком уважении.— Неожиданно он ослепительно улыбнулся и спросил:— Ну, а что если я только семь тонн повезу в Москву, а? Кое-как обойдусь...

Жгутин весело рассмеялся.

— Без пошлины это невозможно, господин Хальфенберг! Никак невозможно.

— Да, да, закон? — Помощник атташе покачал головой.— Да, да, понятно. Что ж! На время придется умерить личные потребности, господин Жгутин!..

Он церемонно поклонился и вышел. Когда за ним закрылась дверь, Жгутин пыхтя вылез из-за стола и с усмешкой сказал:

— Международный конфликт из-за пива урегулирован. Каков фрукт, а? Думает, мы не знаем дипломатического статута такой персоны, как он.

— Уж очень вы с ним цацкались, — заметил Филин.— Попался бы он мне... Вот они, между прочим, заботятся о престиже.

— А мы, выходит, нет? — Жгутин недовольно посмотрел на своего заместителя.— Я полагаю так, Михаил Григорьевич. Если можно выполнить свой долг и при этом остаться в дружбе, то это самый лучший способ сохранить престиж. А ссорами, грубостью и обидами вы этого вообще не добьетесь.

— Красивые слова,—проворчал Филин.—А эти господа понимают только силу. И престиж — это прежде всего сознание своей силы.

Жгутин холодно ответил:

— Мы с вами не сговоримся по этому пункту. Так что оставим спор. У вас есть ко мне что-нибудь?

Филин подошел к столу, разложил на нем папку и вынул стопку бумаг.

— Конфликт со «Станкоимпортом». Мы уже на него третий акт составляем, его грузы восьмой месяц лежат в пакгаузах и на рампе Северной.

— Знаю. Что здесь нового?

— Конфликт дошел до заместителей министров. И наш требует общую сводку претензий.

— Ну и составили бы.

— Составили.— Филин протянул Жгутину одну из бумаг.— Второй день добиваюсь, чтобы вы подписали.

Жгутин насмешливо улыбнулся.

— А сами не решаетесь?

— Не моя обязанность.

— Ваша, ваша! Но вы почему-то решительны только в отдельных областях.

Люсе стало неудобно, и она сказала Жгутину:

— Федор Александрович, разрешите я к вам позже зайду. А то сейчас эрфуртский оформлять надо.

— Ах, да! — опомнился Жгутин.— Конечно, конечно!.. Мне тут надо было потолковать с вами... Ну, в другой раз...

Он был сейчас так не похож на того собранного, ироничного Жгутина, который был перед ней всего несколько минут назад, что Люся невольно улыбнулась. «Конечно, в этой работе бывают и очень сложные ситуации»,— призналась она себе.

Проходя по галерее, Люся увидела внизу, в таможенном зале, людей, теснившихся вдоль досмотрового стола, и своих сослуживцев в форменных шинелях, двигавшихся от одного пассажира к другому. И знакомое чувство раздражения и досады охватило ее.

Люся спустилась по крутой темноватой лестнице, вошла в зал и, протиснувшись сквозь толпу пассажиров, очутилась наконец внутри овала.

— Коля, ты только посмотри, какая девушка! — услышала она недалеко от себя чей-то взволнованный голос.— Ну, я погиб.

Люся не решилась взглянуть в ту сторону. Почти машинально она подписала чью-то «декларацию», при этом забыв задать обычные, такие скучные вопросы, и только лишь порозовевшие щеки и невольное движение руки, поправившей прядь волос на лбу, выдали ее. Люсе очень хотелось оглянуться, увидеть человека, который произнес те слова. Интересно, молодой он или старый, красивый или нет, офицер или штатский. Во всяком случае, голос у него приятный. Но Люся заставила себя идти все дальше и дальше, от одного пассажира к другому. «Нельзя оглядываться, нельзя, нельзя»,— говорила она себе.

Неожиданно совсем недалеко от Люси среди пассажиров произошло движение. Кто-то энергично протискивался к столу. Она заметила, как сдвинулись стоявшие там вещи и среди них появился еще чемодан. Большой, черный, он так неожиданно и властно растолкал своих соседей, так угрюмо воздвигся над ними, что Люся с каким-то даже испугом взглянула на него. «Вот так и в жизнь может вдруг ворваться что-то», — замирая, вдруг подумала она и, снова взглянув на чемодан, почему-то решила: «Он!» — и уже совсем неизвестно почему заволновалась.

Все ближе и ближе передвигалась Люся к таинственному чемодану, и, сердясь на себя и невольно стремясь отдалить встречу, она дольше, чем следовало, задерживалась около других пассажиров.

Но вот и черный чемодан. Люся подошла к нему и подняла глаза. За чемоданом стоял невысокий смуглый офицер. Совсем юное лицо его пылало румянцем, блестящие, цыганские глаза смотрели на Люсю с таким неподдельным восхищением, что она смущенно потупилась и заученно спросила:

— Ваша «декларация»?.. Письма везете?.. Оружие есть?.. Иностранная валюта?..

Он отвечал по-военному четко, не сводя с Люси восхищенных глаз.

Она подписала его «декларацию» и отошла. Но какое-то радостное, подмывающее чувство неожиданной власти над очень милым парнем, очень красивым и, как видно, совсем неглупым, еще долго согревало Люсю. Это чувство не давало ей вновь вернуться к тяжким, раздражающим мыслям о муже, о работе, о будущем. Иногда Люся, словно очнувшись, говорила себе: «Глупая я, глупая! Веду себя, как девчонка. А у меня уже сын скоро за девчонками ухаживать будет». И ей становилось смешно и приятно, когда она представляла себе своего Вовку, такого маленького и потешного, который еще совсем не скоро начнет ухаживать за девушками.

Нет, положительно Люсе было хорошо в эти минуты, так хорошо, как никогда за два месяца жизни в этом городе.

Незаметно придвинулся вечер. Зажглись величественные люстры в вокзальных залах, ярко вспыхнули фонари на перроне. Пришли вечерние поезда — московский, берлинский, магдебургский... Люся должна была встретить еще варшавский поезд — и конец работе. Можно будет идти домой. До поезда оставалось больше часа. Люся устроилась в уголке пустого таможенного зала с книгой в руках. Но не читалось — думалось. В зале было непривычно тихо, так тихо, что слышно было, как кипит жизнь за его стенами. Оттуда неслись далекие и близкие гудки паровозов, лязг вагонов, шум голосов, даже шарканье бесчисленных ног по каменному полу соседнего зала ожидания. Но все это где-то там, далеко, а здесь, около Люси, тихо и пусто.

Уронив книгу на колени, Люся задумалась. Она вдруг с беспокойством вспомнила утренний визит Полины Борисовны, хитрой и недоброй старухи, вспомнила вещи, которые она, Люся, купила у нее. Только бы никто не узнал об этом. А как быть дальше? Пойти домой к Полине Борисовне или нет? Конечно, пойти хочется, даже очень. Все-таки чудесные у нее вещи. Только страшновато.

Вздохнув, Люся снова принялась за книгу. Но чужие, книжные страдания, о которых она читала, сейчас не трогали ее. Видно, для того, чтобы заниматься чужими делами и сочувствовать чужому горю, надо не иметь своего. А когда оно есть, как сейчас у Люси, то все силы души, все мысли сосредоточены на нем. Книга оставляла Люсю равнодушной, та самая книга, которая когда-то так нравилась ей. Она и перечитывать-то ее взялась потому, что была уверена: уж эта книга наверняка отвлечет ее от горьких мыслей. И вот ничего не получалось.

Теперь Люся думала о том, как она уедет из этого Бреста, как расстанется с Андреем. При мысли об Андрее чуть защемило в груди. Все-таки было жалко его. Но Люся тут же взяла себя в руки: может быть, и жалко, но не губить же из-за него свою жизнь! Нет, нет, пока не поздно, надо решиться. Ее знает заместитель начальника Московской таможни, человек очень влиятельный, знает и, кажется, даже немного влюблен в нее. Для начала — хотя бы это. Надо только зацепиться за Москву. А там будет видно. Люся была уверена в себе. Она не пропадет.

Раздумывая над этим, Люся не заметила, как начал наполняться таможенный зал. Пассажиры с че-

моданами и тюками, носильщики, женщины с детьми на руках сплошным потоком вливались в зал и окружали громадный овал досмотрового стола. Появились таможенники, и работа началась.

Люся закрыла книгу и направилась к центру зала, обходя груды вещей на полу и расположившихся прямо на них женщин с детьми. Детишки спали, неудобно прикорнув где-то, плакали, ели перепачканными руками. Люсе было жалко их, и в то же время она самодовольно думала о том, что она с сынишкой будут ездить не так. Ее будут обслуживать, за ней будут ухаживать, за ней и за ее сыном. Так будет, и совсем скоро. Часа два продолжалась работа, затем зал снова опустел. Пассажиры, пройдя таможенный досмотр, перешли через зал ожидания на противоположный перрон, откуда поезда направлялись уже в глубь страны.

Прошло не меньше двух или трех дней, пока Люся наконец попала к Жгутину.

— Вот что,— неуверенно начал тот.— Признаться, даже и не знаю, как начать...— Он вытер платком лоб и шею, и платок сразу потемнел от влаги.— Вопрос деликатный, и вникать в него как-то неловко. Но вынужден.

— В чем же дело, Федор Александрович?

Жгутин нахмурился, и лицо его вдруг стало опять таким же непреклонным, как в тот день, когда он говорил с иностранным дипломатом. И опять Люся удивилась про себя этой перемене.

— А дело в том,— сказал Жгутин,— что в семье вашей происходит что-то неладное. И я, как коммунист и начальник ваш, мимо этого пройти спокойно не могу.

— И напрасно,— холодно заметила Люся.

— Нет, не напрасно. Андрей ходит сам не свой. Да и вы...

— Мы взрослые люди. Сами решим, как жить.

Жгутин покачал головой.

— Поймите меня, Люся. Мне просто очень хочется вам обоим помочь. Все-таки у нас, у стариков, в жизненном опыте есть кое-что полезное и для вас, молодых. А?

— Я считаю этот разговор бесполезным, даже бестактным! — сердито, с вызовом сказала Люся.— Я буду жить, как захочу, и никто не имеет права вмешиваться! — И со злой иронией добавила: — Уголовный кодекс я чту.

Жгутин взволнованно провел рукой по лысине.

— Что ж, извините меня. Я ведь хотел как друг. Не получилось.

И тут Люся не выдержала, сорвалась. Видно, сказалось напряжение двух последних месяцев. Она закричала в лицо Жгутину:

— Отстаньте от меня! Все отстаньте! Я не хочу так жить, понятно вам? Мне противна эта работа. Мне противно здесь все, все, все!.. И Андрей тоже! Да, да! Он мелкий, он ограниченный! Я все равно уеду!.. Вот увидите!..

И, уронив голову на стол, она громко, почти истерически разрыдалась. Жгутин бросился к ней со стаканом воды, но Люся резким движением оттолкнула его руку, и вода выплеснулась на Федора Александровича.

В дверь с любопытством заглянула пожилая машинистка из соседней комнаты. Жгутин растерянно указал ей на Люсю.

— Ну, подумайте, Вера Павловна, такие нервы!

Машинистка метнула на него сердитый взгляд, потом подбежала к Люсе и стала гладить ее по голове.

— Деточка, успокойтесь,— заворковала она.— Мужчины удивительно нечутки. Но все будет хорошо, вот увидите. Ну, не плачьте.

Жгутин расхаживал по комнате и что-то, видно, обдумывал. Потом он остановился, посмотрел на машинистку и с досадой сказал:

— Шли бы вы лучше работать, Вера Павловна. И я пойду. Без нас Люся скорее успокоится.

Когда Люся осталась одна, она действительно успокоилась довольно быстро. Осторожно, чтобы не размазать тушь, она промокнула платочком глаза, попудрилась, поправила волосы и только после этого вышла из кабинета.

В тот вечер Люся неожиданно увидела на перроне Клепикову. Старуха с нарочитым спокойствием прогуливалась вдоль вагонов экспресса Берлин — Москва. В руках у нее была та же сумка, с которой она приходила и к Люсе. И больше, чем сама Полина Борисовна, Люсю почему-то взволновала эта сумка. «Что она тут делает? — враждебно подумала Люся о Клепиковой.— Явно кого-то ждет».

Люся издали продолжала следить за старухой. Та медленно прохаживалась от одного фонаря к другому, и Люся видела то темный ее силуэт, то постепенно проступавшее в желтом свете ближайшего фонаря узенькое, нахмуренное ее лицо с маленькими, блестящими, как у зверька, глазками.

Но вот Полина Борисовна встрепенулась и быстро пошла навстречу высокому, полному человеку в черном пальто с шалевым бобровым воротником и в бобровой шапке-«боярке». В руке он держал большой чемодан. Клепикова перебросилась с человеком всего несколькими словами, при этом их руки на секунду встретились, и Люсе показалось, будто человек передал что-то старухе. Клепикова тут же ушла, а человек направился мимо Люси в здание вокзала. Но, поравнявшись с ней, он неожиданно остановился и, оглянувшись, тихо, с ударением сказал:

— Не пристало вам, барышня, за знакомыми следить. И небезопасно это, учтите.

Люся в смятении подняла на него глаза и неожиданно встретилась с его холодным и насмешливым взглядом. Сильные стекла очков делали его светлые глаза неестественно большими, расплывчатыми, как медузы.

Люсе стало вдруг страшно. Впервые в жизни по-настоящему страшно.

I

...В тот вечер Засохо уезжал в Москву и, встретившись на перроне с Клепиковой, незаметно сунул ей записку. Там было только три слова:

«Проводите голубую «Волгу».

ГЛАВА IV

Северная задерживает голубую «Волгу»

Этот день, послуживший началом новых важных событий в жизни Андрея Шмелева, и начался для него необычно.

Распределяя свою смену по вагонам экспресса «Берлин — Москва», Шалымов впервые направил Андрея одного «оформлять» ответственный вагон «Рим — Москва». Собственно говоря, Шалымов на-

правил его не одного, а вместе с Семеном Буланым, но Андрей был назначен старшим.

— Кажется, ты начинаешь делать карьеру,— насмешливо заметил Семен, когда они выходили из «дежурки» на перрон,— поздравляю.

Андрей невесело отшутился:

— Для этого сюда и приехал.

Но ссориться с Семеном ему не хотелось, и он миролюбиво спросил:

— Ну, как у тебя дела со Светланой? Славная девушка!

— А,— махнул рукой Семен.— Детский сад.

— Она не глупа.

— Я тебе говорю: детский сад. Ничего не смыслит.

— Ты ее пытался просвещать?

— Пока еще не очень. Все времени нет.

— Ну, и слава богу.

Семен раздраженно поморщился.

— Слушай, не строй из себя святошу. По крайней мере при мне.

Андрей испытующе посмотрел на Семена.

— Ты что-то имеешь в виду?

— Хотя бы!

Семен по-петушиному вскинул голову на худой, кадыкастой шее и вызывающе посмотрел снизу вверх на Андрея. И тому вдруг захотелось ударить его. Что-то очень уж мерзкое вдруг проявилось в Буланом, чего раньше Андрей не замечал. Он хмуро сказал:

— Ты делаешь не очень дружеский намек. Может быть, объяснимся?

— И так все ясно.

— Ты не хочешь говорить?

— Допустим.

— Значит, ты трус. Вот и все. Я давно это замечал.

— Я тоже кое-что замечал!

— Так говори, что! — гневно воскликнул Андрей.

— И скажу... когда будет надо.

Но тут к ним подошли другие таможенники, и разговор оборвался. Всей их группе предстояло выехать с попутным поездом на блокпост «Буг», чтобы там встретить экспресс «Берлин — Москва» и, пока он будет следовать до Бреста, успеть «оформить» часть пассажиров.

В пятнадцати — двадцати минутах езды от Бреста в сторону границы, среди путаницы железнодорожных путей, стрелок и платформ находилось обшарпанное двухэтажное здание блокпоста. В одной из комнат первого этажа и ожидали таможенники прибытия поезда от границы. В это время обычно завязывались самые громкие споры и самые жаркие шахматные сражения. Но, как правило, еще ни одно шахматное сражение здесь не было окончено, как и ни один спор: в самый неподходящий момент резкий паровозный гудок оповещал о прибытии экспресса с границы. Тогда, побросав все дела, таможенники поспешно выходили на пути и разбредались вдоль состава. Когда Андрей с Буланым подошли к вагону, им навстречу проворно спустился знакомый Андрею усатый проводник и, торопливо поздоровавшись, сообщил:

— Из первого купе журналист — бельгиец, что ли,— хочет заявление сделать таможенным властям. Как быть-то?

— Пусть делает,— ответил Андрей.

В служебном купе их ждал коренастый, черноволосый человек в светло-сером ворсистом костюме необычного покроя, с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной сорочке. На груди у него висел фотоаппарат, на боку — кинокамера в новеньком коричневом футляре.

Человек внимательно оглядел вошедших и, обратившись к Андрею, сказал, с трудом подбирая русские слова:

— Я толжен... стелайт... отно-о... ваижное... э-э...— Он защелкал пальцами и смущенно улыбался.

— Заявление? — помог ему Андрей.

— Да, да! Но... русски... плохо... ви говорить инглиш?

Андрей кивнул головой, и журналист обрадованно заговорил по-английски:

— Я действительно должен сделать важное заявление. По-русски это так трудно.— Он улыбнулся и указал глазами на проводника.— Тем более, что заявление конфиденциальное.— Потом взглянул на напряженно слушавшего Буланого.— А это ваш коллега?

— Да.

— Он, кажется, не очень хорошо меня понимает?

Андрей ответил сухо, с чуть заметным нетерпением:

— Вполне понимает. Мы вас слушаем.

— Сейчас все расскажу,— заторопился журналист.— Но прежде, вот мои документы.

Он заставил Андрея пересмотреть пачку бумаг и только после этого таинственно сообщил:

— В соседнем со мной купе и в следующих трех или четырех к вам едет делегация итальянцев. Кажется, профсоюзная. Они все время кричат, что едут к друзьям и братьям в страну своего будущего, в страну социализма. О, я к этому привык. Я читаю рабочую прессу. Скажу больше, я в ней вырос. Мой отец — рабочий из Льежа, мой брат...

— Прошу прощения,— вежливо прервал его Андрей.— Но нам некогда. А насчет делегации мы знаем.

— Если угодно, я буду краток. Считаю своим долгом сообщить, что член итальянской делегации из соседнего со мной купе провозит контрабандным путем крупную сумму в американских долларах. Я случайно заметил, как он прятал их под подкладку пиджака. Приметы итальянца: на вид не больше двадцати, высокий, очень худой, черные брови срослись на переносице, на левой щеке около уха небольшой шрам, тонкий с горбинкой нос. На нем грубый коричневый костюм, рубаха в красную клетку. Я кончил.

Когда за бельгийцем задвинулась дверь купе, Андрей хмуро посмотрел на Семена.

— Ну, что ты скажешь?

— Надо проверить.

— На это нет разрешения.

— Мало ли что! Раз обстоятельства требуют.

— Делегация-то рабочих.

— Разные бывают рабочие.

— Но обидит это всех. И вдруг мы ничего не найдем? Почему я должен верить этому журналисту?

— Можешь не верить, но проверить обязан. Крупная сумма долларов — это не шутка. Пропустить ее — преступление.

Андрей задумчиво почесал щеку.

— В конце концов,— насмешливо заметил Семен,— решай сам. И отвечать будешь тоже сам. На то ты сейчас и начальство.

— Я вижу, тебе это не дает покоя,— заметил Андрей и решительным тоном закончил: — Проведем опрос, посмотрим на этого итальянца.

— Пожалуйста,— демонстративно подчинился Семен.— Только через десять минут Брест.

— Знаю.

И Андрей, откатив в сторону тонкую зеркальную дверь, вышел из купе. Семен последовал за ним.

Их встретили восторженные возгласы:

— Вива!.. Руссия — вива!.. Совьет Руссия — вива!..

Узкий коридор оказался забит людьми. Это были итальянцы. Андрей сразу догадался об этом по смуглым, взволнованным лицам, по простой, а то и просто бедной одежде, по жилистым рукам, поднятым в пролетарском приветствии. Восторгом были полны их глаза, некоторые откровенно вытирали слезы.

— Вива Руссия!.. Вива коммунисты!.. Вива!..

Андрей растроганно улыбался и кивал головой, не зная, как поступить дальше.

— Господа! — по привычке объявил он, и кругом все стихло. Но тут же Андрей досадливо махнул рукой.— Товарищи! Добро пожаловать в нашу страну! В Советскую страну!

И опять понеслись радостные возгласы:

— Вива!.. Вива!..

Андрей поднял обе руки, призывая к тишине. Его сразу поняли.

— Я прошу разойтись по своим купе. Мы побеседуем с вами. Прошу! Прошу! — Вдруг его осенила новая мысль, и он закричал: — Руководитель! Кто руководитель делегации?

К Андрею протискался полный, с резкой проседью человек в аккуратном костюме и в галстуке.

— Люченцио Мадзини, руководитель,— представился он.

Андрей пожал ему руку и спросил:

— Вы коммунист?

Мадзини бросил на него взгляд, который Андрей не понял и невольно насторожился.

— Но коммунист,— покачал головой Мадзини.— Социалист.

Андрей почувствовал, что допустил промах. Итальянец мог решить, что в СССР доверяют только коммунистам, рады только им. И еще Андрей подумал, как это трудно и ответственно вот так, по существу, от имени всей страны, первым встречать на границе друзей, и не только друзей. Исправляя свой промах, он дружелюбно и радушно, полный раскаяния и симпатии, сказал:

— Социалист — это тоже рабочий, это тоже друг.

— Да, да, друг,— весь просветлев, радостно закивал Мадзини и, снова схватив руку Андрея, энергично затряс ее.— Рабочий и друг. Да, да!

И тут Андрей наконец решился.

— Вы хорошо понимаете по-русски? — спросил он.

Мадзини застенчиво улыбнулся.

— Но, но. Мало.

— По-французски?

— О, да!

Андрей облегченно вздохнул. Теперь можно было перейти к делу. Оглянувшись, он сдержанно сказал Семену:

— Ступай, побеседуй. И попробуй обнаружить того человека, узнай, как его зовут. Но больше ничего не предпринимай.

В ответ Семен усмехнулся.

— Ты, оказывается, очень осторожный политик.— И, понизив голос, добавил: — Но доллары мы таким образом упустим. Это как пить дать.

— Ладно. Кажется, отвечаю я.

И Андрей повернулся к Мадзини.

— У меня к вам есть разговор. Зайдемте сюда, в служебное купе.

Андрей торопливо передал Мадзини свой разговор с бельгийским журналистом. Итальянец выслушал его со странно отчужденным лицом и, когда Андрей кончил, коротко спросил:

— Что вы думаете предпринять с нами?

— Я хотел бы посоветоваться.

— Я могу вызвать сюда Учелло. Это его вы имеете в виду. Пусть покажет вам свой пиджак.

— А нужно ли? Если вы ручаетесь...

Мадзини ответил резко, почти враждебно:

— Да, я ручаюсь. Но это нужно.

Андрей помедлил. Правильно ли он поступает? Взгляд его упал на окно. Поезд подходил к перрону вокзала. И Андрей с облегчением сказал:

— Зайдемте вместе с Учелло к нашему начальнику. Мне кажется, это — недоразумение.

— Это хуже,— покачал головой Мадзини.

Он тоже посмотрел в окно и вдруг возбужденно схватил Андрея за руку.

— О! О! Смотрите! Это встречают нас ваши рабочие! Клянусь, я не ошибся!

На перроне стояли люди со знаменами, они улыбались, махали руками, наклоняясь к окнам вагона, некоторые поднимали вверх сжатые кулаки и что-то весело кричали.

Мадзини ринулся было к двери, но тут же остановился и в нерешительности обернулся. Лицо его стало снова хмурым и обеспокоенным.

И тут Андрей решился. Мысленно послав ко всем чертям версию с контрабандой, он сказал:

— Никаких начальников, товарищ Мадзини! Дружба выше подозрений. Будем считать, что нашего разговора...

В этот момент дверь купе с треском откатилась в сторону и на пороге появился высокий молодой итальянец. Громадные черные глаза светились бешенством. За ним появился злой и раздосадованный Семен Буланый.

Итальянец, увидев Мадзини, выхватил из кармана потрепанного пиджака пачку долларов и что-то возбужденно заговорил, отчаянно жестикулируя руками и поминутно бросая гневные взгляды на Семена.

Подвижное лицо Мадзини отразило на этот раз удивление и беспокойство.

— Фа!.. Фа!..— взволнованно восклицал он, пока молодой итальянец рассказывал ему что-то.

А тот, распалившись, вдруг швырнул доллары на пол и стал с остервенением топтать их ногами.

Андрей догадался, что молодой итальянец был тот самый Учелло, и доллары, которые он увидел у него,— увидел как раз в тот момент, когда окончательно поверил, что все это неумная выдумка! — ошеломили Андрея. Он смотрел то на кричавшего Учелло, то на встревоженного, с взъерошенными седыми волосами Мадзини и ничего не понимал. Потом он вспомнил о Буланом.

— Что у вас там произошло? Откуда доллары?

— Из него, конечно. Я ему показал рукой на карманы. Обиделся. Стал их выворачивать. Ну, и вытащил. Сделал вид, что удивился, а потом начал кричать, этого разыскивать,— он кивнул головой на Мадзини.— В общем, спектакль.

— Очень ты быстр на выводы,— сухо ответил Андрей и про себя подумал: «Откуда у него такая враждебность ко всем? Черт его знает, что это за человек!» Он повернулся к Мадзини и спросил по-французски: — Что говорит Учелло?

— Что это не его деньги. Что у него за всю жизнь не было таких денег. А вы говорите: недоразумение.— Мадзини с упреком посмотрел на Андрея и горячо закончил: — Это провокация! Тот бельгиец... Вы понимаете?.. Ведь наша делегация не рядовая рабочая делегация. У нас важная миссия. Вы не знаете, что случилось?—Он поглядел на огорченное лицо Андрея и дружески хлопнул его по плечу.— Это называется подсадить агента. Мы знакомы с такими вещами. Наша полиция тоже... Вы понимаете?

Андрей кивнул головой и, подойдя к Учелло, дружески обнял его за плечи.

— Все в порядке, товарищ,— сказал он по-французски.— Мы вам верим.

Учелло остановился на полуслове, гнев в глазах сменился настороженностью, потом, вдруг ослепительно улыбнувшись, он хлопнул ладонями по коленям и воскликнул тоже по-французски:

— Я же знал! Я же в СССР! Я же коммунист!

Он обернулся к Буланому и, охватив руками его шею, звонко расцеловал в обе щеки. Потом Учелло нагнулся, подобрал доллары и со смехом протянул их Андрею:

— В доход рабочему государству! От врагов мира! От врагов рабочего класса!

В это время дверь купе откатилась и чей-то голос оповестил по-русски:

— Митинг! Митинг! Где товарищ Мадзини?

На перроне, за оградой маленького цветника, была воздвигнута импровизированная трибуна. Вокруг нее густо стояли люди с флагами и транспарантами. С трибуны какой-то человек, держа в одной руке шляпу и энергично взмахивая другой, сжатой в кулак, выкрикивал напряженным голосом:

— Товарищи, мы встречаем сегодня дорогих гостей и братьев...

Андрей, не задерживаясь, прошел через перрон в здание вокзала. Ему не терпелось рассказать кому-нибудь из своих о случившемся.

В «дежурке» он застал Шалымова. Тот с недовольным видом писал что-то в журнале дежурств.

— Анатолий Иванович! Вы бы знали, что сейчас произошло у нас с итальянцами! — вдохновенно начал Андрей.— Вы только послушайте...

Шалымов посмотрел на него с удивлением и опаской. В конце концов ожидание неприятностей победило в нем все остальные чувства, и он, нахмурившись, досадливо махнул рукой.

— Ну, говорите, говорите. Что опять случилось?..

— Почему «опять»? Нет, вы только послушайте. И вы, Коля, тоже,— обратился Андрей к дежурному.— Ручаюсь вам, что за последние...

Но тут резко и требовательно зазвонил телефон. Дежурный схватил трубку и почти сразу передал ее Шалымову.

— Сейчас, сейчас! — крикнул он.— Анатолий Иванович здесь,— понизив голос, сообщил Андрею: — Говорит Северная. Появилась подозрительная «Волга».

На Северную Шалымова повез шофер Петрович. Круглое, розовое лицо Петровича с рыжеватыми усиками и припухлыми глазами выражением своим, ленивым и сонным, напоминало объевшегося кота. И настроен был Петрович соответственно: добродушно и умиротворенно. Это было редкое состояние. Обычно он или оправдывался в чем-то, или отпрашивался куда-то. Как в первом, так и во втором случае на физиономии Петровича неизменно лежал отпечаток виноватости и скорби, и голос его при этом звучал с таким надрывом, что равнодушным ко всему этому мог остаться разве что Филин, которого Петрович боялся, как огня. Жгутина же Петрович любил нежной и преданной любовью, и как бы тот его ни ругал, а ругал он его часто, Петрович неизменно отвечал: «Спасибо» и «Вовек вашей доброты не забуду».

Тем не менее шофером Петрович был первоклассным. При некоторой склонности к спиртному он никогда не позволял себе этого во время работы. Если же подобная радость ждала его вечером, то весь день для Петровича был окрашен в розовые тона. В этот день он был полон ко всем особого дружелюбия и сочувствия и с готовностью кидался выполнять любое поручение.

Особенно Петрович жалел Шалымова. За вечно недовольным, брюзгливым тоном этого человека ему мерещилось какое-то горе или скрытая болезнь, и он, пожалуй, единственный на таможне, относился к Анатолию Ивановичу с дружеской заботливостью, охотно прощая ему и тон и вечные придирки. Ибо при всех своих недостатках был Петрович человеком отзывчивым и добрым.

Когда озабоченный Шалымов срочно выехал на Северную, Петрович, сочувственно косясь на него, первое время лишь вздыхал, ожидая, что начальник смены сам начнет разговор. Но Шалымов угрюмо молчал. Тогда Петрович, сгорая от любопытства, заговорил первым.

— Вот ведь я все думаю,— спокойно, издалека начал он, лихо ведя машину по заснеженной, ухабистой дороге, петлявшей среди путей и полосатых шлагбаумов.— Думаю, значит. Ведь нет в жизни покоя. С одной стороны, атом то и дело взрывают. Так? Потом, фашисты во Франции голову поднимают. Это тоже настроение портит. Потом, на службе то да се, закавыки всякие. Так? Ну, а четвертое — жена, конечно. Тоже нервов стоит дай боже. А в итоге что?

Петрович умолк, ожидая, что ответит Шалымов. Но тот продолжал мрачно смотреть прямо перед собой и, как видно, не собирался поддерживать разговор.

— То да се,— неуверенно повторил Петрович.— Вот, к примеру, Северная эта. Ведь закавыка вышла?

— Разберемся,— коротко ответил Шалымов.

Петрович обрадованно подхватил:

— Именно — разберемся. А легко это, спрашивается? Контрабанда — дело, небось, государственное. Тут того и гляди...

— Ты на дорогу лучше гляди,— посоветовал Шалымов, потирая ушибленное плечо: машина довольно резво перекатила через очередной ухаб.

Северная была длиннейшим пакгаузом с двумя платформами по сторонам. К одной из них подходила наша широкая колея, к другой — узкая, из Польши.

Громадные окованные двери пакгауза были наполовину сдвинуты, и из черной его утробы веяло арктическим холодом.

Шалымов, сильно сутулясь, торопливо поднялся по выщербленным ступеням на платформу и вошел в пакгауз. Ледяные сумерки, царившие там, не сразу позволили ему различить груды ящиков, больших и малых, в разных концах пакгауза. В глубине, у стены, прилепилась крохотная комнатка в виде белого, оштукатуренного куба с окном, в котором уютно светилась лампа. Шалымов быстрым шагом направился туда, поглубже засунув в карманы форменного пальто сразу вдруг окоченевшие руки.

В комнатке жарко топилась печь. Два письменных стола, придвинутых друг к другу, занимали больше половины всей комнаты. Столы были завалены горами бумаг.

Через Северную проходили грузы «малой скорости» в обоих направлениях. В бесчисленных накладных и других документах, сопровождавших эти грузы, разобраться было куда труднее, чем сделать «чистенькую» проверку ручной клади в досмотровом зале Бреста — Центрального. И потому большинство сотрудников таможни, особенно молодежь, боялись даже на время окунуться в бумажное море на Северной...

Работу на Северной выдерживали только «старички», люди с большим опытом и закалкой.

К этой категории и принадлежал встретивший Шалымова седоватый, в очках Николай Захарович Волжин. Очень высокий, широкий в кости, неуклюжий, Волжин казался совершенно неуместным в маленькой, заставленной комнате, его хотелось поместить в пакгаузе, рядом с самыми высокими и тяжелыми ящиками. Волжин и сам чувствовал себя неуютно в такой тесноте. Потоптавшись с минуту у стола и обменявшись с Шалымовым приветствиями, он тут же предложил ему пойти «к грузу».

— Я что, по-вашему, «Волги» никогда не видел? — раздраженно спросил Шалымов, подвигая стул поближе к печке.— Рассказывайте лучше.

Волжин покорно уселся за свой стол, вздохнул и с неожиданным проворством принялся перебирать высокую стопку бумаг. Тонкие папиросные листики, то белые, то фиолетовые, то зеленые, с шелестом приподнимались, словно прилипнув к его заскорузлым, толстым пальцам. Наконец Волжин вытянул из стопки несколько сколотых листиков и, поправив очки, сказал:

— Дело тут такое, Анатолий Иванович. «Волга» эта — новехонькая, на спидометре четыреста километров едва. Хозяин — репатриант, сдал ее нам здесь, в Бресте. А сам следует из Москвы. Неясно. Разобраться бы надо с ним.

— У вас он был?

— А как же? И я его ласково так попросил еще раз зайти. Вот...— Волжин бросил взгляд на ручные часы.— Через час будет здесь.

Шалымов, недовольно морщась, потер подбородок.

— Через час. Вы думаете, у меня только и дел, что каждый час сюда ездить?

— Ну, может, я сам...

— Сам, сам,— все тем же раздраженным тоном перебил его Шалымов.— А чем тогда мне прикажете заниматься? «Волга» эта — чепе или нет, я вас спрашиваю?

— Ну, чепе, конечно.

— То-то оно и есть. А вы — «я сам»!

Волжин благоразумно промолчал, и Шалымов уже спокойнее, но с тем же кислым выражением на узком, морщинистом лице добавил:

— Машину не отправлять пока. Хозяина пришлите ко мне на Центральную. Документы давайте сюда. Все. Ну, я поехал.

Всю дорогу обратно до Центральной Шалымов угрюмо молчал. Петрович только косил на него глаза, но заговорить не решался.

Не успел Шалымов приехать, как его сразу же позвали в досмотровый зал, где спешно заканчивали «оформление» пассажиров экспресса «Брест — Берлин», отходившего через несколько минут.

После шума и гама в досмотровом зале кабинет, в котором расположился Шалымов, показался Анатолию Ивановичу поистине райским местом. Он сел в кресло, вытянул ноги и даже расстегнул воротничок.

Не успел Шалымов и пяти минут насладиться покоем, как в дверь заглянула машинистка, выполнявшая и обязанности секретаря.

— Анатолий Иванович, тут к вам пришли.

Шалымов застегнул воротничок и этим движением как будто стер с лица выражение покоя и добродушия.

В кабинет вошел молодой человек лет двадцати семи в сером, модно сшитом драповом пальто и в не менее модной шапке-«москвичке» из серого каракуля. Яркое, красное с синим, пушистое кашне и кожаные перчатки цвета яичного желтка довершали наряд. Движения посетителя были энергичны, держался он уверенно и свободно. Веснушчатое, улыбчивое лицо его излучало душевное расположение и доверие ко всем людям вообще и к таможенному начальству в особенности.

— Чуяновский Григорий Степанович,— вежливо представился он, снимая шапку.— По вопросу о моем авто.

Хмурая и, казалось бы, малосимпатичная физиономия Шалымова нисколько его не смутила. Пока таможенник проглядывал его документы, Чуяновский с интересом и довольно бесцеремонно осмотрел кабинет, потом отдельно письменный стол, задержал взгляд на стопке книг возле чернильного прибора, верхняя из которых оказалась Уголовным кодексом БССР. Чуяновский, прочитав название, выразительно приподнял брови, как бы отмечая что-то про себя, и тут же, словно спохватившись, быстро перевел взгляд на Шалымова. Тот как раз в этот момент оторвался от бумаг и словно нехотя, поглядев на Чуяновского, спросил:

— Значит, всей семьей переселяетесь?

— А как же? Не могу же я мать одну отпустить! Не молодая уже, да и болезни. А братишка с сестренкой — школьники еще. Что с них взять? Им еще давать надо. Разве мать одна их вытянет? Да ни в жизнь. Вот мы с женой и постановили.

— Супруга-то ваша по специальности кто?

— Секретарь-машинистка. У начальника нашего треста работала. Пришел, знаете, как-то на прием — не пустила. Так и познакомились. И как я этого тревожного сигнала не учел, не понимаю.

— А сами где работали?

— Я-то? В Главросжирмасле, старший экспедитор. Кое-кто, конечно, себе на пользу этот жир и масло обращал. Не без того. Но у меня, знаете, принципы есть. Бедно, но честно. Пусть уж воруют, кому больше всех надо. А мы люди маленькие. Мы лучше спать будем спокойно. Верно?

Чуяновский говорил охотно, весело поблескивая глазами, стараясь своими ответами то растрогать, то рассмешить Шалымова или наконец сыграть на его гражданских чувствах. Но хотя проделывал он все это с большим искусством, Шалымова всего передергивало от еле сдерживаемой неприязни. Одновременно он все яснее понимал, что вести себя надо осторожно, что дело здесь, очевидно, серьезное и одним неверным вопросом можно испортить все. Как всегда бывало с Шалымовым, от ощущения важности дела, которым занимался, он постепенно приходил в хорошее расположение духа, неизменно вводя этим в заблуждение своих собеседников.

Так было и в этот раз. Чуяновский с облегчением заметил наконец на суровом лице таможенника долгожданные перемены. Смягчились жесткие складки, Шалымов перестал хмуриться и смотрел теперь на собеседника добродушно, почти ласково. Но последнего оттенка Чуяновский не понял.

— Сами вы из Москвы,— заметил Шалымов,— а машину почему-то сдали нам здесь, в Бресте.

Чуяновский смущенно засмеялся и, помедлив самую малость, ответил:

— Не утерпел, знаете. На ней в Брест и приехал. Дорога замечательная, даже зимой.

— И права есть?

— А как же! Вот они.— Чуяновский полез за бумажником, предварительно отстегнув с внутреннего кармана пиджака большую булавку.

Шалымов без всякого интереса повертел в руках зеленоватую книжечку, лишь на миг раскрыл ее, вслух отметив, что на фотографии Чуяновский выглядит старше, и, возвращая удостоверение, спросил:

— Неужели один ехали?

— Н-нет...— опять чуть помедлив, ответил Чуяновский и, сам, видно, испугавшись своей заминки, торопливо сказал: — С супругой, конечно.

— И она водит машину?

Шалымов видел, что такие безобидные, казалось бы, вопросы все больше приводят в смятение его собеседника.

— Водит ли она машину? — повторил вопрос Чуяновский.— Что вы!.. То есть нет... Она до руля боится дотронуться!

— М-да... Бывает,— усмехнулся Шалымов.

Он успел заметить, что права выданы всего два месяца назад. Вместе с показанием спидометра — четыреста километров — это обстоятельство бесповоротно уличало Чуяновского во лжи. Если же учесть сам факт покупки «Волги» накануне отъезда за границу и при очень скромных доходах семьи, причем семьи большой, то ложь эта начинала приобретать совсем подозрительный характер. «На жирах, небось, разжирел, сукин сын,— с веселой злостью подумал Шалымов.— Ну погоди у меня!»

Если исходить из того, что Чуяновский, конечно же, не имел возможности купить машину на честно заработанные деньги, то он мог оказаться замешанным либо в хищениях по своему прежнему месту работы, либо в контрабанде, и тогда машина эта не его. В первом случае ему грозит суд и немалый срок заключения, во втором же — лишь изъятие машины. И это Чуяновский, вероятно, знает. Выходит, что в любом случае ему выгоднее признаться в контрабанде. Если... если он вообще решит признаваться. Ведь тогда он должен будет назвать сообщников. Поэтому он может начать выкручиваться. Во всяком случае, интересно, как этот прохвост себя сейчас поведет.

Почти за двадцать лет работы в таможне у Шалымова было немало подобных случаев. Тем не менее каждый из них вызывал в нем живейший интерес.

«Тебя бы сюда,— со злой насмешкой подумал он о Люсе Шмелевой.— Попробуй, управься с таким судаком».

И Шалымов неожиданно спросил:

— Скажите, в прошлом у вас не было судимости?

— Только этого мне не хватало,— оскорбленным тоном ответил Чуяновский.— И должен вам сказать...

— Нет уж, разрешите, теперь скажу я,— очень спокойно перебил его Шалымов.— Я не зря задал вам этот вопрос. Скажу прямо. У меня возникли очень серьезные подозрения.

— То есть?

— Откуда у вас перед самым отъездом появились такие деньги?

— Так я же два года стоял в очереди...

— Это легко проверить.

— Одну минуту,— поспешно проговорил Чуяновский.— Дайте же мне закончить. Да, стоял в очереди, но... не достоялся. Деньги уже скопил, надо уезжать, а очередь не подошла. Что делать? Вот я и купил машину у одного гражданина. Пока что за это, кажется, не судят?

Шалымов пожал плечами.

— Все очень странно...— Он взглянул в документы: — Григорий Степанович. Кто-то продал вам машину, не проехав на ней ни километра. Вы сдали ее в Бресте нам, тоже не проехав, по существу, ни километра. Да и водительский стаж, оказывается, не позволил бы вам этого. Между тем вы утверждаете, что сами ехали на ней от Москвы, то есть больше тысячи километров. Да еще в такое время года.

Чуяновский, не отрывая глаз от пола, нервно теребил в руках связку ключей. На полном лице его проступили красные пятна.

— Ну, а деньги вы два года копили в кубышке? — совсем мягко задал новый вопрос Шалымов.

— В сберкассе,— не поднимая головы, буркнул Чуяновский.— Где же еще?

— Это тоже можно проверить.

Тут Чуяновский наконец не выдержал. Ненавидящими глазами он уставился на Шалымова и, еще сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, прошипел:

— Что вам наконец надо от меня?..— И вдруг все-таки сорвался и крикнул: — Что!.. Что вам надо?! Я честный человек!.. Слышите вы?!

Шалымов холодно ответил:

— Мне нужна правда, только и всего. И учтите. Если ее не узнаю я, ее узнает милиция.

— Вот как? — почти спокойно спросил Чуяновский.— Интересно. Стоит подумать.

— Думайте, только не очень долго. У меня, знаете, много работы.

Чуяновский вдруг опасливо оглянулся и, понизив голос, спросил:

— Вас устроит половина стоимости «Волги»?

— В смысле взятки? — деловито осведомился Шалымов.— Вполне.

Чуяновский пристально посмотрел на него, потом махнул рукой.

— Ладно уж. Не разыгрывайте. Сам ведь вижу.

— Ну, и хорошо. Значит, теперь самое время все рассказать.

— Придется,— с театральным вздохом ответил Чуяновский.— Так вот. Половина стоимости «Волги» — это как раз та сумма, за которую я согласился выдать машину за свою и перевезти через границу. Я ее и в глаза до сих пор не видел. А своих денег...— он опять вздохнул,— нет и на одно колесо. Сами подумайте, такая семья...

— Кто же действительный владелец?

Чуяновский махнул рукой:

— Он уже там.

— Ну, что ж! — Шалымов удовлетворенно прихлопнул руками по столу, как бы подводя черту под разговором.— Пишите объяснение. Будем составлять акт о контрабанде.

— Чем это мне грозит? — жалобно спросил Чуяновский.— Ведь мать-старуха, сестренка с братишкой, все на мне...

— Это грозит прежде всего изъятием машины.

— Да пропади она пропадом!..

В это время в кабинете заместителя начальника таможни Буланый со слезой в голосе говорил мрачно слушавшему его Филину:

— Разве это справедливо, Михаил Григорьевич? Товарищ Шалымов явно покровительствует Шмелеву! Только поймите меня правильно. Я вовсе не завидую. Нет! Но это покровительство наносит вред делу. Сегодня, например, Шмелева назначили старшим. А он хотел пропустить контрабанду у этих итальянцев.

— Вот как?

— Именно. Контрабанду эту нашел я. Нашел вопреки Шмелеву, который запретил ее искать. Причем я не только не обидел этим итальянцев, но и разоблачил провокацию.

— Гм. Прекрасно, Семен Трофимович.

Филин был полон симпатии к Буланому, которого он считал своим верным сторонником в предстоящей борьбе со Жгутиным. В то же время он давно уже недолюбливал Шмелева. Слишком независимо вел себя тот, слишком явно проявлял симпатии к старому начальнику таможни. Да и дружба с этим баламутом Дубининым тоже не украшала Андрея в глазах Филина.

Буланый осторожно добавил:

— Вместе с тем фактом, о котором я вам говорил в прошлый раз...

— Каким фактом? — резко переспросил Филин.

— Ну, с этой самой... в гостинице... Если взять все вместе, то довольно четко проступает моральный облик Шмелева.— Буланый усмехнулся.— Можно понять его супругу.

— Еще бы!

Филин задумчиво побарабанил карандашом, потом снял трубку телефона и набрал номер.

— Анатолий Иванович? Зайдите ко мне... Ну, когда кончите... Да, да, жду.— Он повесил трубку и сказал Буланому: — Вы можете идти. Спасибо за информацию. Все это мы так не оставим.

Уже под вечер, когда к нему зашел Шалымов, Филин недовольным тоном спросил:

— Что вас так задержало? Давно жду.

— Изымал контрабандную «Волгу».

— Вот как? Почему не представили акта?

— Предстазил. Его утвердил Федор Александрович.

— Он же заболел и уехал?

— Как раз перед тем, как уехать, он и утвердил.

— Так-с. Допустим.

Филин умолк, потом бесстрастным тоном объявил:

— Попрошу, Анатолий Иванович, написать рапорт на Шмелева. Его действия сегодня граничили со служебным преступлением.

На длинном и вечно хмуром лице Шалымова отразилось удивление.

— Признаться, я этого не усмотрел.

— По-вашему, нежелание изъять крупную контрабанду, да еще когда о ней получен сигнал, это не служебное преступление?

— Насколько мне известно,— покачал головой Шалымов,— это была политическая провокация. И Шмелев в сложной ситуации вел себя правильно.

— Но ведь именно Буланый, обнаружив контрабанду, тем самым разоблачил и провокацию.

Шалымов помрачнел.

— Ах, вот в чем дело. Так, к вашему сведению, именно Буланый своими грубыми действиями чуть не поссорил нас с итальянской делегацией. И если бы не Шмелев...

— Послушайте! Что за манера вечно спорить с руководством! — раздраженно воскликнул Филин.— Лично у меня факты не вызывают сомнений.

— А у меня...

— И я требую,— повысив голос, перебил Шалымова Филин,— требую рапорта на Шмелева! Учтите, есть и другие фактики, которые вообще ставят под сомнение его пригодность к работе в наших органах. Вам ясно?

Шалымов покачал головой.

— Нет.

— Тогда мы вынуждены будем делать выводы и в отношении вас, Анатолий Иванович. Вы удивительно близоруки и пристрастны. Так руководить нельзя, даже сменой. Учтите.

...Через два дня в приказе по таможне Андрею был объявлен выговор «за неправильное поведение при таможенном досмотре». Двумя пунктами ниже «ставилось на вид» Шалымову «за неправильную работу с кадрами».

Приказ был подписан Филиным. Жгутин все еще болел.

Андрей ждал.

Давно уже уснул Вовка, улеглась няня. Маленькая стрелка часов равнодушно передвинулась за полночь. Люси все не было.

Андрей пытался читать. Но через минуту с тоской и злостью швырял книгу на кушетку. Воображение ярчайшими красками рисовало ему одну страшную картину за другой. То он видел Люсю в объятиях какого-то человека, видел такой, какой до сих пор знал ее только он. То вдруг Андрей видел, как Люся бежит по темной улице и на нее нападают какие-то люди, затыкают рот, волокут куда-то... И Андрей опять отшвыривал книгу и кидался в переднюю. Там он лихорадочно закуривал, делал одну глубокую затяжку, вторую, третью... И настороженно, задерживая дыхание, прислушивался. Но, кроме глухих ударов собственного сердца, он ничего не слышал. За дверью стояла тишина.

Несколько раз Андрей порывался выйти на улицу, но не решался. Ему было стыдно и... страшно, страшно увидеть вдруг Люсю с другим, который, может быть, ее провожает, увидеть, как он целует ее на прощание.

Временами Андрей думал о Буланом. Больше недели прошло уже со дня их ссоры. Какой же он феноменальный подлец! Так притворяться, так лезть в дружбу, говорить какие-то хорошие, добрые, душевные слова!.. Да и выговором Андрей, конечно же, обязан ему. Андрей заставлял себя сейчас думать о Буланом, всеми силами распаляя свой гнев против него. Только бы не думать о том, где сейчас Люся...

Она пришла поздно.

Андрей не имел больше сил притворяться спящим, как он это делал в таких случаях до сих пор. Он посмотрел на жену и с несвойственной ему грубой фамильярностью, за которой пытался скрыть свои истинные чувства, сказал:

— Ну, вот что, моя милая. Нам надо наконец решить, как жить дальше. Больше я твоих фокусов терпеть не намерен.

Люся враждебно ответила:

— Мы это решим завтра.

— Нет, сегодня! Сейчас!

— Сегодня я устала. И, пожалуйста, не кричи,— поморщилась Люся и все с той же враждой добавила: — Милые же вещи рассказывают про тебя.

— Ты бы уж молчала!

— Только до завтрашнего дня.

Люся постелила себе в комнате, где спал Вовка.

...Тот вечер Люся снова провела у Марии Адольфовны Филиной. И Филина наконец вызвала Люсю на откровенный разговор. Расплакавшись, Люся призналась, что мечтала совсем не о такой жизни. И Мария Адольфовна ответила ей теми же самыми словами, которые говорила себе Люся:

— Милочка, вам надо немедленно уйти от него, пока вы молоды и красивы. Любой мужчина, даже самый ответственный, будет считать за счастье не только ухаживать за вами, но и жениться. Поверьте моему опыту, дорогая. В молодости я испытала нечто подобное. И потом...— Мария Адольфовна многозначительно вздохнула,— не знаю, право, стоит ли говорить... Мне так не хочется огорчать вас!..

— Что такое? — с тревогой спросила Люся.— Обязательно скажите.

Мария Адольфовна для видимости еще заставила себя некоторое время упрашивать. Наконец не на шутку обеспокоенная и заинтригованная Люся со слезами воскликнула:

— Умоляю вас, скажите! Иначе я последний покой потеряю.

— Ах, только из любви к вам! — сдалась Мария Адольфовна.— Вы же знаете, я ненавижу сплетни. Но я не могу допустить... Одним словом, говорят о связи Андрея Михайловича с одной женщиной...

— Не может быть!

Как ни враждебно была настроена Люся к мужу, такого она допустить не могла. Больше того, про себя она уже давно решила, что Андрей лучше, честнее, прямее ее.

Мария Адольфовна вздохнула.

— Жены всегда узнают о таких вещах последними. Вы не исключение, милочка.

— Кто же она? — спросила Люся, иронически усмехаясь.

Признаться, Мария Адольфовна ожидала куда более бурной реакции, и Люсина сдержанность даже вызвала у нее какие-то неясные подозрения.

— Ах, мне не хотелось бы продолжать! — со вздохом произнесла она, приложив пальцы к вискам.— Это все так противно моим взглядам. А эта женщина — она директор какого-то магазина. Ах, да! Случайных вещей. Между прочим, она не стоит вашего мизинца. Я просто не понимаю мужчин.

Ночной разговор с Андреем еще больше укрепил Люсю в ее решении. Нет, нет, все! На этот раз окончательно! Надо написать маме, предупредить о приезде. Этот слушок о магазинной директрисе подвернулся как нельзя кстати. Теперь во всем будет виноват один Андрей. Так она это представит и в разговоре с ним, и на работе, и в суде, если их будут разводить...

Но разговор с Андреем состоялся только вечером следующего дня.

У обоих на этот раз хватило терпения не начинать нового объяснения, пока не заснет Вовка. Но мальчик словно чувствовал надвигающуюся грозу. Он плакал, ласкался то к отцу, то к матери и непрерывно спрашивал:

— Папа, а ты на меня не сердишься?

— Нет, сынок.

— Мама, а ты?

— Нет, нет. Спи наконец.

Вовка свертывался калачиком под одеялом и молча, широко открытыми глазами следил за родителями. Сна в его глазах не было. Андрею чудился в них упрек, горький и совсем не детский. Когда Андрей или Люся делали движение, чтобы подняться со стула, Вовка вздрагивал и плачущим голосом просил:

— Не уходи... Боюсь...

Раньше с ним никогда такого не было.

Когда наконец мальчик уснул, Андрей на цыпочках вышел в переднюю и жадно закурил. Он тоже нервничал.

Спокойнее всех была Люся. Она вышла вслед за Андреем и сказала:

— Думаю, что нам нет смысла устраивать друг другу сцены. Все и так ясно. Я уезжаю с Вовкой послезавтра. Заявление об уходе я уже подала.

— Куда ты уезжаешь? — в первый момент не понял ее Андрей.

— В Москву. К маме.

Тут только до него дошел смысл ее слов.

— Ты... ты понимаешь, что ты делаешь?

Люся пожала плечами.

— Прекрасно понимаю. И тебе, кстати, это тоже давно понятно. Не притворяйся! На разводе я пока не настаиваю. Пока.

— Но, Люся... Скажи мне, в чем наконец дело?

— Я тебе уже сто раз говорила. У меня нет сил больше повторять. Не думай, я ни в кого не влюбилась. Я просто хочу другой жизни.

— Ни в кого не влюбилась...— с горечью повторил Андрей.— Тогда подумай, Люся, у нас еще будет другая жизнь. Вот увидишь. И потом — Вовка... Ну, как мы будем жить друг без друга?..

Андрею вдруг стало так невыносимо жаль и себя и Вовку, что голос его задрожал, и он поспешно отвернулся.

— С сыном ты, конечно, сможешь видеться,— у Люси голос не дрожал.— Это даже предусмотрено законом. И вообще что бы ни случилось, я не хочу окончательно лишать его отца.

Андрей ждал этого разговора. Умом он понимал его неизбежность. И все-таки какая-то непонятная, но малюсенькая надежда все время теплилась в его душе. И каждый новый день, не приносивший развязки, добавлял к этой надежде еще каплю.

И вот он состоялся, этот разговор. Равнодушным, чужим голосом Люся сказала ему все. В один миг разлетелась надежда, которую он по капле копил уже так давно. Все было сказано. Андрей терял двух самых близких ему людей и самых любимых. Да, да, любимых! Он любил Люсю. Он все видел, все понимал и тем не менее любил.

Андрей с усилием проглотил какой-то жесткий ком в горле и, еле шевеля сразу вдруг пересохшими губами, сказал:

— Люся, останься...

Она серьезно и печально ответила:

— Давай, Андрей, без мелодрам. Мы ведь современные люди. Ситуация предельно ясна. И ты,— вот тут Люся усмехнулась,— ты очень ко времени помог мне в этом.

Она помедлила, ожидая вопроса, но Андрей, напряженно ловя ее слова, одновременно был занят какими-то тягостными и непонятными мыслями, которые ворочались в мозгу, как тяжелые камни. Поэтому Андрей не задал того вопроса, которого ожидала Люся. И тогда она все с той же усмешкой добавила:

— Оказывается, в кого-то другого влюбился ты?

— Я?!

— Ого! Да ты стал неплохим притворщиком!

— Я ни в кого не влюбился.

— И в директора некоего магазина тоже?

Андрей ошеломленно взглянул на жену.

— Люся, я тебе сейчас все расскажу.

— Я не хочу слушать!

— Но ты же слушала про это от других!

— И мне вполне достаточно!

Андрей рассердился. И это помогло ему взять себя в руки.

— Что ж, я понимаю. Тебе так удобнее,— медленно произнес он.— Ладно, уходи. Я не стану тебя больше удерживать. А пока... пока уйду я.

Он сдернул с вешалки пальто, схватил шапку и выбежал на улицу.

И вот опять вечер, опять холодный ветер бросает в лицо колючие снежинки, и от них больно глазам. И Андрей один на улицах этого города, и опять ему некуда идти, и опять у него нет дома.

Андрей медленно брел по улице. Иногда он сворачивал за угол и так же медленно и равнодушно брел по другой улице. Он не мог ни о чем думать. Голова гудела, что-то сдавливало виски. Сырой, липкий холод все нахальнее пробирался под пальто, вытеснял последнее тепло.



Внезапно из полутьмы выплыла вывеска: «Закусочная». За широким окном, наполовину затянутым марлевой занавеской, виднелись люди. Они сидели вокруг серых мраморных столиков, курили, оживленно разговаривали, с аппетитом ели и пили. Из-за плохо прикрытой двери вместе со струйками тепла доносились их возгласы.

Андрея потянуло туда, и он, не задумываясь, толкнул дверь.

В первую минуту шум оглушил его. Незнакомые лица, разгоряченные, веселые и сердитые, замелькали перед глазами.

Андрей стоял у двери, отыскивая свободное место. Неожиданно кто-то крикнул:

— Товарищ Шмелев!

Андрей обернулся. К нему, чуть пошатываясь и размахивая руками, пробирался между столиками Петрович. Круглое потное лицо шофера и особенно нос и литые щеки были сейчас багровыми, местами живописно переходя то в фиолетовый, то в густо-желтый, и маленькие рыжеватые усики совершенно терялись в этом буйстве красок. Заплывшие глаза Петровича светились восторгом. Он обнял Андрея за талию и с воодушевлением объявил:

— Наконец-то! А я уж думал — не придешь!

— Чего, чего? — опешил Андрей.— Ты разве ждал меня?

— А то как же? Беспременно ждал. Хуть какой-никакой друг, а приттить должон был, раз я гуляю.

Петрович энергично потянул Андрея за рукав.

На мраморном столике стояли бутылки с водкой и пивом, на тарелочках лежала закуска.

Когда они уселись и торжественно выпили по первой рюмке, Андрей, морщась, спросил:

— И с чего это ты гуляешь? С какой радости?

Петрович таинственно подмигнул.

— Такая, брат ты мой, история приключилась, что и не поверишь. Только тебе, как другу. Жене родной не сказал, а тебе вот скажу. Но,— он приложил к губам толстый веснушчатый палец,— никому, понял?

— Это почему же?

— А потому. Чудное дело. Вдруг да промашку дал? Мишка враз шкуру спустит.

Мишкой он с пьяной фамильярностью называл Филина. И Андрей согласно кивнул головой.

— Этот спустит.

— Вот-вот,— неизвестно чему обрадовался Петрович.— Злодей он. Бывалоче во как надо отпроситься,— он провел рукой по горлу,— но ежели Федора нет — все! К Мишке и не сунусь. Удавлюсь скорей. А то бывалоче...

— Ты давай рассказывай, чего с тобой приключилось,— вернул его к первоначальной теме разговора Андрей.— С чего гуляешь-то?

— И-и, брат.— Петрович так энергично замотал головой, что Андрей на секунду даже испугался за него.— Но выпьем сначала.

Они опять чокнулись, опрокинули стаканы, долго закусывали. Наконец Петрович сделал таинственные глаза и, наклонившись над столом, приступил к рассказу.

— Помнишь, неделю назад изъяли мы на Северной «Волгу»? Новехонькая такая, голубая. Отогнал я ее, красавицу, в гараж облисполкома и ручкой — привет! Служи, мол, Советской власти. Вскорости забыл даже думать о ней. Живу, значит, питаюсь, свою горемычную в хвост и в гриву гоняю. Профилактику даже сделать и то некогда. А ведь как без нее, без профилактики? Того и гляди... Вот бывало-че...

— Да ладно тебе! — с досадой перебил его Андрей.— Ты про что начал, про то и давай. И что это за манера такая!

От выпитой водки у него вдруг прошла боль в голове, приятное тепло разлилось по телу.

Рассказ Петровича заинтересовал его. Случай с голубой «Волгой» все на таможне помнили прекрасно. Неужели он имеет продолжение? Поэтому, когда Петровича начало было опять сносить в сторону, Андрей рассердился. Но на этот раз взбунтовался и Петрович.

— Ты мне не указывай, понял? — строптиво заявил он.— Могу я за свои деньги говорить, как хочу, или не могу? — Тем не менее он все же продолжал свой рассказ уже без отступлений.— Так вот, значит, третьего дня, вечером иду домой. Трезвый, между прочим, как стеклышко. Скучно мне. Дома, знаю, жена ничего хорошего мне не скажет. В другое

место идти — монет нет. Скучно. Вдруг, значит, подходит ко мне один. Толстый такой, в очках и спрашивает: «Ты не шофер ли с таможни?» «Я самый,— отвечаю,— шофер и есть». «А хочешь,— говорит,— заработать враз тыщу по-старому?» «С нашим удовольствием,— говорю,— ежели все законно». «Да от тебя,— говорит,— сущая безделица требуется. Забрали вы неделю назад «Волгу» голубую, помнишь?» «Ясное дело,— отвечаю,— помню». «Ну, вот,— говорит,— и узнай, куда ее отдали, кому. Вот и все дело». «И за это,— спрашиваю,— тыщу?» «Именно»,— отвечает. Ну, думаю, пьяный или свихнутый какой. Только бы не раздумал.

— И узнал? — нетерпеливо спросил Андрей.

— А как же! В тот же вечер. Зараз вместо дома потопал к Ванюшке, он шофер тоже, в облисполкоме. Тот все и растолковал. И, веришь, через два часа дурила эта вручает мне сумму. Ей-богу, как с неба свалилась. Надо же, а?

Андрей с возрастающим интересом спросил:

— И где же та машина оказалась?

— Да в облздраве. Под «Скорую помощь» отдали.

Андрея заинтересовала эта история. Не будет человек выбрасывать на ветер тысячу рублей. Значит, очень ему та «Волга» была нужна. А зачем, собственно говоря? Андрей знал, что мнимый хозяин машины уже за границей, а подлинный хозяин уехал туда еще раньше. Кто же интересуется ею здесь, в Бресте? Неожиданно он вспомнил подробность, о которой ему рассказал Валька Дубинин: машина была сдана в Бресте, хотя тот прохвост, Чуяновский, ехал из Москвы. Нет, тут что-то не так. И Андрей спросил у Петровича:

— Ну, а разглядел ты того гражданина? Деньги, небось, не в темноте получал?

— Ясное дело, разглядел.

— И какой же он из себя?

— Дык как сказать? — Петрович задумчиво поскреб затылок.— Из себя он, конечно, видный. Очки при нем шикарные, золотые, небось. И говорит солидно, что твой министр.— И с удивительной непоследовательностью добавил: — А в общем-то, конечно, шаромыжник. За сто верст видать.

Андрей задал Петровичу еще несколько вопросов, поминутно останавливая его руку, когда тот хотел выпить, но ничего нового не узнал. В конце концов он понял, что просто не знает, о чем еще спрашивать, и задает какие-то пустые, расплывчатые вопросы, на которые Петрович не смог бы ясно ответить, будь он даже трезв. Но тогда что же делать?

Досадуя на себя, Андрей продолжал обдумывать так внезапно возникшую, таинственную ситуацию. Кроме всего прочего, это помогало ему не думать о Люсе.

А Петрович между тем мирно задремал, несмотря на шум и гам вокруг, подперев кулаком красную небритую щеку.

(Продолжение следует)

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

С. КОНЕНКОВ,
действительный
член Академии
художеств СССР

Большой русский художник

Наш сегодняшний разговор — о большой выставке работ Павла Дмитриевича Корина, которая была устроена недавно в Москве, в залах Академии художеств СССР.

Знакомство с творчеством художника начиналось с зала, где вовсе и не было оригинальных вещей мастера. Только копии. «Динарий Кесаря» Тициана, классические композиции Тинторетто, фрагменты росписей Микеланджело и Рафаэля, новгородские фрески Феофана Грека, «Явление Христа народу» Александра Иванова и многое другое. Но удивительное дело — люди подолгу не уходили из этого зала. Нет, нечто большее, чем копии, смотрели со стен! Глядя на них, вы чувствовали, как страстно влюблен Корин в высокую классику. Это школа. Особенная школа. Метод познания в ней совершенен. Секреты мастерства, умения — только одна сторона коринского восприятия. Самое главное, к чему стремился молодой Корин,— это смелое желание встать духом вровень с Тицианом и А. Ивановым, Микеланджело и Феофаном Греком. Нет, не просто копии висят в зале! Слишком много в этих учебных пробах лично «коринского»: любви и одержимости, жажды познания, восхищения, желания ощутить форму и понять природу гениальности. Нужна большая смелость, чтобы так учиться. Нужен безукоризненный вкус и добрая душевная закваска, чтобы так верно выбрать своих учителей, как это сделал молодой Корин. Нужны смелый ум, выдержка, самодисциплина, чтобы отдавать все силы подобной штудировке, когда не терпится выплеснуть на холст свои, личные замыслы.

И еще на одно качество П. Д. Корина — человека и художника — я хотел бы обратить внимание молодежи. Это его святая любовь к своей Родине, к необъятной, как океан, России, и к родине — месту, где он родился и вырос. П. Д. Корин — палешанин. Вы, конечно, слышали о Палехе, славном потомственными живописцами, которые и поныне радуют людей своим искусством. Корин не однажды обращался к дорогому для него Палеху. И во всех его пейзажах-панорамах живет благородное сыновье

чувство к земле, его взрастившей. Художник большой мысли, драматического накала чувств, здесь он становится тонким лириком. Он не дает кисти размашисто живописать сокровенное. Рисунок строг и точен, выписаны все цветы и травинки первого плана. Но нет в них даже легкой тени натуралистической дотошности. Ведь это те живые цветы, которые умеют разговаривать с поэтами. Как у Есенина — «цветы мне говорят прощай, головками склоняясь ниже»,— так и у Корина «никнут шелковые травы» при прощании, и в час встречи улыбаются людям цветы. Без чувства этой маленькой родины — деревни, из которой ты вышел, улицы, где ты родился,— не может расти, полниться чувство большой Родины, наш советский патриотизм.

Ярким огнем любви к Родине светятся этюды, эскизные разработки, пробы неосуществленной росписи намечавшегося к строительству Дворца Советов. Пафос созидания, динамизм молодого социалистического отечества Корин выражает через непрерывное, ликующее, могучее движение персонажей росписей. Раскрепощенная плоть сильных и красивых людей, их неодолимая убежденность, да и весь этот патетический марш в грядущее правдив, можно сказать, достоверен. Он искренен и высок.

☆

В 1947 году Павел Дмитриевич писал с меня портрет. Я в то время работал над фигурой порвавшего цепи рабства Самсона. Скульптура называлась «Освобожденный человек». Давняя, никогда не покидавшая меня мечта изваять символический образ человечества, освобожденного от оков рабства—экономического и духовного, воплощалась в живой плоти искусства. Ликование, возбужденное победой Самсона, надолго захватило меня. Мысленно я представлял себе, как горячо будет принят «Освобожденный человек». Я был уверен, что силы и любовь, отданные без всякой меры этой работе, перейдут к людям. Вольно или невольно атмосфера, царившая в моей мастерской, ожила в коринском портрете. Теперь как о достоинстве говорят об одержимости Коненкова в портрете, сделанном П. Д. Кориным. И, несмотря на то, что этот портрет до сих пор меня смущает, надо отдать справедливость: живописец сказал главное. У Корина нашлись такие сильные средства, что на первых порах далеко не всякий их воспринял. Известен факт, что портрет этот был в свое время снят с экспозиции в Третьяковской галерее. Не понят был и мой «Освобожденный человек». Еще раз подтвердилась истина: наш лучший судья — время. Коринский портрет теперь оценен по достоинству. До меня дошло известие, что и «Освобожденный человек» реставрируется и будет установлен в Русском музее. Думаю, что новая встреча со зрителем будет для моего «Освобожденного человека» более радостной.

☆

Нет ничего зловреднее ни в жизни, ни в искусстве, чем бездумное бодрячество, вульгаризация трудных задач, опрощение высоких целей.

Коринский цикл «Русь уходящая» — это блестящий показ силы и слабости представителей православной церкви. Не жалкие попики-выпизохи, а люди недюжинного ума, фанатики, внушающие уважение духовной осанкой. Крутые характеры и блеск ораторского красноречия, ханжество и прямодушие, смиренность и готовность к бунту, убогость папертного нищего и величавая пышность митрополита, любовь к России и непонимание новой России — вот как много смог прочесть в их душах и запечатлеть на полотне П. Д. Корин. Да, это нешуточный противник. С таким нелегко справиться. Зато и победа над ним — величественная победа.

«Русь уходящая» — пора становления художника. Какую хватку, цепкость глаза, мастерство и острый ум проявил здесь молодой Корин! Огромная галерея лиц — и ни одного незначащего, пустого. Если есть в портретируемом пусть самая малая интересинка, ее различит проницательный взгляд, ее сделает заметной для всех мастерство живописца.

Корин глубоко уважает тех, для кого он пишет свои замечательные портреты.

Как бы ни был сложен его герой, мастер найдет волшебный ключик, повернув который вы попадаете в мир этого человека.

Характерный жест М. В. Нестерова открывает страстный темперамент, глубокую интеллигентность, манеру говорить, душевное горение творца.

Сжатый кулак Л. М. Леонидова выявляет всю сложность и напряженность его раздумья, его неустойчивого состояния. Уверенность в себе, высшая артистичность В. И. Качалова прежде всего ощущается в руке, держащей легкое пенсне.

Широта и весомость, ясность и сложность в горьковском портрете кисти Корина так же верно определили главное во внутреннем мире великого писателя.

Мне очень нравится одна из последних работ П. Д. Корина, «Портрет художников Кукрыниксы». Поистине богатырская застава! Какое в них нерасторжимое единство и какая ясность в выражении трех ярких индивидуальностей! «Много труда положил я на этот портрет, много, много труда,— писал Корин.— Но в нашем искусстве есть одна самая трудная, самая жестокая, самая неумолимая дисциплина — «стирать пот с лица искусства, представляя ему (поту) спину творца». Художник должен восхитить зрителя своим искусством, скрыв от него тяжелый, изнурительный труд».

Портреты Корина достойны изумления. Лучшие сильные качества советской интеллигенции, идущей в ногу с народом, талант и труд художника сделали понятными и близкими для миллионов людей. Это еще одно свидетельство необходимости его творчества для самых основ нашего государства.

Слова М. Горького, сказанные писателем в мастерской молодого Корина: «Вы большой художник. Вам есть, что сказать. У вас настоящее, здоровое, кондовое искусство»,— оказались пророческими.

Строг и ясен язык коринских полотен. Композиционно они так выверены, что изменить что-то в них решительно невозможно: разрушится, перестанет существовать целое.

П. Д. Корин — лучший наследник прекрасных традиций русского искусства. Он истинно русский художник. Искусство П. Д. Корина выдержало трудное испытание временем. Выдержало победно, оставив в сердцах современников заметный след. Корин всегда был и остается выразителем чистой правды в искусстве. Он и теперь молод духом, смел в исканиях, удачлив в работе, потому что удача сопутствует в конце концов тем, кто не ищет окольных путей, а своим трудом, искренностью и трудолюбием прокладает дорогу себе и показывает ясный путь молодежи.

Само выдвижение П. Д. Корина на соискание Ленинской премии — акт справедливости, достойная оценка народом прекрасной деятельности творца.

Степан Щипачев



Упало яблоко

Под южным небом в полудённый зной
Упало яблоко на шар земной.

И был отмечен
Приглушенный стук,
Стук яблока, упавшего в саду.

В тревожном мире в полудённый зной
Упало яблоко на шар земной.

Яблоко и планета

В конце, а может, в середине лета
Столкнулось тихо яблоко с планетой.
Оно упало — с боком недоспелым,—
Немного схожее с небесным телом,
С самой планетой схожее, которой
Не вечно же быть яблоком раздора.

Аэлита

Так будет: помчатся кораблики,
Неслышимые космопланы.
Как блики на утреннем яблоке,
Будут выглядеть океаны.

Межзвездные дали измеряй-ка,
Измеряй-ка млечные тропы.
Где наша страна, где Америка—
Оттуда различи, попробуй!

Подымешь лицо усталое
И, глянув, поймешь до дрожи,
Что пятнышка этого малого
Нет в жизни ничего дороже.

Слезами и кровью политая,
Не будет Земля одинокой.
Уже не в мечтах Аэлиту
Увидят на планете далекой.

За руки несмелые узкие
Возьмут космонавты негрубо,
И вылепить слово русское
Научат непослушные губы.

В цехе

Мой стих не чурался и нежности лилий,
Но в цехе до этого ли, когда
Вас лязги и скрежеты просверлили
И от грохота не уйти никуда.
Мы нервами всеми машину слышим,
А надо бы так, чтоб не мы, а она,
Работая, слышала, как мы дышим,
Как в цехе звенит тишина.

За полем, за лесом

За полем, за лесом какой-то мотор
Не молкнет ни ночью, ни днем — таратор.

Не знаю, насколько там нужно такое,
Но люди в округе не знают покоя.

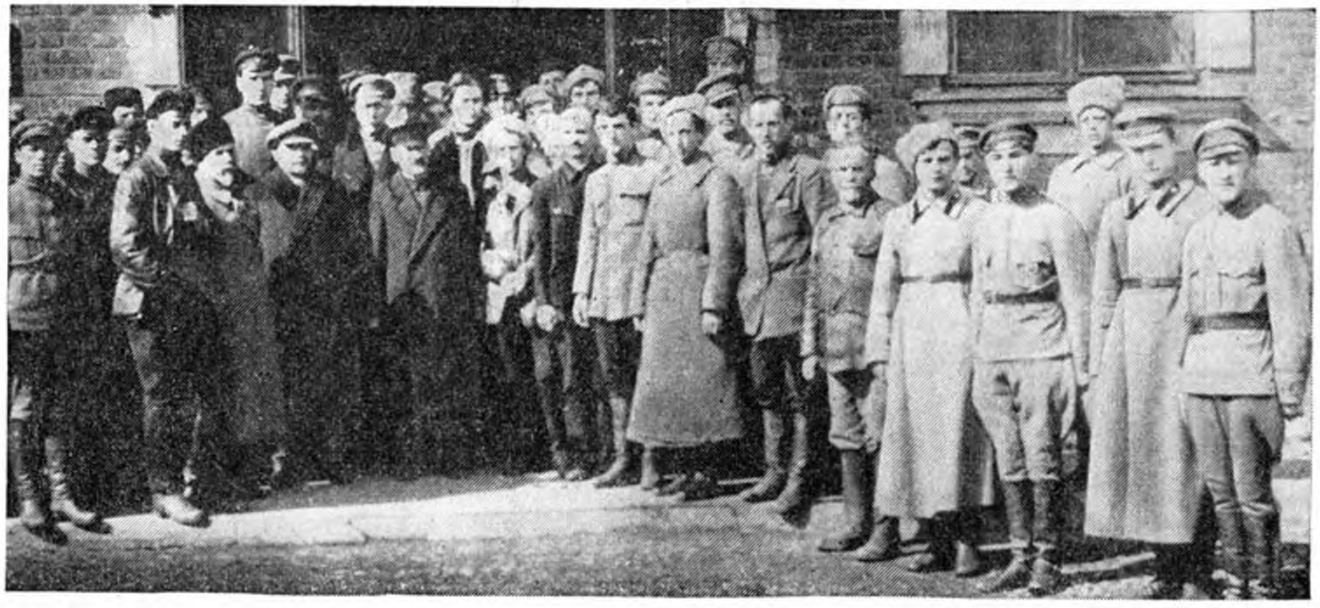
Я славлю наш век,
Я воздушные трассы пою.
И стих мой не вгонишь в тележную колею,

И все же нет-нет и угрюмость коснется бровей,
И мысли нахлынут, полны опасений:
Вдруг слышать отвыкнем,
Как дождь шелестит по траве,
Как падает лист осенний.

В молодой роще

Здесь тропки сквозные, здесь воздух светел,
Здесь, кроме влюбленных, ни конных, ни пеших.
И гладит с полей набежавший ветер
Колени берез оробевших.

Здесь молодо все, все лучится здоровьем,
Любой бугорок может стать изголовьем.



Часовой Ленина

Десятое марта 1918 года... В этот день в Смольном все было необычным. В крыле, занимаемом Советом Народных Комиссаров, заканчивались последние приготовления к переезду в Москву. По коридору взад и вперед сновали сотрудники. Кабинеты постепенно пустели...

Стоявшие у подъезда Смольного автомашины были уже загружены и одна за другой, колонной, выезжали за ограду института. Лишь в одном из кабинетов, вход в который охранялся двумя часовыми, все шло, как обычно. Здесь работал глава первого в мире рабоче-крестьянского правительства Владимир Ильич Ленин.

Еще накануне управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич, докладывая о подготовке переезда правительства в Москву, оставил Владимиру Ильичу экземпляр секретного письма, розданного им народным комиссарам и другим лицам, отправляющимся с поездом Председателя Совнаркома. В письме указывалось, что поезд будет подан на «Цветочную площадку», недалеко от Николаевского вокзала, и отход его назначен на 10 марта в 10 часов вечера.

Весь рабочий день в распоряжении Владимира Ильича, и он работает, как обычно. Урывая время между беседами с посетителями, Ленин набрасывает план и заметки для статьи, которая будет опубликована на следующий день по приезде в Москву.

В 4 часа дня на пост у кабинета В. И. Ленина пришла смена: пожилой солдат со значком латышского стрелка и молоденький красногвардеец из питерских. Не успели затихнуть шаги удаляющейся смены караульных с разводящим во главе, как к дверям кабинета поспешно приблизился подтянутый, бодрый матрос с револьвером на боку, комендант Смольного П. Д. Мальков. Часовые встали в положение «смирно». Козырнув им, он прошел в кабинет.

Через 2—3 минуты часовые увидели выходящего коменданта, несколько чем-то смущенного.

— Вот что! Ты стрелок Смилга, кажется, так! Сейчас будешь сменен... Нет, не сменен, а снят с поста. Останется один часовой... Как тебя зовут! — обратился он к младшему.

— Соловьев, товарищ комендант, Юлий Соловьев!

— Так ты, Соловьев, останешься один. Приказ: больше к товарищу Ленину никого не пропускать без записки Бонч-Бруевича. Понял! Без записки управляющего делами Бонч-Бруевича никого не впускать! Ясно! Ну, добро.— И, отходя, добавил: — Смилга поедет с поездом Совнаркома, а мы с тобой, Соловьев, останемся. Поедем попозднее.

Комендант удалился. Хотя и не разрешается на посту разговаривать, но как можно спокойно отнестись к такому: латышский стрелок едет с поездом Ленина, не отстает от Ленина даже в пути, а другой, тот, кому всего только 17 лет от роду, останется здесь, в Петрограде! Почему именно его, Соловьева Юлия, оставляют!

Может быть, и «попозднее» не возьмут его! Комендант мог сказать об этом в утешение молодому бойцу. Может быть, у остающихся отберут винтовки и распустят по домам!

Часовые Ленина спешат высказать каждый свое. Замолкают, услышав приближающиеся шаги из кабинета.

— Здравствуйте, товарищи! — быстро и негромко произнес Владимир Ильич.

— Здравия желаю, товарищ Ленин! — Здравствуйте, Владимир Ильич!— Два приветствия слились в одно.

— Ну что же, товарищи, сегодня отбываем! Последний день в Питере!

— Так точно, товарищ Ленин,— поспешил ответить стрелок.— То есть не совсем так, товарищ Ленин. Вот моего молодого товарища не берут, оставляют здесь.

— А что такое! Почему! Да что с вами, товарищ! — обратился Владимир Ильич к покрасневшему и опустившему голову молодому красногвардейцу.

Не сразу оправившись от смущения, Юлий Соловьев ответил:

— У меня могут отобрать винтовку и отправить домой, а я завоевал эту винтовку. Я хотел бы с этой винтовкой поехать в Москву, к своим товарищам. У меня и отец переезжает в Москву...

Это же очень важно: «папа переезжает в Москву». Его папа, старый революционер, работает в Высшем Совете Народного Хозяйства, бывает на заседаниях у Владимира Ильича... Он много рассказывал о работе в подполье при царском самодержавии...



Юлий Николаевич Соловьев.

Нет, он, Юлий Соловьев, тоже хочет быть там, где его друзья, где его отец.

— А мы сейчас все и решим... Заходите, молодой человек! — И, слегка обхватив юного бойца за талию, Ленин пропустил его впереди себя в кабинет.

Прислушивается, улыбаясь в усы, латышский стрелок Эдуард Смилга: каков будет шаг Юлия! А по шагу и угадать нетрудно, хорошо или плохо. Но в это время раздались шаги с другого конца коридора: шел начальник караула Ян Илькен, бывший унтер-офицер того же полка. Почти одновременно подошел Ян Илькен и вышел из кабинета сияющий и покрасневший Юлий Соловьев. В руке у него бумажка, совсем маленькая бумажка. Бережно сжимая двумя пальцами левой руки, держит он ее на весу: еще не просохли чернила. Молодой красногвардеец стал перед начальником караула и отрапортовал:

— От самого Ленина... Даже номер винтовки написан. Сказал мне: «Вы эту винтовку завоевали, молодой человек! Извольте, назовите номерок ее и что там еще на клейме!» Так и записал: «...принадлежащую ему винтовку за № 52604...» А когда подал записку, говорит: «А номера бумаги у нас не будет — канцелярия уже на вокзале, а какой-нибудь ставить не будем, надеемся, что поверят и без номера».

И, отрапортовав, Юлий доверительно сообщил:

— А ведь товарищ Ленин знает моего отца. Так и сказал: «Знаю, знаю вашего батюшку. Мы еще с ним поработаем».

Прошел год. Советская страна переживала тяжелые дни, кольцо интервентов пыталось задушить молодую республику. Необходимо было создавать мощную Красную Армию: усиленно готовить командиров из народа.

Владимир Ильич лично уделял большое внимание командным курсам. В Москве, в районе Таганки, действовали курсы, имевшие особо большое значение. Они готовили красных командиров для тяжелой артиллерии.

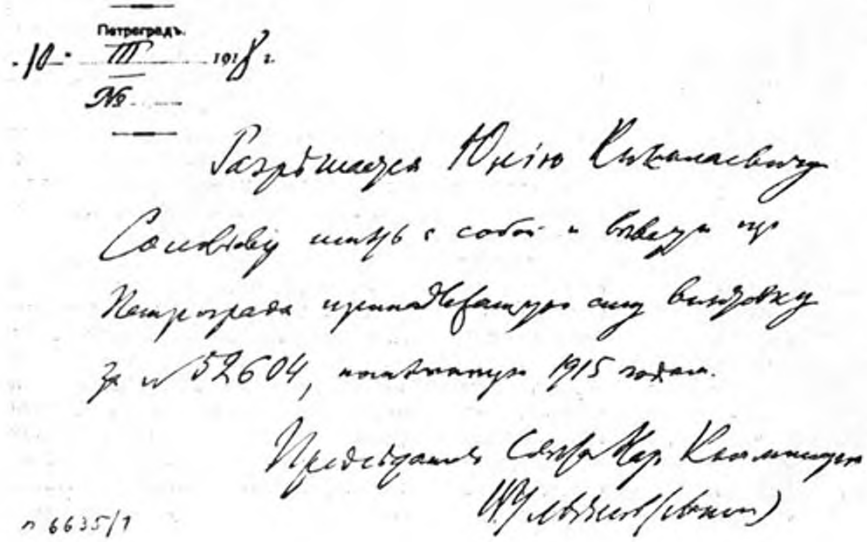
Весной 1919 года курсы тяжелой артиллерии торжественно отмечали знаменательное событие — получение Красного Знамени. На праздник приехали Владимир Ильич и Михаил Иванович Калинин.

С утра 15 апреля личный состав курсов начал готовиться к празднику: украшали вход в здание, зал для собрания; готовился торжественный обед. Выделен почетный караул для встречи дорогих гостей. Для торжественной церемонии приема знамени также выделена группа курсантов. В числе этих курсантов — два брата Соловьевых: Юрий и Юлий.

На фотографии, публикуемой на стр. 81, в центре группы — В. И. Ленин и М. И. Калинин. Здесь же командный состав курсоз и группа курсантов, в числе которых Юлий Николаевич Соловьев и его старший брат, Юрий.

Так молодому Юлию привелось еще раз повстречаться с В. И. Лениным.

М. ЕРЕМИН,
генерал-майор,
член КПСС с 1919 года.



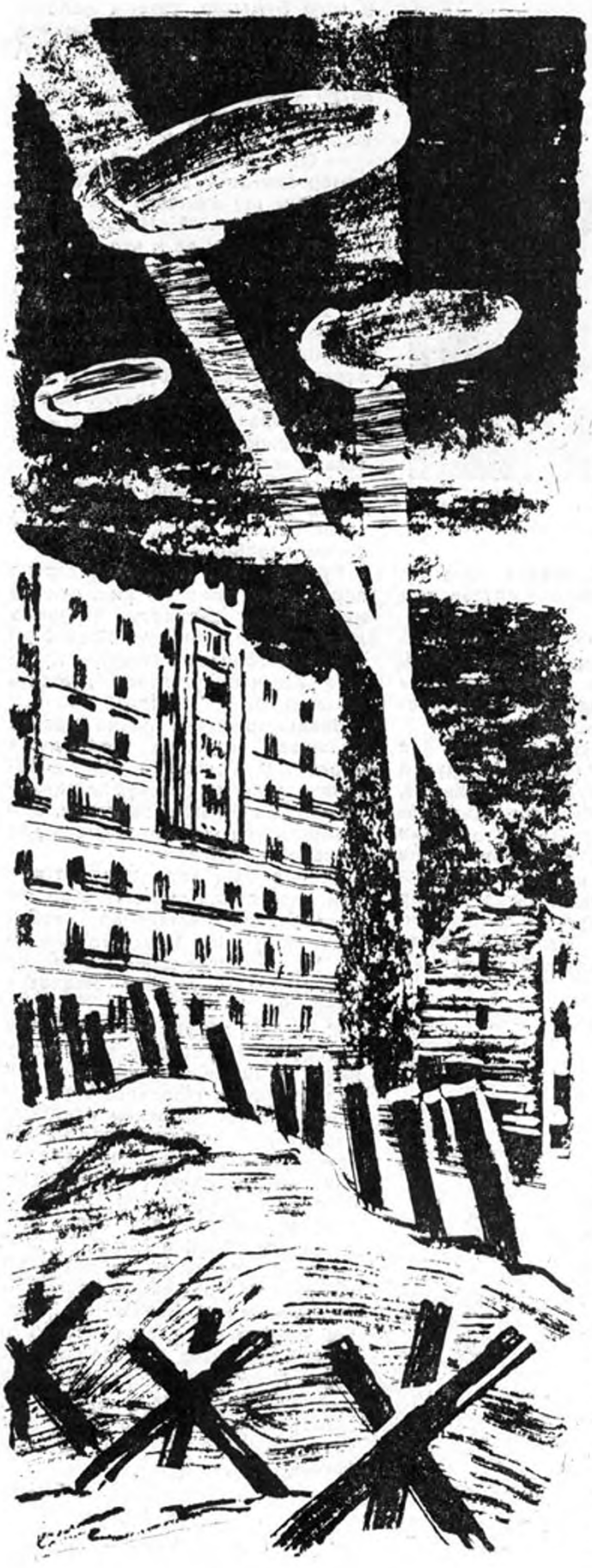
СОВѢТЪ НАРОДНЫХЪ
Комиссаровъ.

Петроградъ.
10 III 1918 г.
№

Разрѣшается Юлію Николаевичу Соловьеву имѣть с собой и взять из Петрограда принадлежащую ему винтовку за № 52604, калибра 1915 года.

Председатель Совѣта Нар. Комиссаровъ
В. Ульяновъ (Ленинъ)

№ 6635/1



В ОДНОМ

«Дружба! Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга! А какое это отношение имеет к дружбе?

Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбия друг друга,— да, если мы были не согласны, мы наносили друг другу раны! А дружба наша от этого только крепла, она мужала, она точно наливалась тяжестью металла...

Я так часто бывал несправедлив к тебе, но, если я сознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать — это то, что я был неправ. А ты говорил:

— Не мучайся,— это бесполезно... Если ты все понял, забудь, то ли бывает,— это борьба...»

Невольно вспоминаешь эти строки из «Молодой гвардии», когда читаешь все новые и новые фадеевские письма дружбы.

Да, Фадеев знал, что такое истинная дружба. И он умел быть настоящим, преданным другом!

Фадеев был человеком сложным, а подчас и противоречивым; это уже отмечалось. Он был одним из наиболее талантливых и ярких художников — общественных деятелей своего времени. Поэтому исследователям жизни и творчества Фадеева придется, очевидно, еще не раз возвращаться к выяснению истинных причин и сложности его характера и его противоречивости.

Однако при всех этих особенностях своей натуры Фадеев оставался всегда человеком душевным (хотя бывал и «колючим»), внимательным к судьбе товарища, принципиальным в дружбе, убежденным и беспредельно преданным тем великим идеям, которые привели его, еще семнадцатилетним юношей, на широкую дорогу революционной борьбы.

Среди друзей Фадеева было много старых большевиков — революционеров, рабочих, крестьян и видных политических деятелей, партизан и ученых, работников искусства и, конечно, огромное количество писателей...

Переписка Фадеева с ними исчисляется сотнями писем. Эпистолярное наследие Фадеева до сих пор еще полностью не собрано: так широк и многообразен круг его адресатов — известных и неизвестных поныне.

Мне хотелось бы рассказать о нескольких последних «находках» — письмах и документах, говорящих о той большой дружбе, которая много лет соединяла Александра Александровича с одним из наших замечательных поэтов, Владимиром Александровичем Луговским.

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

СТРОЮ

Страницы из истории дружбы А. А. Фадеева и В. А. Луговского

Рисунки Ю. Цишевского.

В черновых дневниковых набросках Фадеева сохранились записи, ярко рисующие их светлую молодую дружбу и самый портрет поэта: «Сильный красивый мужчина, с седыми висками и могучими дикими бровями... Подходя к дому,... он насвистывал какую-то солдатскую песенку в переулке... Он был полон счастья... Мы пили кофе и бежали на Москва-реку. Она еще — Москва-река — не была в граните. Мы плавали, как тюлени, ныряли, топили друг друга, смеялись до головной боли...»

«Бровеносец» — так шутливо называл Фадеев Луговского за его красивые, изогнутые, густые брови. Не раз в кругу друзей Фадеев напевал полюбившуюся ему песенку «Не встречать с тобою нам рассвет...», впервые услышанную им от Луговского...

Когда в начале 1932 года Фадеев уехал в Башкирию («24-го я прибыл в Уфу,— сижу сейчас на даче, верстах в десяти, над рекой Белой и пишу «Последний из удэге»,— сообщает он своей матери в письме от 4 марта 1932 года), Луговской приехал к своему другу. «Луговской и я живем очень дружно... очень много работаем,— пишет Фадеев А. М. Горькому 25 июня 1932 года.— Настроение у нас довольно бодрое...»

Интересную запись об этом же времени мы читаем в «Автобиографии» В. А. Луговского: «Вторую книгу «Пустыни и весны» я написал в Уфе, где мы жили более полугода с дорогим мне другом А. А. Фадеевым. Жили мы анахоретами. Днем работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мироздании и походах Александра Македонского. Неподалеку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенней ночью по саду ходила огромная старая белая лошадь и со стуком падали яблоки. Стояли железные ночи...»

Расставаясь, друзья переписывались. Незадолго до своей смерти В. А. Луговской в беседе со мной обещал собрать имеющиеся у него письма Александра Александровича. К сожалению, он так и не успел этого сделать. Письма Фадеева к Луговскому пока что не найдены.

Но вот недавно один из близких друзей Фадеева и Луговского передал мне сохранившееся письмо А. Фадеева — пока что единственное! — написанное им 20 марта 1942 года и адресованное в Ташкент, где в 1941—1943 годах после перенесенной тяжелой болезни находился (по эвакуации, с другими писателями и членами их семей) В. А. Луговской, активно работавший там в местной печати, кино и на радио.

Вот это письмо:

«Дорогой старик!

Я уже посылал тебе небольшое письмецо почтой. Получил ли ты его? Меня на некоторое время подкосило крупозное воспаление легких. 23-й день я уже в кремлевской больнице, и это дает мне возможность написать тебе подлиннее.

Долго скитался я по Москве, не имея квартиры. Дом наш в Комсомольском отошел под военное ведомство. Оно им, правда, не воспользовалось, но дом не отапливается, и вещи мои были вывезены родственниками и знакомыми. Наконец, я притулился на Б. Левшинском переулке, у Павлика Антокольского. Здесь, в маленьком уютном кабинетике, возле полки с хорошими книгами, на диване, слегка коротковатом для меня (так что ноги мои ночью покоятся на французских поэтах),— я живу. С Павликом мы более или менее близко сошлись в Казани. Душа у меня к нему издавна лежит. В нем есть что-то душевное и благородное, без показного,— он очень застенчив, что очень талантливо изображает Ираклий Андроников,— он умен и эмоционален, талантлив и любит поэзию. Зоя[1] очень мила и добра. Квартира у них теплая и какая-то по-особенному уютная. Выходит, мне там хорошо.

Коля Тихонов, вызванный на некоторое время из Ленинграда для одного задания поэтического характера, еще здесь, но скоро уедет, вернее — улетит. Старик прилетел очень худым и изможденным, ступал своими кривоватыми ногами в бурках не очень твердо — от изнуренности, но настроен исключительно светло и мужественно. Здесь мы его кормили и поили сколько могли. Вскоре он пополнел, посвежел, глаза его заблистали, и вскоре обнаружился все тот же, не сгибающийся, смеющийся и рассказывающий все самое необыкновенное, старый, седой дьявол. До моей болезни легких мы виделись почти ежедневно, хотя, правду говоря, времени для дружеских бесед стало очень мало. Он работал, как зверь, заполняя газеты и радио, а моя судьба уж известна. Но дней шесть-семь я болел гриппом,— и тут мы не мало почитали стихов в обществе Павлика и Зои, Риты Алигер, Виктора Гольцева (он приезжал на побывку с фронта и жил у Антокольского), Коли и меня. Самое забавное, что в течение 3-х дней вся эта компания жила у Павлика веселой и дружной коммуной.

Москва теперь совсем не такая, какой ты ее знал. Особенно интересна она была в первые дни нашего возвращения. Она еще хранила печать самых суровых дней обороны ее,— была вся в баррикадах, заснеженная, многие дома стояли, как обледенелые глыбы. Потом она быстро стала заполняться народом, теплеть и расчищаться на глазах. Однако и сейчас она очень демократична, бобровых воротников почти не видать, много военных,— нет коммерческих магази-

[1] Жена поэта П. Г. Антокольского.



В. А. Луговской (1901—1957).

нов и ресторанов, атмосфера подтянутости и дисциплинированности. Но, боже, до чего Москва бывает хороша в солнечные морозные дни или лунные ночи,— хочется бродить и бродить по ней без конца!

Как-то, выйдя от Павлика, я вспомнил, что рядом находится музей Голубкиной [1], и зашел туда. Дом был заморожен, вход открыт, я поднялся по лестнице, никем не встреченный. Интеллигентного вида пожилой мужчина, в потертой бобровой шапке, с бородкой, как у Луначарского, что-то делал среди заколоченных, с торчащей в щелях соломой, ящиков,— руки у него были скрючены и синие от мороза. Я назвал себя, сказал, что я поклонник таланта Голубкиной,— он так и просиял! Выяснилось, что гипс и мрамор вывезли, а бронза была запакована в эти страшные ящики.

Я ушел с внезапно возникшей грустью в сердце, вызванной, должно быть, воспоминаниями о том, как мы ходили с тобой по этому музею в другие времена.

В эти суровые дни, когда все так заняты, напряжены, ожесточены, когда ложишься и встаешь с постели, измученный и озабоченный, воспоминания действуют с силой почти разящей.

Во время моей болезни гриппом договорились с Алигер, как только поправлюсь, вместе съездить в Сокольники: мне нужно было узнать, куда эвакуировалась семья самого младшего моего брата [2] (он тяжело ранен и лежит в госпитале в Пятигорске), а ей — наведать родню мужа, убитого на фронте. От круга пошли пешком по пятому Лучевому просеку. И вот я снова был у дачи [3], с которой у меня так много связано и где ты неоднократно гостил у меня зимой и где мы бродили летом. Забор был спален на топливо, лес вокруг сильно повырублен. Но все-таки это были те же Сокольники, чудесные, как юность. Потом мы подошли к тем местам, где однажды мы попивали с тобой чудесный кагор прямо из боченка, а потом выяснилось, что родственники Алигер живут в тех скоростройках на поле, мимо которых мы с тобой прошли, когда ходили на могилу твоего отца. И вот, тем же полем, но в снегу, мы прошли к церкви на кладбище.

День с утра был пасмурный, но тут разыгрался ветер. Церковь стояла такая же прекрасная, старинная, уходящая ввысь, со своими русскими крыльцами. Я долго лазил по снегу, проваливаясь иногда выше пояса,— все хотел найти могилу твоего отца. Но многие кресты целиком были под снегом (эта зима вообще очень снежная), а в некоторых местах из-за снега невозможно было пролезть. Так и не удалось мне найти могилу. Когда мы подошли к самой церкви, мы услышали, что там идет служба,— день был воскресный. У главного входа эти звуки стали особенно ясны,— это была служба без пения, только голос священника явственно доносился из пустой и холодной церкви. На паперти внутри стояли нищие с клюками, и так все это было необыкновенно в современной Москве! Просто диву даешься, сколько вмещает в себя наша Россия!

Пройдя через знакомую тебе деревушку, которая славилась в старой Москве своими ворами, мы вышли на шоссе, ведущее к сельскохозяйственной выставке. В это время выглянуло солнце, и кресты на церкви с их заиндевевшими цепями и заиневшие ветви кладбищенских дерев, выглядывавшие из-за крыш деревни, вдруг засияли и засверкали на солнце радостно и весело. Некоторое время мы еще видели эти кресты и деревья из окон троллейбуса, потом их не стало видно, но они навсегда остались в моем сердце.

Милый старик! Ты должен сделать все, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть. Это значит, что все физические и духовные силы нужно подчинить только этой задаче. Но для этого надо вернуть себе то моральное состояние, которое возникает у сильных людей, когда они вновь начинают верить в возможность добра и счастья. Мне кажется, таким ты был в Соснах [4]. Это моральное состояние ты должен вернуть. Для этого ты должен ликвидировать абсолютно все, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания,— женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые), посадить себя на режим, читать Джека Лондона и Стивенсона и больше гулять на воздухе.

Крепко жму твою руку. Поцелуй Ольгу Михайловну [5] и мою незабвенную Тусю [6]. Сердечный привет Елене Сергеевне [7] и Сережке [8], когда их увидишь.

Твой Пит Джонсон (эсквайр)».

---

[1] Голубкина Анна Семеновна (1864—1927) — советский скульптор, автор ряда портретов (в бронзе, мраморе, дереве) современников, деятелей русской культуры, литературных героев и др.

[2] Свитыч Борис Глебович — брат А. А. Фадеева (по матери). Погиб в годы Великой Отечественной войны.

[3] В конце двадцатых годов А. А. Фадеев жил в Сокольниках (Москва).

[4] Подмосковный санаторий.

[5] Мать В. А. Луговского.

[6] Сестра В. А. Луговского, Татьяна Александровна.

[7] Вдова писателя М. А. Булгакова.

[8] Сын Е. С. Булгаковой.

Да, письмо это фадеевское.

Все оно — от обращения к «дорогому старику» до шуточной подписи в конце — пронизано особой душевностью и дружелюбием, предупредительной заботливостью и искренним стремлением издалека ободрить больного друга, вдохнуть в него новые силы для творчества.

Как выразительно переданы в этом письме портреты общих друзей и вся та атмосфера особой теплоты, которая царила в «веселой и дружной» коммуне писателей, собравшихся в суровые дни войны под гостеприимным кровом поэта Антокольского!

А талантливые зарисовки заснеженной, но постепенно «теплеющей» прифронтовой Москвы! Или это искреннее, восторженное удивление художника-патриота, как бы впервые, по-новому увидевшего «...сколько вмещает в себя наша Россия!..».

Дружба Фадеева и Луговского была основана не просто на приятельских отношениях двух симпатичных друг другу людей. Нет, это была мужественная дружба двух солдат, сражающихся в одном строю.

Их знакомство произошло в конце 20-х годов, когда Фадеев, пройдя хорошую школу практической партийной работы на Северном Кавказе, переехал в Москву, чтобы начать путь профессионального литератора.

Они были однолетки. Почти одновременно пришли они и в литературу: первая книга Луговского «Сполохи» и фадеевский «Разгром» появились в 1926 году.

В начале 1930 года Вл. Луговской вместе с В. Маяковским и Э. Багрицким вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), одним из руководителей которой был в ту пору Александр Фадеев. Вероятно, к этому периоду и относится начало их многолетней дружбы, выросшей и окрепшей во многом на единстве их творческих устремлений, их взглядов на роль и на значение литературы в жизни нашего народа.

Фадеев высоко ценил поэтическое дарование Луговского. Не раз подчеркивал он подлинно новаторский характер его творчества.

В этом отношении большой интерес представляет выступление Фадеева на собрании московских поэтов в апреле 1933 года.

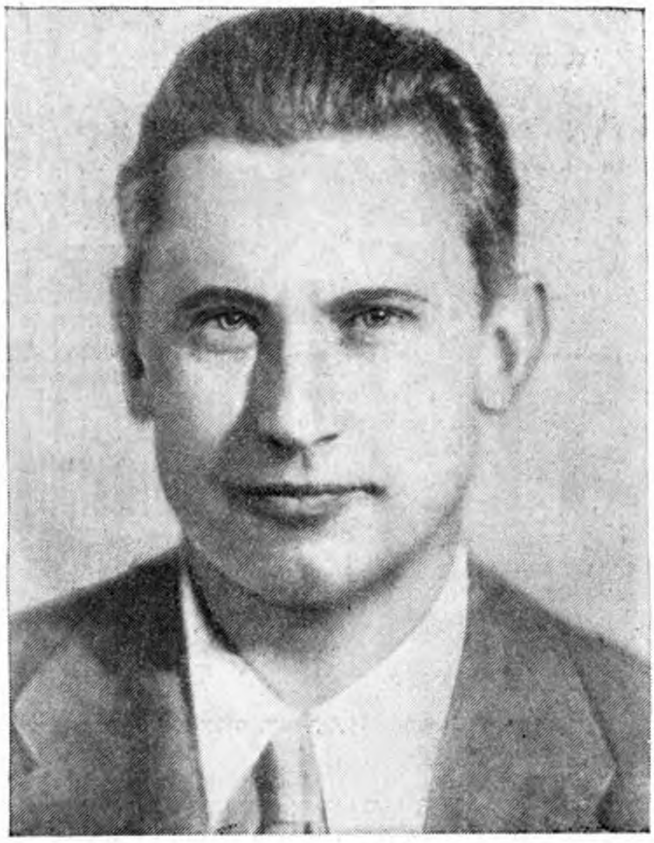
Эта речь, произнесенная ровно тридцать лет тому назад, не утратила своего значения до наших дней, поэтому я хочу сказать о ней несколько подробнее.

Выступление Фадеева направлено против всякого рода формалистических «трюкачеств» и тенденций в советской поэзии тех лет.

Писатель взволнованно говорил об отставании поэзии от требований народа, справедливо указывая, что одной из важнейших причин такого отставания являются «формалистические грехи» многих наших поэтов. При этом Фадеев дал отличное определение самой сути формализма в поэзии.

«Формализмом,— говорил он,— называется не то, что поэты ищут новых форм и в связи с этим происходит ломка старых ритмов, идут поиски свежих рифм, новой композиции, освоение новых жанров, происходит вторжение новых жанров в поэзию. В этом формализма нет, е ж е л и эти поиски опираются на новое содержание, которое дает поэзии эпоха социализма. Наоборот, такие поиски нам необходимы, ибо это есть живой процесс исканий, который движет нашу поэзию в п е р е д.

Формализм же — это такое явление в поэзии, когда незначительность, а подчас убожество, а подчас и



А. А. Фадеев (1901—1956).

полное отсутствие мысли и чувства прикрываются фокусничеством, штукарством, трюкачеством; когда отсталость содержания, иногда прямая враждебность содержания идеям социализма, прикрываются мистифицирующей манерой выражения этого содержания; когда достижения и открытия в области формы, сделанные более или менее крупными поэтами, отрываются от той функции, которую они играли в произведениях этих поэтов, и используются не по своему назначению, канонизируются, обезличиваются, превращаются в трафарет.»

Анализируя творчество Маяковского и некоторых других крупных советских поэтов, Фадеев убедительно показал, что «ни один по-настоящему талантливый поэт, пришедший к новому большому содержанию, не может задержаться на формальном изыске, на штукарстве, потому что — рано или поздно — он чувствует, что это мешает ему раскрыть новое содержание». Формалистические выверты и штукарство, всякого рода «левацкие» уродства и изощренности — все это рано или поздно становится тяжелой препоной на пути развития настоящего, большого художника.

Уже тогда Фадеев отлично понимал, что лучшие люди страны видят и чувствуют огромное противоречие «между большими, подлинно человеческими, все растущими потребностями масс и теми продуктами искусства, продуктами последней, так сказать, самой «левой» изощренности (вследствие р а с п а д а старого), которые часто восславляются дураками из холуйства перед этой изощренностью, но в состоянии удовлетворить только людей в очках, с тонкими ногами и жидкой кровью».

В одном из неопубликованных писем (к Э. И. Шуб) Фадеев писал, что Маяковский «...тоже прорывался



«...я снова, был у дачи, с которой у меня так много связано...»

через «левацкое уродство» и прорвался, потому что не был «тонконогим», а был большим человеком революции,— прорвался и загремел «во весь голос».

При этом Фадеев всегда подчеркивал, что настоящие художники в поисках большей простоты поэтического выражения явлений жизни идут к этому своими, обычно разными путями, и поэтому «...было бы неправильно прокламировать какой-нибудь из этих путей как единственно правильный».

Одним из условий подлинного развития современной поэзии Фадеев считал необходимость самого широкого использования нашими поэтами богатейшего опыта классической поэзии. «...в условиях,— говорил он,— когда современная поэзия наша довольно сильно засорена формалистическим хламом, когда неосмысленное подражание зачастую не лучшим, а худшим образцам выдается за «новаторство»,— в этих условиях осмысленное использование образцов классической поэзии приобретает особенное значение...»

В связи с проблемой творческого поиска разными поэтами своих путей в искусстве он анализировал и поэму В. Луговского «Жизнь» (1933), написанную, как известно, белым стихом. «Известно,— говорил тогда Фадеев,— что белый стих отнюдь не является идеальным стихом. Луговской, однако, не побоялся использовать якобы «устарелую» форму белого стиха, поскольку она давала ему возможность с наибольшей простотой выразить новые чувства и мысли. Луговской — опытный поэт, он показал в прошлых работах довольно большое многообразие стиха, не раз использовал опыт акмеистической поэзии, опыт Маяковского, опыт «конструктивистов». Почему же он «вернулся» к белому стиху? Потому что он почувствовал, что новому содержанию становится тесно в костяных рамках формалистического стиха, в обрамлении искусственных рифм, ритмов. И он с нарочитым, я бы сказал, полемическим заострением использовал форму наименее «нарядную», чтобы показать, что дело не в побрякушках, а в мыслях и чувствах. И в той мере, в какой ему удалось выразить новые, социалистические мысли и чувства, он сделал новый шаг вперед.»

Очень много для понимания дружбы этих двух замечательных писателей дает интересный документ, который мне удалось недавно обнаружить в архиве Института мировой литературы имени Горького. Речь идет о рекомендации А. А. Фадеева принять В. А. Луговского в ряды Коммунистической партии. Документ этот, судя по всему, относится к концу 1933 — началу 1934 года.

До сих пор ни в опубликованных статьях и работах о Луговском, ни в автобиографии поэта документ этот и все, что с ним было в дальнейшем связано, не упомянуты.

Фадеев писал в своей рекомендации:

«Знаю поэта Владимира Луговского уже около 7-ми лет, причем в последние три года близко соприкасался с его работой и жизнью.

Считаю, что путь развития Луговского за эти годы был путем, органически подготовлявшим его к вступлению в партию, не говоря уже о том, что во всех своих общественных высказываниях этих лет Луговской всегда руководствовался указаниями партии и искренно стремился проводить их в жизнь.

Все его творчество этого периода — книги «Большевикам пустыни и весны», «Европа» и «Жизнь» — является творчеством поэта, для которого большевистская партия действительно является его партией.

В силу этого, рекомендую тов. Луговского в качестве кандидата в члены ВКП(б). Думаю, что, проходя кандидатский стаж, тов. Луговской окончательно окрепнет, как большевик.

Член ВКП(б) с 1918 года (сентябрь), партбилет № 2481973 А. А. Фадеев (Булыга)».

Такая характеристика поэта — лучшее подтверждение той верной и мужественной дружбы, которая много лет связывала двух больших писателей нашего времени.

Такова история (во многом недописанная) еще одной фадеевской дружбы, в которой ярко проявился характер Фадеева — человека душевного и строгого, друга нежного и принципиального.

Владимир Сосюра



✲

Вы слышали, как в звоне молотка
Сталь славит человека песней
длинной?
Вы видели, как слушает река
Волны дрожаньем посвист
соловьиный?

Как красками поет весенний сад,
Когда вечерний ветерок играет,
Когда заря за лесом догорает
И песне шлют цветы свой аромат?

И с юных лет в мечтах, в весеннем
цвете
Всю душу отдал песне я сполна.
Она — моя советчица на свете,
Природой и работой рождена.

✲

Когда мне в памятное лето
Пошел одиннадцатый год,
Отправился я в час рассвета
На дымный содовый завод.

Не раз под небом неоглядным
Я шагом мерил версты дня.
И было все таким отрадным
В бондарном цехе для меня.

На доски солнце лило пламя,
Врываясь золотом лучей,
Я крепко прибивал гвоздями
К бочонкам сотни обручей.

Придя с работы, умывался.
«Ну, мама, ужинать пора!»
И, словно взрослый, удивлялся,
Как «в чур» играет детвора.

И кажется все милым, прежним,
Деревьев шум и всплески вод —
Там, где с мешочком белоснежным
Шел смуглый хлопчик на завод.

✲

Закат кровавый огненно-багров.
Куда-то тучи движутся гурьбою...
Что там в полете чувствовал Титов,
Когда увидел Землю над собою?

Леса, поля, моря открылись взгляду
И все, что было близким и родным...
Он в бездну зоревую падал, падал.
И в небе черном — шар земной
над ним.

Из тьмы во тьму, из ночи в день
вчерашний...
И снова солнце на его крыле...
Твой славный подвиг, сын страны
бесстрашный,
Вовеки не забудут на Земле!

✲

О чем в слезах задумалась земля?..
Здесь для меня все, все навеки свято.
И обелиск стоит, как бы храня
Могилу Неизвестного солдата.

В огне крошилась у врагов броня,
Когда он шел на смерть в немые
дали...
Перед бессмертьем Вечного огня
Моя Отчизна замерла в печали.

В слезах зари задумалась земля...
Здесь для меня все, все навеки свято.
И обелиск стоит, как бы храня
Могилу Неизвестного солдата.

Перевел Н. СТАРШИНОВ

С украинского

Семен Гринин



Арбат ломают

Арбат ломают.
Падают постройки,
И сыплется со стен домов труха.
И гонит острый ветер,
как позёмку,
Обрывки проводов, бумаг, тряпья.

И стрелами драглайны в окна лезут,
По рамам ударяя тяжело,
И с крыш слетает
рваное железо,
И под ногами
битое стекло.

Арбат ломают.
По кирпичным стенам
Клин-бабы ударяют, как в набат.
Проулок доживает день последний,
И узок, и короток, и горбат.
И будет он впоследствии
разверстан,
Раздастся вширь,
соседние забрав.
И выпрямляет рядом перекрестки
Бульдозер, как заправский
костоправ...

И будет на том месте много новых
Больших, открытых солнцу корпусов,
В светящихся витринах и в неоне,
Свободных от строительных лесов..

Арбат ломают.
С шумом ряд за рядом
Проезд глухой машинами забит,
Нарушив чью-то жизнь
с ее укладом,
И в прошлое уходит чей-то быт.

И люди ждут в домишках отсырелых,
Укладывают вещи нелегко.
И только то, наверно, уцелеет,
Что поднялось над миром высоко,

Что выстроено накрепко, неплохо
На тех углах, во временах иных,
На сваях, на фундаментах, на блоках,
Все новое с былым соединив...

Так надо жить,
чтоб на планете все мы
Эпохой нашей стали дорожить,
Чтобы любые в судьбах потрясенья
Сумели мы свободно пережить.

И оставались снова бы и снова
В событиях грядущих и делах,
И чувствовались наши мысль и слово
В стихах,
в полетах в космос
и в домах...

На исполкоме

Я сижу на исполкоме,
Теребню я клок волос...
Раздают десяток комнат,
А кому — еще вопрос...

Каждый просит бойко-бойко,
Поднимая целый торг,
Норовит урвать побольше
Для себя райпищеторг.

Слова требует вторично.
Не дают — твердит одно.
И логично, энергично
На него кричит роно.

Их перекричишь едва ли —
Должен рявкнуть, как гигант.
И прошу я, чтобы дали
Нам, барачникам, гектар.

Корпуса построить можем,
Как в Черемушках точь-в-точь.
Только надо будет тоже
Нам рабочими помочь.

Там, где нынче речка Филька
Гонит щепки и дрова,
Будут трубы, будут фильтры,
Встанут новые дома...

Нету, нету возражений.
Утихают споры враз.
И такому предложенью
Придают закон и власть.

Кто-то шутит: «Прыток больно!»
Обо мне твердят: «Каков!»
На меня глядит довольно
Сам товарищ Ушаков.

С телефонной трубкой слившись,
Он кивает мне: «Пока».
Разговаривает (слышу)
Он по проводу с ЦК.

Цифры, слышу, повторяет,
И, похоже, счастлив он
Тем, что тоже одобряют
Наш почин и наш район...

И иду я с исполкома,
Победив в конце концов.
И встречаю возле дома
Ожидающих жильцов.

Фазиль Искандер



Мода

Скажите,
что такое мода?
Международная погода?
Пародия на род людской,
Которую кроит портной?

Вот платье женское,
гляди-ка,
Как древнеримская туника.
Истории круговорот,
А где-то рядом смена мод.

Кричи:
«Грабеж и произвол!»
Но если мода — лезть в камзол
Полезешь поздно или рано,
Согласно с волею тирана.
И даже на тебя,
природа,
Порой заносит руку мода.

У женщин моды полоса
На косоватые глаза.
Зачем глазеть стремится око
Глазами длинными Востока?

Но, слава богу,
соль и хлеб
Стоят вне временных судеб.
Никто не скажет:
«Будь ей пусто!
Из моды вышла вся капуста,
Придется брюквой заменить».

А как твои дела,
Искусство,
Кто моден, то есть знаменит?
Кто выплеснул струей фонтана
Короткой славой Ив Монтана?
Кто восстает на реализм,
Как бы на некий роялизм?
А кто вне временных судеб,
Как Пушкин,
как Толстой,
как хлеб?

А ты?
Что скажешь ты,
художник?
Каменотес, бунтарь, безбожник,
Чего бы мода ни велела,
Молчи и делай свое дело
Спокойно, смело.

Портной эпохи,
тень сатрапа,
Послушай мудрые слова:
По голове кроится шляпа,
А не по шляпе голова.

Германия 1933 года

Орало радио
на площадях,
глашатай двадцатого века.
Стоял морфинист
у входа в рай
под вывеской «аптека».
Гипнотизеры средней руки
на государственной службе,
Читали доклады
штурмовики
о христианской дружбе.
И равно летели потом
под откос,
слушая мерные звуки,
И те,
кого усыпил гипноз,
и те,
что спали от скуки.

А скука такая
царила в стране,
такое затменье рассудка,
Что если шутка могла развлечь —
только кровавая шутка.
Молчали
надгробья усопших домов,
молчали
могилы и морги,
И сын
пошел доносить на отца,
немея в холодном восторге.
Орало радио
на площадях,
глашатай двадцатого века,
Загнав человека
в концлагеря —
во имя сверхчеловека.

В давильне

В давильне давят виноград —
Вот что важнее всех событий.
В дубовом дедовском корыте
Справляют осени обряд.

Крестьяне, закатав штаны,
Ведут языческие игры,
Измазанные соком икры
Работают, как шатуны.

В давильне давят виноград!
И с треском лопаются грозди,
И косточки, как будто кости,
От удовольствия хрустят.

Работают крестьяне в лад.
Гудит дубовая колода,
Летят на гроздья капли пота,
Но пот не портит виноград.

Жуют ногами виноград!
И нету ног святей и чище,
По травам летним, по грязище
Ступавшим тыщи лет подряд.

Люблю давильни вязкий чад!
Шипенье, чмоканье и стоны,
Спиртовый воздух напряженный...
В давильне давят виноград.

Топырится над гроздью гроздь,
Как груди смуглые южанок.
Дождемся свадебных гулянок,
Тогда, тогда, как повелось,

Хозяин распахнет подвал.
Друзьям собраться за столом бы!
Взорвутся солнечные бомбы!
Под стол слабейших, наповал!

За стойкость мужества, мужчины,
За клин, что вышибает клин!
...Не важно, кто открыл кувшин,
А важен вкус вина в кувшине.

Пью, рог тяжелый накреня,
Да будет рогом изобилья!
А если что сказать забыл я,
Друзья доскажут за меня.

Гранат

Гранат — некоронованный король,
Хотя на нем зубчатая корона.
Сладчайшую испытываю боль,
Когда ему распахиваю лоно.

Гигантское в руках веретено,
Что солнечную нить в себя вкрутило.
Зерно к зерну граненое зерно
В ячейку каждую природа вколотила.

Теперь никак не оторвать мне глаз,
Полураскрытая передо мной пещера,
Где каждый мне принадлежит алмаз,
Но мера жажды — стоимости мера.

Ты прикатился к нам из дальних
стран.
Ты рос, гранат, на дереве Ислама,
Но, пробужденный, ты прожег коран,
Однажды вспыхнувший под
пальцами Хаяма.

Скажи, гранат, где истина, где ложь?
Я проклял золотую середину!
Но ты заступник мой, и ты ведешь
Светящеюся лампой Аладина.

Взорвись, гранат! Развороши нам
жизнь!
Мы стали слишком въедливы и
скупы,
Чтоб яростною свежестью зажглись
Непоправимо стынущие губы.

Чтоб мы, глотая эту чистоту,
Учились, терпкую обсасывая мякоть,
Выкладывать себя начистоту,
Начистоту смеяться или плакать.

Чтоб этот красный кубок под конец
Испить до дна и ощутить такое,
Что в нас вложили тысячи сердец,
Но вложены они в одно большое.

Тяжелый плод ладонями зажат.
Тягучей влагой губы освежаю.
Я выжимаю медленно гранат,
Как будто тяжесть штанги выжимаю.

Так вот где тайна мощной красоты!
В тебе, гранат, земля соединила
Взрывную силу сжатой кислоты
И сладости томящуюся силу.

Э. КОСТЯШКИН

Директор школы № 544
г. Москвы, кандидат
педагогических наук.

Трибуна «Юности»

Души — вместе, мечты — вместе!

Я не писатель. И все же прошу слова. Разговор, поднятый на страницах журнала «Юность» (№ 1 за 1963 г.), волнует всех — и писателей, и читателей, и отцов, и детей [1].

Сразу же оговорюсь: меня в данной проблеме вовсе не интересует, как тот или иной писатель относится к Евгению Базарову или Холдену Колфилду. Меня интересует сама проблема и ее решение в статьях Уилсона и Розова, ибо обе статьи выражают своего рода кредо и того и другого.

Наверное, я уже давно принадлежу к поколению отцов, так как вот уже много лет с утра до вечера вожусь с детьми, в основном со старшеклассниками. Так что мне совсем не безразлично, будут ли они смотреть на нас, учителей, и своих родителей, как на старших друзей или как на туманное явление с той стороны пропасти. И дело вовсе не в том, сколько кому лет. Одни стареют еще за школьной партой и всю жизнь чинно коптят небо, другие успевают сделать столько нового, что даже завидно: кто дал им силы молодости, эту энергию на долгие, долгие годы? А вообще-то дело даже и не в индивидуальностях, не в личностях, а в эпохах, в витках большой жизненной спирали, по которой взбирается человечество. А каждый человек в силу своего характера, образования, сложившегося трудового пути какую-то большую часть жизни, большую часть сил отдает определенному витку, одной эпохе, которая и накладывает на него свой отпечаток. Носящие такой одинаковый отпечаток составляют поколение. Каждое поколение, естественно, имеет свои, присущие ему черты.

Итак, есть поколение отцов и есть поколение детей, и между ними складываются определенные взаимоотношения. У Митчела Уилсона это плохие взаимоотношения. Взрослые имеют опыт, но забыли, что значит быть молодыми, остались лишь воспоминания «в белом тумане памяти». Из такой посылки, естественно, вытекает, что это одна из трагедий человеческого существования, что в этом мире Ивановнепомнящих каждый возраст отделен от другого пропастью, провалом памяти, и каждый возраст живет только для себя, приспосабливаясь по силе своих возможностей и способностей.

Вспомним еще одну уилсоновскую страницу: не только взрослые не понимают детей, но и дети видят во взрослых одну лишь фальшь, которой «нет конца». Правда, к материальному наследию отцов, к их труду дети охотно приобщаются. И, как пишет Митчел Уилсон, на этой почве вполне «может существовать содружество двух людей, которые не понимают друг друга, но не сомневаются во взаимных добрых намерениях». Эта идиллия — предел мечтаний Уилсона: хоть и не понимают друг друга, зато и не кусают. Сосуществуют... со скрытой яростью.

Читаю вторую статью. Виктор Розов обходится уже без особого драматизма; он меняет пропасть на некоторую дистанцию, а необратимый провал памяти — на «взаимонепонимание» и даже обнаруживает связь между поколениями отцов и детей в виде эстафетной палочки: выдохся отец, передал палочку-эстафету — и на пенсию, смотреть, как победит молодость. Путь же молодого бегуна заранее определен, и вообще все просто, только вот есть этот «элемент взаимонепонимания».

Не будь этой «дистанции пробега», не стал бы я просить слова. Мало ли что думает Митчел Уилсон! Уж если на то пошло, то с Уилсоном можно спорить, беря примеры из произведений Драйзера, Эптона Синклера и других крупных писателей Америки, которых нельзя заподозрить в незнании законов капиталистического мира.

Каковы бы ни были противоречия в семье Бэддов, Ланни Бедд — герой целой серии романов Э. Синклера — в конце концов остается верным сыном своего класса, таким же космополитом и беспринципным человеком, как и его отец.

Блестяще продолжает дело своего отца и Фрэнк Каупервуд, у которого все та же масть, только шаги шире и зубы острее.

Трансмиссия между отцами и детьми в буржуазных семьях протекает не гладко. Тому пример трагедия сына, Лестера Кейна, героя романа Драйзера «Дженни Герхард». Лестер полюбил девушку из ни-

[1] См. статьи Митчела Уилсона «Разгневанные лица в зеркале» и Виктора Розова «Дистанция пробега».

зов общества, но его отец сделал все, чтобы разрушить эту любовь. Даже в завещании Лестеру разрешалось пользоваться наследством лишь при условии разрыва с Дженни. И он должен был сделать выбор между наследством и любовью...

И все же это не пропасть между поколениями, а «расстановка руководящих кадров» внутри класса. Господствующий класс готовит себе не только достойную, но и надежную смену, и недалеко падают яблоки от старых яблонь, цепко впившихся своими корнями в землю.

Любой наш десятиклассник знает, что такое Форд-младший, Морган-младший, Рокфеллеры-младшие и из какой семьи и кто такой Кеннеди-младший. Все эти «младшие» связаны с отцами, со старшими, не пропастью, а стальными и золотыми мостами. Надежно связаны.

У Уилсона — пропасть. Вообще во всех его произведениях родители героев даны не ярко. Видимо, таким писатель и видит тот мир, в котором живет. И, наверное, с самыми дружескими намерениями говорит об этом на страницах нашего журнала. Но коль рядом, на тех же страницах высказывается и советский писатель, то уж одно это «рядом» может породить у читателя вывод, что наш говорит правду, во всяком случае, в главном: нет пропасти, а есть, мол, дистанция пробега, надо только быстрее получить палочку — и дуй себе...

Но ведь и это неверно! И ох как неверно!

Меня нисколько не смущает, что В. Розову собственное детство вспоминается, как сказка на дне океана, «где лежат затонувшие корабли».

Возможно, я свое детство помню по ошибке. Но, честное слово, помню ясно и четко: как в шестом классе страдал из-за заплат на брюках, как отец воспитывал меня по субботам после просмотра дневника... Я эту субботнюю «сказку» словно сейчас переживаю, впрочем, как и все наши игры, занятия в кружках, разные драки и прочее. Видно, каждый по-своему помнит детство. И хорошее и плохое, что было в нем. Но забыть, не помнить юность, первую любовь, первое горе?!.

Как только свалилась нам на голову война и отец ушел на фронт, оказалось, что в доме многого не хватает, и мне, пятнадцатилетнему мальчишке, пришлось на лето устроиться помощником шофера в какой-то автобазе, вывозить мусор. Помню, как еще в августе на какой-то подмосковной свалке немецкий самолет-разведчик сбросил бомбу. Мы смотрели на ее взрыв, как на осоавиахимовский плакат. А потом кинолента военных лет понеслась с невероятной быстротой: эшелоны раненых, напряженность и суровость лиц, печаль... и постоянное, многолетнее желание поесть... И вся эта панорама навсегда осталась в сердце и памяти. Я помню все! Не имею права это забыть, не имею права, несу ответственность за это вот безмятежное нынешнее молодое поколение с его учебой, спортом, песнями и «производственной практикой» по нескольку часов в неделю и в «строго гигиенических условиях».

Короче, одни помнят свое детство меньше, другие — четче, полнее. Может быть, те, кто пережил его во время грозных событий революции или Великой Отечественной войны, потому и запомнили его четко и ярко, что картины-то были сильные, запоминающиеся...

Но главное, конечно, не воспоминания детства и не «туманы памяти». На каких позициях стоит писатель при анализе этой сложной проблемы отцов и детей, какой метод лежит в основе его подхода к проблеме — вот что главное!

Казалось бы, мнение В. Розова основано на революционной, марксистской позиции. Во всяком случае, такой вывод недолго сделать иному «юноше, обдумывающему житье». Но вдумайтесь в эти дистанции, детские сказки и эстафетный бег. А ведь в школах ввели обществоведение, и ребята покою не дают, погружаясь с большим интересом в философские дебри, спорят до хрипоты, и марксизм для них становится все более близким и понятным. Недавно один выпускник часов до двенадцати мучил меня рассуждениями о фатализме, идеализме и его многосортности. Нет, такому надо давать марксизм точным!

Думается, что нашу проблему правильнее раскрыть так: где-то за синим морем, где главным в жизни, ее основой является приспособляемость, временами в обществе может вспыхнуть и жестокое сражение с громкой или безмолвной яростью. Но оно будет прежде всего между классами, а вовсе не между поколениями отцов и детей. В великой этой битве классов (являющейся действительно альфой и омегой революционного марксизма) переплетаются поколения и возрасты, объединяются отцы и дети по ту или иную сторону баррикад, о которых вы, верно, уже знаете немало.

Не отголоски ли этих классовых битв принял Митчел Уилсон за противоречия между отцами и детьми? Не пропасть ли между классами вольно или невольно маскирует он пропастью между поколениями, густо покрывая все это «белым туманом» памяти и драматизма?

Совершенно прав Никита Сергеевич Хрущев, говоря, что в советском социалистическом обществе нет таких противоречий между поколениями, не существует проблемы «отцов и детей» в старом смысле. Она выдумана и искусственно раздувается «не в лучших намерениях».

В нашем обществе между «отцами» и «детьми» нет и не может быть не только пропастей, но и ДИСТАНЦИЙ.

Природа взаимоотношений между поколениями — ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО И БОРЬБА ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, присущих всему живому и растущему, в том числе и человечеству. Но нельзя же подходить к этому вопросу без учета условий, в которых живут и взаимодействуют поколения, без анализа того общественного строя, который является главным регулятором взаимоотношений и поколений и классов.

Все это элементарно. И даже странно, как можно диалектическое ЕДИНСТВО старого и нового, противоречивость развития, необходимость одновременного существования и постоянного взаимодействия этих двух элементов путать с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, ДИСТАНЦИОННОСТЬЮ, РАСЧЛЕНЕННОСТЬЮ во времени. Так ведь путают! Но почему? Я думаю, пытаться решить проблему отцов и детей только через призму своих узколичных ощущений и переживаний (чем так богат каждый художник) — все равно, что пытаться предсказывать будущее на основании бабушкиных снов.

Отцы и дети никогда не существуют (разумеется, мы имеем в виду не отдельную семью) последовательно. В этом-то и сложность, что только в мире простейших живых существ родители, родив, умирают. Читатель, подумай сам, каков бы был прогресс (его характер и темп), если бы мы, отцы, отошли сразу, как только наши дети стали совершеннолетними, оставив их на произвол судьбы со всей их энергией и пылкостью?

Отцы и дети живут, борются за общее дело вместе, рядом. Они долгое время ВМЕСТЕ НЕСУТ ЭСТАФЕТНУЮ ПАЛОЧКУ. И эта палочка не приспособляемость «отцов» и «детей» ДАННОГО поколения,

а ОТВЕТСТВЕННОСТЬ двух, одновременно живущих поколений за будущее многих поколений. Эту «палочку» ответственности, эстафету прав и обязанностей всегда держат и ловкие, сильные руки молодости и опытные, выносливые и осторожные руки отцов. И души их вместе, и мечты их вместе.

Только заскорузлый эгоист — «папа по функции» — будет приспосабливаться к жизни лишь для себя, без учета интересов своих детей, без желания прежде всего сделать их жизнь лучшей, более защищенной от всяких случайностей и невзгод.

Подумай, читатель, что было бы, если бы все наше поколение отцов думало и делало так? Что, если бы мы дали вам только обязанности, а права оставили себе, или наоборот?

Между прочим, первый вариант вполне вытекает из «философии» Митчела Уилсона; хочет он или нет, но он эту философию ясно высказал. И такое действительно встречается. Но уж, конечно, не как всеобщее явление. Это присвоение старшими и более сильными (с помощью соответствующих законов и атрибутов власти) прав прежде всего мы видим в том обществе, где морально и законно можно красть, грабить и удерживать добытое до склепа и только на последнем вздохе передавать опять же своему Я, если оно удалось в потомке. А если не удалось это Я, если оно, скажем, как Лестер Кейн, не так влюбилось, то оставить его без всякой помощи на произвол судьбы, а точнее, на произвол волчьих законов!

А у нас? Встречается и такая семейная эстафетность. Но редко. Я далек от желания нарисовать идиллию полного взаимопонимания по каждому пункту между всеми старшими и младшими членами нашего общества.

Противоречия между растущей молодежью и уходящей старостью есть и в нашем обществе, они естественны и необходимы. Первые стремятся вперед, они двигаются с большей, чем мы, их родители, скоростью, располагая неистраченным запасом сил, требующих приложения. Молодость тянется к более рациональному и совершенному, опираясь на уже достигнутое отцами (на то, на что силы отцов и ушли,— ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!). Отцы более привязаны естественной, даже с точки зрения элементарной физики, силой инерции, силой привычек к тому образу жизни, каким они жили большую часть времени, и постепенно приняли «форму сосуда» этого бытия. Но все это вовсе не означает, что желание сохранить эту форму для себя отцы обязательно должны распространять и на вас, молодые мои друзья. Такое бывает разве что в мелочах. Например, с узкими брюками. Мы думали, что это первый признак стиляги, пустозвона. Ошибались. Это просто была новая мода. Вы победили! И носите себе на голове копну или выстригайте волосы «под дурочку», ходите на шпильках, натягивайте на ноги самые остроконечные башмаки, как у рыцарей в средние века (правда, у них эти башмаки были железными, и ими дрались, сидя на коне). Все это тоже противоречия, но несущественные, второстепенные.

Но вряд ли вы, молодежь, оправдаете отцов, если они вовремя не затормозят ваши буйные и порой разумом не контролируемые порывы (в частности, и половые, когда результат отношений незрелых «самостийников» в 99 случаях из 100 вешается на шею папе). Вы многого не знаете из того, что называется «предвидением последствий», не представляете, что может быть в том случае, если, например, даже в чистой любви семнадцати—восемнадцатилетним не держать себя за шиворот страстей. А мы знаем, многое испытали сами. Вот и добавляем к вашим в общем-то еще весьма слабеньким тормозам и наши закаленные вестингаузы. А вам кажется, что это зажим: злая мама гулять не пускает...

Вот вам и еще один тип противоречий. И их много.

Особо следует отметить противоречия не между поколениями, а внутри самого молодого поколения, когда отдельные группы молодежи, выступающие под пестрыми флагами нигилизма, абстракционизма (кстати, эта молодежь чаще всего без мозолей на руках!), пытаются выдать себя за все молодое поколение. И обычно как раз тогда, когда основная масса этого нового поколения занята напряженной стройкой, и руки у нее полны мозолей. Бывает, иную такую группку молодежи (или маскирующихся под нее старых неудачников и болтунов) в поисках нового от скуки или от явного превышения благ над обязанностями, а скорей просто от низкой, убогой духовной культуры черт-те куда занесет: то к Адаму и Еве (в двадцатых годах такие бегали голышом по улицам, прикрываясь лишь лозунгом «Долой стыд»), то к физико-математическому снобизму, доходящему до того же цинизма (Любовь? Банальное, запросто программируемое явление и т. д.)

Как говорил В. И. Ленин, «нет НИ ОДНОГО явления, которое бы не могло, при известных условиях, превратиться в свою противоположность».

Иначе говоря, когда разговор идет о позиции поколения, надо иметь в виду отношения к важнейшим вопросам современности всего поколения в целом. Кстати, нельзя забывать и о том, что противоречия имеют место именно между позициями и отношениями. Всем известно, что молодежь к своим отцам и отцы к своим детям в нашем обществе относятся с теплотой и любовью, а не так, как в мире Каупервудов и Беддов...

Да, старое поколение уйдет. Но оно может и должно уйти не раньше, чем полностью передав молодому поколению свои опыт, знания и силы, все лучшее, что создало, чего достигло, чем прославилось, надежно перестраховав его будущее, обеспечив его дальнейшее РАЗВИТИЕ (а не просто дальнейшее СУЩЕСТВОВАНИЕ). Вот почему у людей эта передача не кончается фактом рождения нового, а только начинается, продолжаясь длительный период. Среди всего живого человек дольше всего растит и выхаживает свое поколение. Зато оно и надежнее всех приспособлено к жизни. И приспособлено не для того, чтобы только самим прожить, прокутив отцово наследство. Этого нет даже в животном мире, где дальнейшее развитие заложено в самих сокровенных витках молекул ДНК, РНК и прочих микрорайончиках жизни. У человека же это в тысячи раз усиливается СОЗНАНИЕМ необходимости общего развития, сознанием целей жизни вплоть до уходящих в космическую даль — целей, вытекающих из еще не понятых закономерностей и процессов.

Как видно, по-разному можно понимать взаимоотношения отцов и детей. Кстати сказать, все это можно выразить и художественно. Ну, например, как пишет поэт Ярослав Смеляков в стихотворении «Ответственность»:

Ведь все двадцатое столетье,
Весь ветер счастья и обид —
И нам и вам, отцам и детям,
По-равному принадлежит.

И мы, без ханжества и лести,
За все, чем дышим и живем,
Не по-раздельному, а вместе
Свою ответственность несем.

Чтобы ты, читатель, лучше это понял, посмотри на тех уже достаточно потрудившихся и потаскавших

всякие «палочки» пенсионеров, которые работают рядом с вами, работают... для вас!

И еще одна мысль.

Вам нравились романы Уилсона? Мне тоже, особенно первые. Ремарка романы нравятся? И нам, отцам, тоже.

Но, как говорится, не следует делать из еды культ, не сотворять себе кумира из... ну, скажем, из тех произведений больших мастеров, в которых есть и яркие краски и свои достоинства, не следует переносить их точку зрения в нашу действительность без какой-либо проверки и критики. Все-таки пишут-то они в другой обстановке и с других позиций. Кроме того, у них, как у всех смертных, могут быть ошибки, особенно в философских вопросах. И весьма грубые. Например, в статье Митчела Уилсона есть такая мысль: «...пропасть эта (между поколениями.— Э. К.) существует благодаря природе человеческого сознания. Если человек не может предвидеть того, что он еще не переживал, он не способен также сохранять в памяти пережитое».

В корне ошибочная посылка влечет за собой и неверное решение всей проблемы отцов и детей.

Во-первых, на основании научных данных человек может предвидеть и то, чего он еще не переживал. В этом и сила НАУЧНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ, сила науки как оружия познания действительности. Это ошибка фактическая.

А во-вторых, даже если человек и не может предвидеть то, чего он еще не переживал, то из этого вовсе не следует вывод о его плохой памяти. Предвидение — это одно явление, а память — другое. Здесь уже налицо ошибка логическая — подмена понятий в умозаключении.

И вот на основании таких ошибочных позиций Митчел Уилсон решает всю проблему отцов и детей. И, как крупный художник, решает ее ярко и драматично. Во всяком случае, настолько, что даже такого опытного писателя (а следовательно, и наблюдателя), как В. Розов, приводит в волнение. Ну, а где сильное волнение, там точный логический анализ порой уступает чувствам и переживаниям.

Так вот вы, переживая вместе с героями западных романов какое-нибудь кальвадосное или физически-космическое одиночество, не должны забывать ни о логике доказательств, ни о социальной подоплеке любого романа. Всегда помните указание Ленина — прежде всего установить, КОМУ ВЫГОДНА та или иная точка зрения. Одно дело — переживать драматизм событий, а другое — делать из него выводы.

На встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года Н. С. Хрущев, отмечая ошибки постановщиков фильма «Застава Ильича», говорил: «Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни и за советами к ним обращаться незачем. Молодежь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решать, как ей жить...» И далее: «...Но не слишком ли вы хватили через край? Вы что, хотите восстановить молодежь против старших поколений, поссорить их друг с другом, внести разлад в дружную советскую семью, объединяющую и молодых и старых в совместной борьбе за коммунизм? Можем со всей ответственностью заявить таким людям — ничего у вас из этого не выйдет!»

Как видите, читатель, с помощью диалектического метода «ларчик открывается просто»: и здесь за художественной формой скрывается совершенно определенная ПОЛИТИЧЕСКАЯ позиция, скрывается борьба в области идеологии. А художественная форма — лишь оболочка этих идейных позиций.

И позвольте мне в конце статьи с позиций моей педагогической профессии сказать вам, молодые люди: не будьте детьми, не попадайтесь на художественно выполненные удочки, имейте в виду, что иногда за яркой и драматической окраской скрывается крючок — чуждая нам идеология и взгляды.

Заметки и корреспонденции

«КП» объявляет тревогу

Тревога!.. Тревога!.. Тревога!.. Луч «Комсомольского прожектора» обнаружил на территории рижского завода «ВЭФ» новые станки и автоматы. Завод закупил их, но не нашел для них применения. И вот ценное оборудование под открытым небом.

Тревога!..

Комсомольцы сообщили о безобразии в партком и дирекцию завода. Но это было только началом. Девиз молодых энтузиастов — «сигнализировать и действовать», доводить до конца начатое дело.

Был составлен подробный список неиспользованного оборудования. Одновременно выяснили нужды цехов и участков в этом оборудовании, возможности его применения. Оказалось, что существует острая нужда в этих станках. Дирекция «ВЭФ» по сигналу «прожектористов» стала размещать оборудование в цехах. Некоторые станки были переданы другим заводам, некоторые были отданы школьникам для производственного обучения.

...Корреспондент «Юности» — в Центральном штабе «Комсомольского прожектора» при ЦК ВЛКСМ. Сюда на стол и легло донесение с рижского завода «ВЭФ». Одно из многих. На каждом — короткая пометка: «Из Челябинска», «Из Читы», «Из Пензы», «Из Омска»... Заместитель председателя Центрального штаба Василий Голубовский читает донесение индустриальной Горловки: «Комсомольский прожектор» — это все мы!»

— Знаете,— говорит он,— как называют в Горловке комсомольцев-контролеров? Двадцатипятитысячники. Так же, как некогда их отцов, вышедших на борьбу за социалистическое преобразование села. Каждый комсомолец Горловки — луч «КП». Двадцать пять тысяч лучей светят в городе.

Сегодня комсомолия страны — на трудовой вахте семилетки. Огромен разворот дел. Молодежные звенья в прошлом году выращивали кукурузу на 16 миллионах гектаров — половине всей площади, занятой под этой культурой. Только за прошлый год по комсомольским путевкам в районы Сибири и Дальнего Востока выехало свыше 150 тысяч юношей и девушек... Движение «Семь — в пять!», начатое молодежью Ленинграда, побудило миллионы комсомольцев начать соревнование за повышение производительности труда... Комсомол шефствует более чем над двумя тысячами промышленных объектов страны; 160 из них — всесоюзные ударные стройки.

«Постоянно освещать прожектором коммунистического контроля все участки производства»,— призвал Н. С. Хрущев. Эти слова стали девизом тысяч и тысяч молодых. «Комсомольский прожектор», «комсомольские лучи», «прожектористы» — эти понятия прочно сегодня вошли в обиход советских людей, как вошли ранее «семилетка», «ударная стройка», «комсомольская путевка»... Отряды «Комсомольского прожектора» — надежные помощники органов партийно-государственного контроля.

Лучи «Комсомольского прожектора» освещают дорогу в коммунистическое завтра, помогают молодежи города и села сегодня своим трудом решать «практически ту или иную задачу общего труда, пускай

О кинопублицистике

Исследовать жизнь! Исследовать современность! Исследовать так, чтобы это было понятно и близко современнику.

Анализируя современный фильм, мы как раз и должны говорить прежде всего о том новом в мышлении его авторов, что приводит к совершенно определенным художественным решениям и принципам, наиболее полно отражающим новый подход к миру.

Зритель должен узнать непременно новое об уже ранее известных ему вещах. Это может быть просто новая сумма знаний или же необычный взгляд на знакомый ему предмет.



«Дело о катушке». Инженер Л. Венчунас.

Всем комплексом своих возможностей фильм должен заставить зрителя отключиться от всех других дел, поверить происходящему на экране и соучаствовать ему.

Как мне кажется, наиболее успешная форма подачи материала — дружеская интимная беседа в соединении с юмором, когда автор фильма становится хорошим собеседником зрителя, ведя его по избранному заранее, но ненавязчивому и естественному пути рассуждений.

Понятно, что мне лучше всего знаком мой личный опыт (я пока сделал две короткометражки подобного рода). О нем я и буду говорить.

Вот фильм «Дело о катушке». Историю маленькой деревянной катушки для ниток мы старались возвести в степень большой народнохозяйственной проблемы, чтобы она взволновала всех!

(Продолжение на стр. 100).

О кинопублицистике

(Продолжение).

Сотню лет людей устраивало, что катушку делают из березы, а затем выбрасывают. Потребовалось более века, чтобы выход был найден — катушку можно делать из обыкновенных отходов бумажного производства! Сам по себе прекрасный и похвальный способ производства, найденный инженером Л. В. Венчунасом, нуждался, однако, не столько в пышном одобрении, сколь в немедленном внедрении. Ибо каждый год размышлений обходится государству в 5 миллионов рублей. А лет этих с 1944 года прошло немало!



«Кое-что о долголетии». З. Гердт: «Жизнь продолжительна, но...»

И вот ищется форма, чтобы не просто сообщить зрителю о новом способе производства катушек, а заставить его возмутиться безобразной волокитой, развернувшейся вокруг изобретения, и включиться в борьбу за его реализацию. А в этом были замешаны высокие учреждения. Итак, предстояло сделать сатиру.

Теперь немного о критике и о сатире. Критика существующих недостатков — это свидетельство здоровых сил общества, его желания изменить мир к лучшему. Однако одни и те же явления можно критиковать с разных позиций. Можно критиковать их с позиций всем недовольного мещанина, злопыхательски, а можно и видеть в этих недостатках неизбежные во всякой борьбе нового со старым вехи этой борьбы.

Критика вроде бы одна, да не одна! Во имя чего крити-

(Продолжение на стр. 101).

самую маленькую, пускай самую простую»,— как говорил Владимир Ильич Ленин.

«Прожектористы» чувствуют себя в ответе за развитие народного хозяйства. Они не останавливаются на полпути; они широко используют свое право постановки вопросов перед партийными органами, комиссиями партийно-государственного контроля, советскими и хозяйственными организациями, настойчиво добиваются, чтобы были приняты действенные меры. А многое «прожектористы» решают и сами в своих комсомольских организациях.

Отсюда, из Центрального штаба «Комсомольского прожектора», отправимся в путь — к молодым хозяевам жизни.

«Прожектористы» «Трехгорной мануфактуры» решили выяснить, почему каждый шестой метр ткани, выпускаемой комбинатом, годами лежит на торговых складах. Проверили отдел сбыта. Оказалось, что начальники и мастера красильного, печатного, отделочного цехов не интересуются судьбой товаров, знай себе «гонят план» — выпускают ткани с рисунками, которые заведомо не найдут спроса.

Итак, виновные найдены, вскрыты недостатки. Но вспомните девиз: «Сигнализируй и действуй!»

Комсомольцы «Трехгорки» выявили и другие совершенно нелепые вещи. Оказывается, художник получал премию за рисунок, еще не вышедший из лаборатории. Так что он мог совершенно не заботиться о том, удается ли на производстве применить его рисунок, есть ли необходимые краски и, наконец, понравится ли его работа потребителю. И появились в производстве старомодные рисунки, некоторые чуть ли не вековой давности. Носишь платье из такой ткани — и чувствуешь себя не то ветхозаветной помещицей, не то купчихой...

Комсомольцы комбината добились того, что рисунок ткани утверждается теперь по-новому. Ответственность за сбыт новой продукции несут сейчас все участки и отделы. Спрос на изделия повысился.

«Комсомольский прожектор» — поборник новой техники, технического прогресса. На одном лишь Харьковском тракторном заводе рейд отрядов «прожектористов» собрал более трех тысяч рационализаторских предложений. Один этот рейд принес заводу 150 тысяч рублей годовой экономии. Вот он, результат хозяйского подхода к делу, правильного понимания общественного долга!..

Мчится по Киеву «Победа» с надписью «Комсомольский прожектор». Делает остановки у магазина, детского сада, столовой... Комсомольский контроль бдителен и строг. Откуда «излишки» продуктов? Почему на прилавке один товар, а под прилавком — другой? Почему грязно?

В ресторане разбилась тарелка. Подумаешь, в любой столовой их бьют сотнями. Но «Комсомольский прожектор» столичного ресторана «Москва» выяснил, что только у них варварский бой посуды ежегодно наносит ущерб в 60 тысяч рублей! А по всей Москве более шести тысяч ресторанов, столовых, кафе, буфетов, домовых кухонь. Прикиньте-ка, во что обходится стране звон разбитой посуды!..

Горят комсомольские лучи. Их средоточие — Центральный штаб боевых дел.

— Обо всем не расскажешь: дел много,— говорит заместитель председателя штаба Василий Голубовский.— Важна суть. Только в труде можно стать настоящим коммунистом. Сейчас просто нельзя представить комсомол без целины, без ударных строек, без студенческих конструкторских бюро или вот без нашего «Прожектора».

Как не вспомнить в этой связи тридцатые годы! И тогда комсомол активно помогал партии в создании социалистической индустрии, в строительстве «Магнитки», Комсомольска-на-Амуре, Днепрогэса, Московского метрополитена, участвовал и в колхозном строительстве...

Донесения, донесения, донесения идут сегодня в Центральный Комитет комсомола, в боевой штаб «прожектористов». Рапортует колхозное село Ксаверовка на Киевщине:

«ЦК ВЛКСМ, Центральный штаб «КП».

Сто на сто — значит, со 100 гектаров обещаем получить по 100 центнеров зерна кукурузы и на площади 50 гектаров — по 450 центнеров сахарной свеклы. Нет ли опасности, что слова пойдут на ветер? Нет, залогом совесть комсомольская наша, беспокойные сердца. Быть высокому урожаю на комсомольских гектарах!»

По телефону из Барнаула:

«Когда свинарки Беловского совхоза комсомолки Валя Перегудова и Груня Паршина впервые на Алтае взялись вырастить по тысяче поросят, правду сказать, никто в это не поверил. Шутка ли, с 200—300 сразу на тысячу замахнулись! Бывало, зайдешь на свиноферму — что там делается... Грязь, с потолка капает, воздух тяжелый, не всякий поросенок

выдержит. Сейчас совсем иначе: сухо на фермах, чисто, воздух почти как на улице... Вы спросите: сдержали ли девушки слово? Сдержали. Вырастили больше чем по тысяче поросят. И сегодня таких «тысячниц» на Алтае уже за семьдесят. За 83 центнера мяса на 100 гектаров пашни будем мы бороться в этом году».

Докладывают волгоградские механизаторы:

«В совхозе «Рассошинский» применяется скоростная жатва хлебов. Молодые механизаторы А. Желтухин, И. Дерипашко — вот первые энтузиасты скоростной уборки. «Секреты» их «космических» скоростей изучаем мы, молодые механизаторы. Обязуемся...»

Обязуемся... Это значит: вот что уже сделано, а вот что будет!.. Молодой строитель коммунизма видит глубокий смысл своих дел. Очень хорошо это выразили комсомольцы — строители газопровода Бухара — Урал: «Путь наших механизированных колонн пройдет по безлюдным барханам, сквозь зной пустынь, там, где не ступала нога человека. Но мы знаем: весь наш народ прокладывает невиданный путь, который станет магистралью для всего человечества. И нас не пугает суровость пустыни».

Вот это великое чувство деяния имел в виду Владимир Маяковский, когда сказал:

«Сегодняшний,
мой коммунизм.
Его я пою,
приветствую,
праздную».

Механический экзаменатор СОЗДАН СТУДЕНТАМИ

Вахтеры ворчат: «Все, как люди: день кончился, сдали ключи, разошлись. А этим, видно, больше других надо...» Под «этими» подразумеваются члены студенческого конструкторского бюро. Давным-давно погасли огни в лабораториях института, торопливо и шумно разошлись «вечерники». Только светятся три окошка на четвертом этаже Московского энергетического института: члены СКБ уходят домой последними.

Не будем преувеличивать: это редкость — студент, которого после занятий из института не вытащишь. Было время, когда заволновались и родители: их дочери и сыновья пропадали в институте не только с утра до вечера, но и в каникулы и, смешно сказать, в праздники. Штаб СКБ — его инициативная группа и организационный центр — был вынужден принять даже специальное постановление: «Категорически запретить работу по праздникам и воскресеньям».

...Из года в год несколько тысяч студенческих проектов — курсовых и дипломных — поступает в архивы кафедр. Рулоны чертежей пылятся на полках.

— Ни один проект не должен идти в корзину! — решили студенты.

Ведь сделать свое существование полезным людям, практически помочь производству можно уже сейчас, сегодня, не ожидая окончания института. Ректорат и парт-

О кино-публицистике

(Продолжение).

ка — во имя отрицания и охаивания или во имя созидания нового — в этом все дело.

Нам очень хотелось помочь изобретателю и тем самым избавить государство от больших непроизводительных расходов.



«Кое-что о долголетии». Очередь к источнику № 4.

Решенный в публицистической форме внешне сдержанного, но внутренне страстного рассказа о трудной судьбе важного изобретения, фильм, как нам кажется, был правильно воспринят зрителями. «Какова судьба катушки сейчас?» — такой вопрос мы слышали на всех встречах со зрителями. Основная цель была достигнута: люди не остались равнодушными. А это — главное! У фильма и изобретения нашлись тысячи самых преданных сторонников, которые сделали свое дело. В защиту изобретения выступила пресса. Фильм посмотрели в ЦК нашей партии, затем он был показан товарищу Н. С. Хрущеву.

В судьбе изобретения произошел коренной перелом, а фильм вышел на экраны.

Никита Сергеевич вернулся к судьбе изобретения и в своем выступлении на Всесоюзном совещании железнодорожников в мае прошлого года, уделив ему довольно много внимания. Для нас, авторов фильма, это был настоящий праздник — наш труд получил такую оценку! Особенно же радостно было, конечно, сознавать, что дело, за которое мы боролись, победило!

(Продолжение на стр. 102).

О кино-публицистике

(Продолжение).

Я рад сообщить читателям, что уже сейчас изобретатель проводит испытания изготовленного образца автомата для производства литых катушек и что после этого автомат будет пущен в производство.

...Этот фильм мы снимали вместе с М. Беликовым, студентом операторского факультета ВГИК'а. Наша творческая дружба продолжалась в работе над новым фильмом «Кое-что о долголетии». Это, как мы задумали, эксперимент в области документальной комедии. Вообще о документальной комедии говорить не принято. Тем не менее этот жанр существует и представляет несомненный интерес. Комедия — вообще весьма сложный жанр, а документальная комедия — в особенности. Одни и те же явления жизни выглядят по-разному в зависимости от того, как к ним подойти.

В нашем фильме есть сюжет о кавказских минеральных водах, сделанный в сатирическом плане. Один из эпизодов посвящен событиям, связанным с источниками, вокруг которых группируются больные. Что может быть смешного в том, как пьют воду? Оказывается, очень много!

В определенные часы, отведенные для приема пищи, масса больных устремляется к источникам, чтобы выпить свой стакан минеральной воды. Мы взяли камеру и отправились перед обедом к источнику № 4 в Ессентуках. Нашим глазам открылась незабываемая картина: при входе в галерею стояли две грандиозные очереди, которые выстоять можно, только обладая незаурядным здоровьем! И так три раза в день! В то же время мы обратили внимание на то, что некоторые источники закрыты и не используются.

Были засняты очереди и закрытые источники. Однако простое сопоставление этих кадров хотя и давало необходимый результат, все же было весьма прямолинейным и по-

(Продолжение на стр. 103).

тийный комитет поддержали ребят. Нашлось помещение, на кафедрах выпросили приборы, приспособили кое-какую списанную аппаратуру. Паяльники покупали на свои деньги. Так родилось СКБ МЭИ. Что это такое? Не просто две комнаты на четвертом этаже, а 220 энтузиастов, 220 фантазеров, 440 умелых рук.

Без конца в мастерской СКБ трещит телефон. Чаще всего спрашивают Кушелева. Это начальник институтского штаба СКБ. Юрий Николаевич — доцент кафедры автоматики и телемеханики. Его коллеги — ассистенты той же кафедры Отто Державин, Анатолий Кузнецов, Маргарита Коломейцева — шефствуют над «молодняком»: студенческими группами в СКБ. Впрочем, шефов совсем недавно стали называть по отчеству. Эти молодые преподаватели составляли ядро СКБ в самом начале его существования. Они первые «заболели» кибернетикой. Ходили по институту в поисках свободной аудитории или выклянчивали разрешение остаться на кафедре. Мастерили первые автоматы: черепаху, которая отыскивала дорогу, реагируя на свет; машину для игры в «крестики-нолики». Называли эти автоматы «кибернетическими игрушками». Вот с игрушек-то и началось...



Слева направо: Валерий Селезнев, Александр Савченко и Лариса Алешкина за монтажом нового прибора.

Над столом завхоза, секретаря и вообще незаменимого человека в СКБ Тамары Харитоновой прикреплен образец трудового соглашения — в своем конструкторском бюро студенты, выполняя договорные заказы, получают заработную плату.

Казалось бы, энтузиазм и зарплата — две вещи несовместимые. Однако штаб СКБ настойчиво добивался разрешения именно работать за деньги. Ребята говорили: это прибавит чувства ответственности, трудовой рубль халтуры не терпит. Это же поможет воспитать у будущего инженера должное уважение к экономике и организации производства.

...Есть на автозаводе имени Лихачева экспериментальный цех электронагрева. Здесь закаливаются детали различной формы и размеров. Закалку необходимо вести при самых разных температурных режимах. Точно выполнять эти режимы без программного регулятора невозможно. Галя Агафонова, Ян Уличный, Лев Кулаков и четверокурсник Толя Буденный под руководством аспирантки Риты Коломейцевой начали разработку конструкции «программного регулятора для закалки деталей».

Студенты с увлечением искали наиболее рациональную схему прибора, кропотливо его собирали. Год назад автомат успешно прошел испытания. И на ЗИЛе получили «постоянную прописку» уже три таких прибора, изготовленных студентами МЭИ.

Авторы прибора уже давно защитили свои дипломные проекты. Инженер Галя Агафонова по-прежнему пропадает в бюро. Теперь она сама руководит группой СКБ, которая по договору с МВТУ имени Баумана «придумывает» и делает приставку к вычислительной машине «Урал-2»; это позволит математически решать графические задачи.

Самый младший автор прибора — Анатолий Буденный — защитит свой диплом через два-три месяца. Его проект будет, как принято теперь говорить, совершенно реальным: четвертый вариант программного регулятора для закалки деталей.

«Старички» СКБ уже на 5-м курсе. Иван Еремин, Владимир Дятлов, Евгений Афанасьев года два назад помогали старшекурсникам, учились, глядя на них. А сейчас они втроем разрабатывают автомат «репетитор» для обучения английскому и немецкому языкам. Ребята видят свой автомат таким: светло-коричневая панель, матовый четырехугольник экрана, на нем «возникает» вопрос. Обучаемый должен на пишущей машинке «отстучать» ответ или перевод текста. Умная машина быстро «сообразит», насколько правильна фраза, и отреагирует условным сигналом.



На снимке: члены СКБ Юрий Готовский (сидит) и Вячеслав Усков монтируют «электронный мозг» черепахи для развозки книг в библиотеки.

И, что очень важно, этот автомат будет дешевым. За границей в подобных приборах используются сложные вычислительные машины, здесь же будет простое логическое устройство. Такой репетитор будет «по карману» многим учебным заведениям...

Радиолюбители всегда «чуют» друг друга. Вот и в СКБ у них свое землячество. Вдохновитель его — Вячеслав Сыров. Они разрабатывают малогабаритный приемник на транзисторах. Когда схема этого приемника, очень дешевого и надежного, будет готова, ребята предложат ее радиозаводам. И, быть может, разойдутся по стране портативные приемнички — легкие, изящные, с прекрасным звуком. А пока этот приемничек существует лишь в мечтах да в толстой голубой тетради. Над каждой страницей в ней сверху — число и фамилия студента. Ниже — схема какого-либо узла будущего приемника.

...Рядом с телефонным аппаратом на столе секретаря бюро — тоненькая тетрадь, своего рода вахтенный журнал СКБ. Кто-то написал на обложке «Оперативная память» СКБ» (оперативная память — часть кибернетической машины).

И хранит эта тетрадь многое.

Первая попавшаяся страница...

23 октября. Анисов на опытах в клинике. (Анисов с товарищами делает реограф-прибор для определения содержания гемоглобина в крови.)

29 октября. Коломейцевой и Буденному звонить в комитет по делам изобретений (по поводу авторского свидетельства на программный регулятор).

1 ноября. Харитоновой, Кушелеву или Державину звонить в отдел снабжения. (Наконец-то СКБ получит эти высокочастотные триоды!)

3 ноября. Берг просил быть в совете кибернетики в Академии наук. (Академик А. И. Берг интересуется конструкторским бюро студентов МЭИ. Речь идет о совете кибернетики в Академии наук.)

16 ноября. Доклад А. В. Напалкова и Ю. Н. Кушелева «Анализ некоторых направлений исследований по кибернетике за рубежом». Приглашаются Коломейцева, Рощин, Шкарлет, Усков, Агафонова, Еремин, Дятлов, Державин, Юшкин (наиболее опытные и теоретически подготовленные люди)...

Каждый день — новые записи и новые интересные дела в студенческом конструкторском бюро МЭИ. В свое время были сделаны в этой летописи СКБ записи, свидетельствующие о том, что ребята не ограничивались одной темой, а занимались и другими, не менее интересными.

О кино-публицистике

(Продолжение).

верхностным. Нас заинтересовало: чем же заняты больные в течение всего дня? Оказалось, что львиная доля времени уходит на простаивание в очередях на различные процедуры, в столовую, к источникам, и, хочет того больной или нет, он вынужден постоянно думать о своих болезнях.

Оставшееся время больные проводят каждый в зависимости от своей инициативы: кто занят домино, кто присутствует на вечере пенсионеров, кто просто болтается без дела, ожидая очередной процедуры. Говорить о системе какой-то работы с больными просто не приходится. В какой-то мере дело спасает необыкновенная активность фотографов, расставленных у каждой более или менее заметной кочки и не выпускающих из своих рук не в меру тщеславных больных.

И вот рождается сценарный план.

400 тысяч больных ежегодно приезжают на воды. Их надо чем-то занять. Вначале предлагаются давно проверенные средства. Немедленно врыли десятки столов, и тысяча любителей популярной народной игры уселась за домино. Но оставались 399 тысяч! Что делать с ними?! Занялись устройством вечеров пенсионеров. За бешеные деньги достали несколько столичных знаменитостей (даются афиши). Ну, молодежь, естественно, отправили на танцы. Однако 300 тысяч больных вместе с частью местных жителей продолжали слоняться без дела! Курортное управление задумалось еще раз. И вдруг пришла блестящая идея! Явившись однажды к источникам, больные увидели, что большинство их закрыто. И результаты превзошли все самые смелые ожидания: у оставшихся источников больные стали проводить значительную часть дня, а свободное время, естественно, резко сократилось! Словом, проблема была решена!

Так решается эпизод с источником. И хотя всем понятно,

(Окончание на стр. 104).

О кинопублицистике

(Окончание).

что специально никто источников не закрывал, суть дела от этого не меняется, и избранный прием помогает нам более остро почувствовать всю недопустимость подобного положения вещей.

Зритель неизменно встречает этот эпизод дружным смехом и аплодисментами.

Я позволил себе привести столь пространный пример, чтобы хоть как-то ввести вас в лабораторию создания эпизода документальной комедии, в данном случае сатирической.

А теперь о самом фильме. Он сделан в виде телевизионного ревю-обозрения. Эта форма позволила объединить разнородный материал.

Тема долголетия обязывает подойти к ней весьма серьезно. Над нею бились лучшие умы всех времен и всех народов, «но,— как говорится в нашем фильме,— умирали прежде, чем могли найти ключ к продлению хотя бы собственной жизни!». Мы поставили перед собою совершенно другую задачу. Сама тема таит в себе большие возможности смешного и необычного. «Надо сделать комедию!» — решили мы, тем более что сказать новое слово в науке о долголетии нам, очевидно, не удастся.

И вот зритель, услышав название фильма, ожидает получить новые ценные советы, как продлить собственную жизнь. Однако никакого конкретного совета он не получает, кроме одного: не надо думать о долголетии, надо работать, любить жизнь в ее многочисленных прекрасных проявлениях, трудиться над ее улучшением, и тогда вы непременно проживете даже столько, сколько прожил наш герой Махмуд Эйвазов,— 153 года! А во время просмотра фильма зритель смеется, что само по себе удлиняет его жизнь, по самым строгим законам науки!

Таковы те мысли, которыми я хотел поделиться с читателями по поводу кинопублицистики.

Виталий АКСЕНОВ,
студент-дипломник ВГИКа

детельствующие, что к работе готовы и самообучающийся автомат, и искусственный экзаменатор, и три варианта терморегулятора для закалки деталей, и оксигемометр — прибор для определения содержания кислорода в крови у новорожденных, и несколько приборов для контактной дефектоскопии. Десятки умных аппаратов.

Студенты снова и снова ищут схемы новых приборов, обдумывают новые эксперименты. У них уже есть история. Члены СКБ с нежностью вспоминают о «своем детстве», о своих товарищах той поры, которые сейчас не с ними. Какие отсюда вышли таланты! Но среди нынешних членов СКБ тоже немало талантливых ребят и, главное, боевой дух тот же: одержимость новыми идеями, потребность самим делать все от начала до конца своими руками (это называется почувствовать прибор в металле). А началось все с «игрушек»...

Г. ЯВОРСКАЯ



Иван Цыганков.

14 ЧАСОВ ПОДВИГА



Владимир Ковалев.

Об этом рассказала газета «Комсомолец Таджикистана». 25 декабря 1962 года на Гиссарской метеорной станции Института астрофизики Академии наук Таджикской ССР предполагалось провести наблюдения за распространением радиоволн в ионосфере. В телеграмме, полученной из Мирового центра оповещения, говорилось, что в ближайшие дни ожидается сильная магнитная буря и возможно нарушение радиосвязи на коротких волнах.

Сотрудники станции тщательно подготовили научную аппаратуру. Но случилась беда. На строительстве, расположенном по соседству, экскаватор, копающий траншею, оборвал два силовых подземных кабеля.

Метеорная станция осталась полностью без электроснабжения. Нависла угроза срыва научных наблюдений, с такой тщательностью подготовленных всем коллективом.

Не дожидаясь аварийной бригады, комсомольцы электромеханик В. Я. Ковалев и лаборант И. Ф. Цыганков решили собственными силами устранить аварию.

В дождь и снег они откопали оборванные кабели и приступили к их сращиванию. Четырнадцать часов проработали энтузиасты в траншее, заливаемой водой, освещая место повреждения карманными фонариками. Им помогали инженер Е. В. Струк и старший лаборант А. А. Никонов. Глубокой ночью порванные кабели были соединены.

Благодаря самоотверженности комсомольцев авария была ликвидирована. Научные наблюдения проведены успешно.

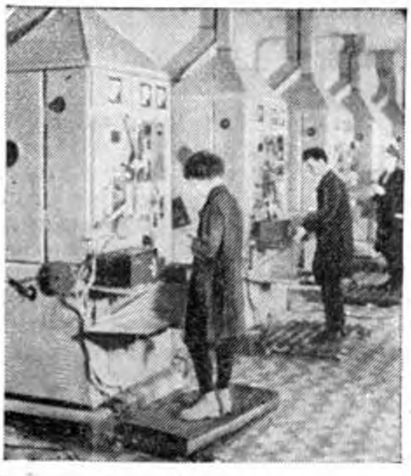


«ЧТОБЫ, УМИРАЯ, ВОПЛОТИТЬСЯ...»

На железнодорожных магистралях Советского Союза появился новый серийный тепловоз «ТЭЗ № 3725». От своих многочисленных собратьев он отличается надписью на борту «Борис Главан».

Это имя одного из героев подпольной организации «Молодая гвардия» присвоено тепловозу по просьбе пионеров и комсомольцев Молдавии. Несколько месяцев собирали они металлолом. Полученные средства пошли на строительство мощной машины.

На снимке, сделанном в Кишиневе, запечатлен момент торжественных проводов тепловоза «Борис Главан» в первый рабочий рейс.



ТРИ КИЛОМЕТРА ПРОВОДА ИЗ КАПЛИ МЕТАЛЛА

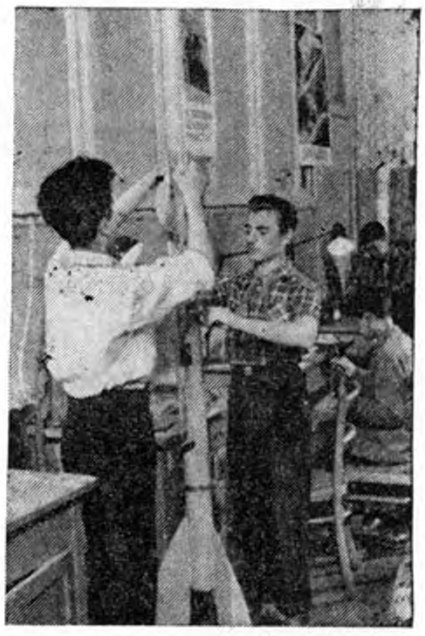
Что можно сделать из одной капли металла весом в два грамма? Оказывается, очень много — до трех километров микропровода. Даже в стеклянной изоляции такой провод намного тоньше человеческого волоса.

На нашем снимке генераторный цех завода «Микропровод» в Кишиневе. Именно здесь происходят чудесные превращения металлической капли.

Большинство рабочих этого уникального предприятия — молодежь, комсомольцы. А в некоторых цехах, где идет сборка точнейших электроизмерительных приборов, трудятся исключительно девушки.

ШКОЛЬНИКИ СТРОЯТ РАКЕТЫ

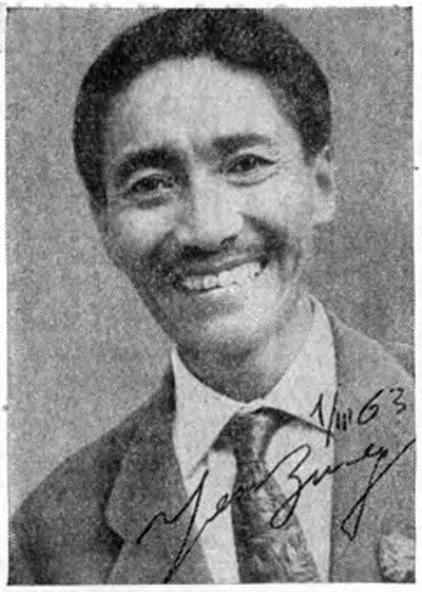
Посетители Выставки достижений народного хозяйства в Москве могли обратить внимание на миниатюрные действующие ракеты, представленные в павильоне «Юный техник». Многоступенчатые радиоуправляемые



«космические» корабли «Разведчик» и «Пионер Кубани» были сконструированы и изготовлены школьниками - старшеклассниками Краснодара, в кружке ракетостроения при городском Дворце пионеров.

Сейчас юными конструкторами создан новый тип «космического» корабля — «Салют». Эта ракета снабжена аппаратурой для фотографирования Земли с воздуха и автоматически действующим парашютом. На снимке вы видите монтаж ракеты типа «Салют».

Юные изобретатели не останавливаются на достигнутом. Уже закончены проектные работы над ракетами еще более сложного типа — «Дружба» и «КЭЦ» (Константин Эдуардович Циолковский).



Передаю привет советской молодежи через ее журнал «Юность», который когда-то обстоятельно рассказал о моей победе над Джомолунгмой.

Очень хорошо, что советская молодежь любит альпинизм — спорт смелых и отважных. Альпинизм закаляет волю, учит преодолевать трудности, препятствия, укрепляет дружбу народов разных стран.

Желаю успеха советской молодежи, советским альпинистам

«ТИГР СНЕГОВ» — ГОСТЬ СОВЕТСКИХ АЛЬПИНИСТОВ

Тридцать три года десяток отлично оснащенных экспедиций безуспешно штурмовал высочайшую вершину земли — Джомолунгму (8 882 метра).

В семи таких попытках в качестве носильщика и проводника принимал участие шерп Тенцинг. Наконец 29 мая 1953 года высотный полюс земли был покорен. Первыми на него поднялись Норгей Тенцинг и новозеландский пчеловод Эдмунд Хиллари — участники британской экспедиции, возглавляемой Джоном Хантом.

О покорении Джомолунгмы (Эвереста), о победе человеческого духа над силами природы, о смелости и мужестве альпинистов еще в 1955 году было рассказано на страницах нашего журнала.

«Много километров и лет прошел я, чтобы оказаться на вершине»,— заявил впоследствии Тенцинг. Простой носильщик-проводник, спустившись с Джомолунгмы, стал национальным героем Индии и Непала. Тогда ему исполнилось 38 лет. О Тенцинге теперь слагают песни и былины.

Еще в 1938 году Тенцингу первому в мире было присвоено почетное звание «Тигр снегов». Медаль «Тигра» вручается шерпам, добившимся выдающихся успехов в подъеме на большие высоты. Их пока только сорок четыре.

И вот по приглашению Федерации альпинизма СССР известный восходитель приехал в гости в Советский Союз. Четыре дня Тенцинг пробыл в Москве. За это время мне часто приходилось встречаться с ним как в официальной обстановке — на пресс-конференциях и собраниях, так и в узком кругу — при осмотре Москвы, за товарищеским ужином.

Тенцинг не любит произносить большие речи, но охотно отвечает на многочисленные вопросы. Хочу поделиться с читателями «Юности» некоторыми его высказываниями.

Тенцинг был очень рад, получив приглашение посетить Советский Союз. Перед отъездом его принимал Джавахарлал Неру и сказал: «Лети, Тенцинг, туда, это великая страна».

Младшая дочь Тенцинга, Нима, кстати, тоже альпинистка, поднимавшаяся до 7 тысяч метров, готовится к поступлению в медицинский институт. Тенцинг сказал, что был бы счастлив, если бы его дочь могла учиться в Москве.

Тенцинг очень высокого мнения о наших альпинистах. Альпинисты всех стран, говорит он, пользуются при восхождениях носильщиками, и в основном из числа его земляков-шерпов, а советские альпинисты носят свои грузы сами — добиваются победы своим собственным трудом, что значительно спортивнее.

Тенцинг подтвердил высказанное им ранее мнение, что на Джомолунгму можно подняться без кислородных приборов. Для этого потребуется организовать еще один дополнительный лагерь, на высоте 8 650—8 700 метров.

На вопрос о возможностях и перспективах американцев и японцев, готовящихся к штурму Эвереста в этом и будущем году, Тенцинг сказал, что ажиотаж вокруг Эвереста все еще продолжается. Американская экспедиция хорошо подготовлена, но слишком громоздка и хочет решить сразу много задач — подняться, кроме Джомолунгмы, на восьмитысячник Лхоцзе и семитысячник Нупцзе. Что касается японцев, то они народ выносливый и упорный. А вообще при штурме Эвереста решающий фактор — состояние погоды.

Несколько раз Тенцинга просили высказаться о проблеме «снежного человека». Он всюду заявлял, что, хотя занимается альпинизмом 30 лет и большую часть своей жизни провел в горах, он ни разу не встречал «снежного человека». Лично он, Тенцинг, уверен, что такого существа, как «снежный человек», в природе не существует. Вероятнее всего, это гималайский медведь «балу».

Во время пребывания в Москве Тенцинг первым из зарубежных спортсменов был награжден большой Золотой памятной медалью «За выдающиеся спортивные достижения».

А. ПОЛЯКОВ

Спорт

А. КУЛАКОВ

БУДУЩИЕ РЕКОРДЫ

Ученый-физиолог из ГДР доктор А. Фрухт в своей книге «Границы человеческих возможностей в спорте» предполагает, что через 8 000 лет рекорд в беге на 100 метров будет равняться пяти секундам!

А. Фрухт предсказывает рекорды не только за много тысяч лет вперед, но и ближайшие — на Олимпийских играх в 1972 и 2000 годах. Его книга вышла незадолго до Олимпийских игр в Риме, и, как осторожно выражаются ученые, совпадение предсказанных и действительных результатов на этих играх было удовлетворительным.

В своих «пророчествах» Фрухт пользуется не черной магией и не картами для гадания, а высшей математикой. Он изучил динамику роста мировых рекордов начиная с 1896 года, то есть почти за 70 лет, и составил специальную систему уравнений. Ею он и пользуется в разработке гипотез о будущих спортивных достижениях. В своей книге Фрухт сделал вывод, что рекорды будут расти по снижающейся кривой — «чем дальше, тем медленнее».

Но прошел год после Олимпиады в Риме, и на кривой возникли скачки — рекорды поднялись вверх: Брумель прыгнул в высоту на 2,27 метра, Тер-Ованесян в длину — на 8,31 метра, наконец, финн Никула с шестом — на 5,10 метра! И так не только в легкой атлетике, но и во всех видах спорта. Не означает ли это, что теория Фрухта неверна, что кривая рекордов будет по-прежнему круто ползти вверх?

Вероятно, нет. Представьте себе, что трамвай пустили со скоростью баллистической ракеты. Что с ним будет? Он разлетится на кусочки. Сопромат остается сопроматом. Прочность человеческого тела не беспредельна, она не рассчитана на такие сверхскорости и усилия. Уже сейчас сила первого толчка в тройном прыжке доходит до нескольких сот килограммов. Правда, это происходит долю секунды, поэтому нога выдерживает нагрузку.

Ученые могут определить с помощью приборов, какие усилия будут испытывать отдельные суставы и мышцы при различных скоростях бега, в прыжках, в поднимании тяжестей и т. д., и тем самым выявить предельную прочность человеческого тела.

Потому прав немецкий ученый Фрухт, что кривая роста рекордов поползет вниз. Но это случится в нескором будущем. В наше время рекорды быстро растут, и на это есть объективные причины. Ученые считают, что таких причин пять.

Первое. Совершенствование спортивного инвентаря. Прыжок Никулы с шестом на 5,10 метра стал возможен только после изобретения фиберглассового шеста. Копьеметатели приблизились к 90-метровому рубежу благодаря планирующим копьям.

Второе. Психология. Если человек убежден, что какой-либо рубеж преодолеть невозможно или что это доступно только для избранных, он отступает без боя. С 1948 года по 1955-й официальный рекорд СССР по прыжкам в высоту не превышал двух метров. Но стоило Юрию Степанову взять высоту в 2 метра — и вслед за ним ее преодолели в течение первого года десять прыгунов, а в течение второго — тридцать!

Третье. Совершенствование спортивной техники. Если бы Юрий Власов пользовался в толчке техникой начала века, он вместо 210 килограммов толкнул бы только 170. В настоящее время спортивная техника резко возросла, она стала, как говорят спортсмены, рациональной. Но тренеры и ученые постоянно находят все новые и новые детали в ее улучшении. Техника будет расти бесконечно, и, видимо, за счет ее совершенствования спортсмены будут устанавливать рекорды.

Четвертое. Количество тренировочной работы. Олимпийский чемпион 1956 года в марафонском беге француз Аллан Мимун пробежал в тренировках 85 000 километров! Напомним, что окружность земли по экватору составляет 40 000 километров и Магеллан, впервые обогнувший на корабле земной шар, затратил на это три года. Спортсмены стали тренироваться намного больше, чем это было раньше. Однако во многих случаях объем тренировочной работы возрос настолько, что невольно спрашивается: а что же дальше? И в самом деле, австралийский пловец М. Роуз перед Олимпийскими играми в Риме проводил в воде по восемь часов ежедневно! Некоторые зарубежные пятиборцы тренируются 18—21 раз в неделю, то есть почти три раза в день! Неужели же спортсмены будущего будут тренироваться по пятнадцать часов в день? Конечно, нет. Уже теперь многие спортсмены стараются сократить количество тренировочной работы за счет улучшения ее качества. И здесь на помощь приходит наука — пятый фактор роста рекордов.

Спортивная наука стала широко развиваться лишь в последние пять — десять лет. Сегодня она включает в себя и физиологию, и биохимию, и медицину, и кибернетику.

Но ученые занимаются не только вопросами сегодняшней тренировки — они думают и о будущем. Иногда их мысли идут неожиданно. Так, лауреат Нобелевской премии английский физиолог Арчибальд Хилл предложил использовать в спорте известную биохимическую закономерность: скорость реакции зависит от температуры тела. Он подсчитал, что если температура мышц спортсмена повысится на два градуса, скорость их сокращения увеличится на 20 процентов. Следовательно, если каким-либо искусственным путем удастся поднять температуру мышц спринтера на эти два градуса, то он сможет пробежать 100 метров за 8 секунд. Но против теории Хилла можно выдвинуть по крайней мере три возражения. Первое из них отмечается самим Хиллом: на такой скорости мышцы и связки могут не выдержать возникающих перегрузок. Поэтому Хилл предлагает сделать сначала эксперимент на гончих собаках. Во-вторых, совершенно неясно, как подобный перегрев отразится на здоровье спортсмена. И, наконец, третье и самое главное,— зачем это нужно? Ведь такой искусственный метод, равно как и допинг, вдыхание кислорода, электрическая стимуляция и тому подобное, несовместим с самой идеей спортивных состязаний, где должны побеждать здоровье, сила и воля — физическое совершенство человека.

Ну, а пока на ближайшее будущее можно ждать вполне реального результата на эту дистанцию — 9 секунд.



Недавно мне рассказали об одном собрании писателей-сатириков. Собрание проходило под лозунгом «Нашей молодежи — книги про нее же!». Там много говорили о том, что надо изучать молодежь, встречаться с ней, чаще бывать в творческих командировках — в молодежных кафе, на черноморских пляжах, на танцплощадках...

Писатели делились опытом. Чтобы быть ближе к молодежи, один драматург поселился в отдельной квартире дома для молодоженов, другой взял шефство над яслями, а известная поэтесса постриглась под мальчика.

Солидный литературовед сказал, что он всю жизнь пишет о молодежи. Он прочитал свою последнюю статью «Молодежь Новгородского княжества, ее вкусы и обычаи».

Воспоминаниями «Как я был молодым» поделился редактор одной молодежной многотиражки.

Постановили: установить постоянные дежурства во Дворце бракосочетания, своими силами посетить турпоход и встретиться с юношеской футбольной командой. В общем, сделать все, чтобы больше писать о молодежи.

Я тоже решила: пусть апрельский «Пылесос» будет про молодежь. Но пока некоторые писатели-сатирики изучают ее жизнь, мы предоставим слово молодым авторам.

Галка ГАЛКИНА

Б. БОРИСОВ

ЭПИЗОД



В кабинете стояла тишина. Шторы на окнах приспущены. Настольная лампа была повернута так, что свет падал на пол круглым пятном. Я стоял в центре пятна.

Человек за столом притушил сигарету в пепельнице.

— Имя? Фамилия?

Я ответил.

— Возраст?

Ответил.

— Специальность?

Ответил.

— Чем занимаетесь в нерабочее время?

— Видите ли...

— Говорите короче! — Это бросил другой, который сидел в тени, в глубоком кресле.

Я постарался ответить короче. Первый нажал кнопку.

— Принесите личное дело!

На стол легла тоненькая папка. Он полистал страницы. В одном месте задержался. Тотчас вскочил с кресла второй и тоже склонился над бумагами.

— Социальное положение? — резко спросил он.

— Холост,— сказал я, подумав.

— Социальное, а не семейное! Из рабочих? Из крестьян?

— Отец у меня повар...

— Ясно. Из мещан.

Я стиснул зубы, но промолчал.

— Выйдите в коридор,— сказал первый.— Мы обсудим.

Я вышел. Попытался закурить, но спички ломались одна за другой. Минут через пять меня позвали.

— Решено вам оказать доверие.— Человек за столом сдвинул брови.— Но смотрите. Помните об ответственности.

— Я не один,— несмело сказал я.

— Что же вы раньше молчали? Кто второй?

Я не успел ответить. Человек из кресла осведомился:

— Вы в близких отношениях?

— Н-н-не знаю.

— Но это проверенный человек?

— Да!

Первый глубоко задумался... Потом вопросительно посмотрел на второго. Второй утвердительно кивнул. После этого первый протянул мне два долгожданных картонных квадратика.

На каждом из них было напечатано то, что я прочитал с нескрываемой радостью: «Дорогой друг! Совет молодежного кафе приглашает тебя на вечер отдыха, который состоится...» и т. д.



Рисунки В. Гальдяева.

Рисунок И. Сычева.



Придя в молодежное кафе, вы можете хорошо отдохнуть, побеседовать с друзьями, поиграть в шахматы, послушать музыку, потанцевать...

Юрий КИРИК

ВИНОВНИК

Главснабгвоздь. Второй этаж. Комсомольское бюро. Открываю дверь. Двое, высокий блондин и низенький брюнет, пишут красной краской плакат:

Ударная стройка — общее дело!
Гвоздй гвоздем лодырей смело!

Кажется, попал именно туда, куда мне нужно.

— Товарищи, я с ударной комсомольской стройки. У нас осталось всего две тонны гвоздей, а ваш директор не хочет помочь. Может быть, вы...

— Некогда нам,— говорит блондин.

— Плакаты делаем,— говорит брюнет.

И хором:

— Приходите завтра!

Прихожу завтра. Двое, высокий и низенький, пишут плакат:

Коль нет гвоздей,
так стройка — ноль.
Такую гвоздь играет роль.

— Товарищи,— кричу я,— на ударной стройке полтонны гвоздей! Помогите!

— Плакаты делаем,— говорит блондин.

— Некогда нам,— говорит брюнет.

И хором:

— Приходите завтра!

Прихожу завтра. Двое, высокий блондин и низенький брюнет, сидят на столе и разговаривают. Они написали все плакаты. Последний еще сохнет:

Даешь гвозди для строек страны,
Со шляпкой, острые, без кривизны!

— Товарищи, — говорю я упавшим голосом,— стройка остановилась: гвозди кончились.

— Ну вот, что же вы раньше-то молчали?! — рявкнул мне блондин в левое ухо.

— Ну вот, где же вы до сегодня прохлаждались? — гаркнул мне брюнет в правое ухо.

И хором:

— Ну вот, есть отличная тема для разгромного плаката:

На тех обратим весь гнев свой и пыл,
Кто стройку гвоздем обеспечить забыл!

Рисунок Е. Скакальского.



К. ЮРЬЕВ



НА ПУТИ К ЗНАНИЮ

Игорь пришел домой в отличном настроении. Он давно ждал этого дня, ждал и боялся.

А теперь можно праздновать. Впрочем, как это сделать? Ресторан? Театр? Нет, сегодняшний успех стоил бóльшего.

— Ну, ладно, — решил Игорь,— отосплюсь, отдохну вечерок, а там придумается само собой.



Но утро следующего дня не стало мудренее вечера. Во сне ничего не придумалось. Игорь стал беспокоиться: а что если он и не выдумает ничего путного? В институт в этот день Игорь не пошел. Он лежал на тахте и все думал, думал...

Еще через день он завалил зачет по электротехнике. Когда Игорь уходил из лаборатории, где сдавались зачеты, на лице его было торжественное выражение. Ребята удивлялись, а Игорь думал: «И пусть, черт с ним, с зачетом, главное-то дело сделано!»

После этого Игорь перестал ходить в институт вообще. Он лежал на тахте, соображал и прикидывал. Через неделю ему позвонил староста группы и спросил, почему Игорь пропускает занятия. Игорь ответил, пытаясь за шутливым тоном скрыть озабоченность, что никак не найдет способа отметить свой успех.

Староста, посмеявшись на другом конце провода, предложил ему высечь эту дату на мраморной плите. Игорь тоже смеялся, показывая тем самым, что ценит остроумие, но, положив трубку, сразу же стал собирать деньги.

На задворках кладбища он долго торговался о чем-то с рыжим осипшим дядей. Сошлись они на двадцати новых рублях. В тот же вечер Игорь приволок домой небольшую серую доску с золотыми буквами. И тотчас к нему вернулось спокойное, ровное настроение.

Доска была засунута в нижний ящик письменного стола. Лежит она там и сейчас. Игорь выдвигает иногда ящик и пристально смотрит на пыльную мраморную доску.

На ней золотыми буквами высечено:

«26 октября 1962 года Игорь Неверов с седьмого захода пересдал теоретическую механику».



Рисунки И. Оффенгендена.

ШУТКИ-МАЛЮТКИ

М. ЛИБИН

ТВОРЦАМ КЕРАМИКИ

Творцам керамики —
Хвала и честь.
И если нам подчас
Убогие вещицы предлагают,
Художник говорит: «А я
при чем?
Ведь следует учесть,
Что и горшки не боги
обжигают!»



ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Слон говорил слонихе:
«Моя крошка...»
А в крошке —
Тонна
И еще немножко.





«З У Б»

Имела жаба
Зуб на крокодила.
Но крокодилу это
Не вредило.

Рисунки В. Гальдяева.

Виктор СЛАВКИН

1. СУДЬБА

«Сегодня скажу ей все»,— твердо решил я. Вечером мы встретились и пошли в кино. Стоя в очереди, я подумал: «Кино — плохое место для объяснений. Я признаюсь в любви, на экране признаются — она все перепутает».

Мне повезло. Перед нашим носом кассирша хлопнула окошечком. Билеты кончились.

«Пойдем в кафе»,— предложил я.

Мы сели около окна.

«Теперь смелее...» — подбадривал я себя.

Мне очень повезло. Официант, казалось, вошел в мое трудное положение. Нося вина и блюда на соседний столик, он ловко делал вид, что нас не замечает.

Она смотрела в окно, я теребил бумажную салфетку.

Так прошли час, два, три. Я не сказал ни слова.

Когда официант наконец остановился около нас, в меню остались только сосиски. И это тоже было очень кстати. Мы быстро поели, и, выходя, я обдумывал, как на улице возьму ее под руку, а потом скажу все.

«Уже поздно,— сказала она.— Поехали на такси».

Прогулка отменялась, а вместе с ней и все мои слова.

Я увидел зеленый огонек. Нехотя поднял руку. Мне опять повезло. Повезло, как никогда в жизни. Парень за рулем что-то прокричал мне и пронесся мимо.

«Мужская солидарность — великая вещь!»— подумал я.

Появилась вторая машина. Теперь я уверенно вышел на середину дороги. Шофер сделал вираж, и я с благодарностью посмотрел вслед красным огонькам.

Я считал шаги. «Как будет тысяча — скажу ей все... Девятьсот девяносто восемь, девятьсот девяносто девять...»

«А у нас вчера лифт сломался,— сказала она.— Придется тащиться пешком на десятый этаж».

«Вот это везение! Лестница, тишина, полумрак...— обрадовался я.— Это то, что нужно! Где-нибудь между пятым и шестым этажом скажу ей все».

Мы вошли в темное парадное.

Но, видно, я родился без рубашки, под несчастливой звездой. Вечер был окончательно испорчен: лифт был исправлен.

Пустыми глазами я смотрел на блестящие кнопки, пока не отыскал цифру «10».

Кабина рванула вверх.

И все-таки мир не так плох, как мы думаем! Между пятым и шестым этажами лифт застрял.

●

2. РАЗГОВОР В КЛАССЕ

С минуты на минуту должен был войти учитель.

Иванов уставился в парту, на которой было вырезано ножом «ИВАНОВ».

— Стыдно? — спросила Петрова.

— Стыдно...— покраснел Иванов.

— Давно пора было обратить внимание, что дисциплина в классе из рук вон и хромает на обе ноги,— сказал толстый Алексеев.

— Учителя виноваты...— пробурчал Иванов, не поднимая глаз.

— Родители тоже хороши! Какова семья — таковы и дети,— вмешалась в разговор Васина.

— Правильно, правильно! — затараторила Семенова.— Я сама только что видела, как Алексеев толкнул Петрову и не извинился. Значит, и дома такие порядки. А если, например, в семье отец...

— У кого как, а в нашей семье отец — тряпка. Всем воспитанием мать занимается,— вставила Мишина, жуя яблоко.

— А у нашей мамочки только моды в голове, да и те иностранные,— сказал Алексеев и взгромоздился на парту.

— Все-таки никто не поможет, если мы сами за собой следить не будем,— сказала Петрова, посмотрев на Алексеева.— Наверное, дома никто на столе не сидит.

Алексеев соскочил с парты и отошел в сторону.

Он оглянулся и, убедившись, что поблизости нет нянечек и учителей, вытащил пачку папирос.

— Закурим,— шепнул он Иванову.

— А если кто увидит? Нет, с меня и этого хватит.— Иванов показал на парту с вырезанной надписью.— Впрочем, семь бед — один ответ,— махнул он рукой и потянулся к пачке.

Внезапно в класс вошел учитель.

Иванов успел отдернуть руку. Алексеев успел запихнуть папиросы в карман. Мишина успела доесть яблоко.

— Здравствуйте! — сказал учитель.

— Здравствуйте, — ответил нестройный хор.

— Садитесь,— сказал учитель.

Все сели, громко стуча партами.

Учитель сказал:

— На сегодняшнем родительском собрании я хочу поговорить с вами о ваших детях...



Гига МАХВИЛАДЗЕ

МАЛЕНЬКИЙ СТИХ

— Уважаемый редактор!

— Слушаю вас.

— Вы упрекали меня в том, что я пишу бесконечно большие стихи.

— Да. Упрекал.

— Я учел ваше замечание и принес вам маленький стих... Правда, он полубелый...

— Прочтите.

— «Я не поэт, но знайте,
Совсем по ночам не сплю.
Сегодня кем хотите называйте
меня,
Но завтра из меня выйдет
что-нибудь».

— Все же большое.

— Что вы?!

— Мысль можно было бы выразить лаконичнее.

— Конкретно!



Рисунок Н. Недбайло.

— Вот вы говорите: «Сегодня кем хотите называйте меня, но завтра из меня выйдет что-нибудь».

— Да, так у меня написано...

— Давайте договоримся в одном вопросе — не будем делать выводы заранее. Никто не знает, что из вас «выйдет». Если я начну кричать, что завтра стану большим поэтом, поверит ли мне кто-нибудь?

— Вы правы, этому трудно поверить...

— Критика — хорошая вещь, но иногда нужна и самокритика... Ну-ка, зачеркните две последние строчки и прочтите, что получилось.

— «Я не поэт, но знайте,
Совсем по ночам не сплю».

— Теперь вот что... Если ночью не спит человек, это не значит, что из него обязательно выйдет поэт. Если это было бы так, поэтов был бы миллион, а читателей — единицы... Ну-ка, зачеркните и эту строчку.

Теперь прочтите то, что осталось.

— «Я не поэт!»

— Громче! Чтобы все слышали!

— «Я не поэт!»

— Вот и я об этом говорю...

Перевел с грузинского
В. КУГОТОВ.

В НОМЕРЕ:

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА! Передовая статья и отклики молодых писателей на встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства . . . . . 2—7

Софья ВИНОГРАДСКАЯ. В детских ботинках. Рассказ . . . 8

Борис ЧИЧИБАБИН. Я хочу быть таким, как Ильич! Стихи . . 12

Мария КРАСОВИЦКАЯ. Если ты назвался смелым... Повесть . 13

М. ФОФАНОВА. Драгоценные черты. (Из воспоминаний о В. И. Ленине) 16

Л. ЛАГИН. Белокурая бестия. Памфлет 34

Аркадий АДАМОВ. Личный досмотр. Повесть. (Продолжение). 64

К нашей вкладке

С. КОНЕНКОВ. Большой русский художник 80

Степан ЩИПАЧЕВ. Упало яблоко. Яблоко и планета. Аэлита. В цехе. За полем, за лесом. В молодой роще. Стихи . . 82

М. ЕРЕМИН. Часовой Ленина 84

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. В одном строю 86

С украинского

Владимир СОСЮРА. «Вы слышали, как в звоне молотка...». «Когда мне в памятное лето...». «Закат кровавый огненно-багров...». «О чем в слезах задумалась земля?..». Стихи 91

Семен ГРИНИН. Арбат ломают. На исполкоме. Стихи . . . 92

Фазиль ИСКАНДЕР. Мода. Германия 1933 года. В давильне. Гранат. Стихи 93

Трибуна «Юности»

Э. КОСТЯШКИН. Души — вместе, мечты — вместе! . . . 95

Заметки и корреспонденции

✲ «КП» объявляет тревогу... ✲ Виталий АКСЕНОВ. О кинопублицистике. ✲ Г. ЯВОРСКАЯ. Механический экзаменатор создан студентами. ✲ 14 часов подвига. ✲ «Чтобы, умирая, воплотиться...». ✲ Три километра провода из капли металла. ✲ Школьники строят ракеты. ✲ А. ПОЛЯКОВ. «Тигр снегов» — гость советских альпинистов . . . . . 99—106

Спорт

А. КУЛАКОВ. Будущие рекорды 107

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)

✲ Б. БОРИСОВ. Эпизод. ✲ Юрий КИРИК. Виновник. ✲ К. ЮРЬЕВ. На пути к знанию. ✲ М. ЛИБИН. Шутки-малютки. ✲ Виктор СЛАВКИН. 1. Судьба. 2. Разговор в классе. ✲ Гига МАХВИЛАДЗЕ. Маленький стих . . 108—112

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок А. КОШЕЛЕВА.

На 3-й странице обложки — «На солнышке» — рисунок Ю. ЦИШЕВСКОГО из серии «Студенческие каникулы в Бакуриани».

Художественный редактор Ю. Цишевский.

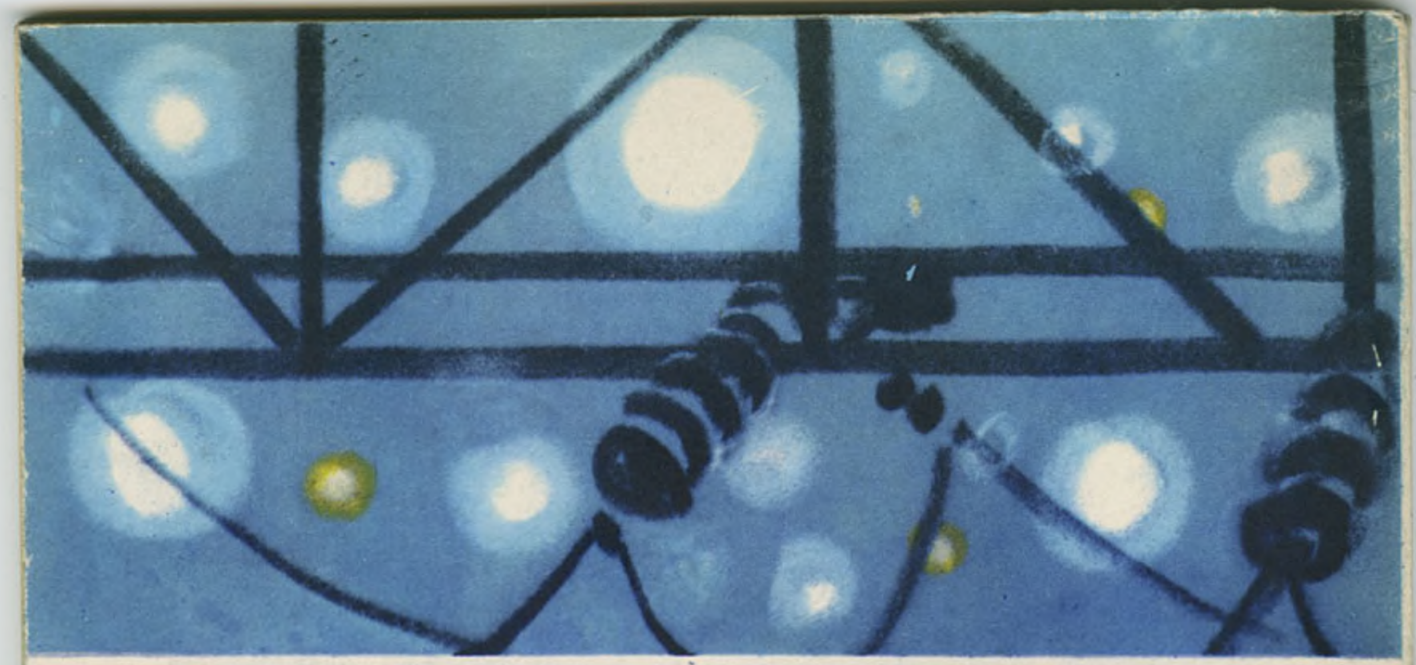
Технический редактор Л. Зябкина.

Оформление Г. Решетина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00364. Подп. к печ. 11/IV 1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 713. Заказ № 430. Формат бумаги 84 × 108 1/16. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, Москва, ул. «Правды», 24.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71950